АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1987

СОДЕРЖАНИЕ

Гак В. Г. (Москва). Лингвистические словари и экстралингвистическая информация (в связи с выходом в свет второго издания словаря «Большой Робер») 3
Леман В. Ф. (Остин). Индоевропеистика сегодня 17

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алексеев А. А. (Ленинград). Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв. 34
Евдошенко А. П. (Кишинев). О типологической основе русской грамматики для нерусских 47
Скляревская Г. Н. (Ленинград). Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания 58
Матвеев А. К. (Свердловск). Архаическая русская топонимия на северо-востоке европейской части СССР 66
Спивак Д. Л. (Ленинград). Лингвистика измененных состояний сознания: проблема текста 77
Жукова Т. В. (Москва). К вопросу об определении в парадигматическом аспекте слов с наиболее общими лексическими значениями 85

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Коваль А. И. (Москва). О субстантивизации и прономинализации в свете данных языка с многоклассной системой 96
Тестелец Я. Г. (Москва). Эргативообразные построения в нахско-дагестанских языках 109
Загиров В. М. (Москва). О задачах и методах исторической лексикологии языков лезгинской группы 122
Солнцев А. В. (Москва). Виды номинативных единиц 133

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Кубрякова Е. С. (Москва). *Бондарко А. В.* Функциональная грамматика 137
Заботкина В. И. (Калининград). *Александрова О. В.* Проблемы экспрессивного синтаксиса 141
Головин В. А. (Киров). *Жлуктенко Ю. А., Двухжилов А. В.* Фризский язык 144
Добродомов И. Г. (Москва), Гарипов Г. М. (Уфа), Татаринцев Б. И. (Кызыл). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика 145
Сафаев А. С. (Ташкент). Русско-узбекский словарь 150

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 154
Академик А. Н. Кононов 158

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов*, *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1987 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ГАК В. Г.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(в связи с выходом в свет второго издания словаря «Большой Робер»)

Осенью 1985 г. во Франции вышло в свет новое переработанное издание известного словаря «Большой Робер» в 9-ти томах [1]. Впервые этот словарь был издан выпусками в 1951—1964 гг. [2], затем он переиздавался без изменений в 6-ти томах (с 1970 г. к нему добавился дополнительный 7-й том [3]). Настоящее издание, подготовленное под руководством известного французского лексикографа А. Рея, представляет собой новый, значительно расширенный и переработанный вариант этого словаря. Достаточно сказать, что его словник увеличен с 60 до 80 тыс. слов, число цитат возросло с 200 до 250 тысяч, изменилась и структура словаря: во втором издании составители отказались от гнездового принципа расположения материала и производные слова получили самостоятельную и столь же полную разработку, что и базовые лексические единицы.

В свое время выход словаря Робера явился важным событием в истории французской лексикографии. В течение первой половины XX вв. наиболее популярными и авторитетными словарями во Франции были словари серии «Ларусс» [4—6]; в каждой отдельной статье этих словарей сочетались элементы толкового и энциклопедического словаря. Семантическая разработка слова в них была упрощена, цитаты из авторов не приводились вовсе. Большую ценность представляли, однако, текстовые иллюстрации, дававшие огромный материал и богатейшие сведения, касающиеся разновидностей и устройства описываемых предметов. Такими же были и словари серии Кийе [7]. Между тем в XIX в. во Франции уже существовала значительная лексикографическая традиция. Знаменитый словарь Э. Литтре [8] давал подробнейшую разработку слова с обильными цитатами из классиков XVII—XIX вв. Но собственно семантическое представление слова в нем было примитивно: различные значения слова выстраивались в один ряд. Словарь А. Атцфельда, А. Дарместетера, А. Тома [9] восполнил этот пробел в лексикографии: семантическая сторона слова в нем детально структурирована, представлена в виде тщательно разработанной иерархии значений. Но этот словарь, несмотря на свой объем, охватывает сравнительно небольшую часть лексического состава языка. Словарь П. Робера уже в первом издании объединил лучшие стороны этих словарей. Значения слова образуют в нем разветвленную систему. Семантическая иерархия в словаре включает шесть «этажей»: I, A — группировки значений слов разного уровня; 1, 2, . . .— основные значения внутри группировок, *a*, *b*, *c* — разновидности значений; без особого символа — красной строкой — выделяются дальнейшие дробления значений, относящиеся преимущественно к сфере

употребления слова, и, наконец, тире указывает на контекстуальные словоупотребления и фразеологические выражения, связанные с данным значением.

Основная ценность словаря заключается, однако, в опыте объединения принципов алфавитного толкового и аналогического (идеографического) словарей. Поэтому словарь Робера дает возможность решения не только семасиологических задач (определение значения слова), но и ономасиологических (поиск нужного слова, исходя из содержания). Еще в предисловии к первому изданию П. Робер, не прибегая к термину «асимметрия», фактически отмечал расхождение между значением и звучанием, которое не может быть разрешено в системе одного лишь алфавитного словаря. Так, слово *cynégétique* «охотоведческий» должно быть связано со словом *chasse* «охота», тогда как алфавитный порядок разъединяет их. Слово *eau* «вода» семантически сближается с корнями *aqua* и *hydôr*, имеющими то же значение. Поэтому в словарь были введены ссылки на слова, которые под другой фонетической формой выражают аналогичное значение. Отсылки помогают найти нужное слово. Предположим, читатель не знает, как называется самолет, ведущий борьбу с лесными пожарами. Под родовым термином *avion* «самолет» он найдет словосочетание с отсылкой *avion de lutte contre les incendies de forêt → bombardier á eau, canadair* (*marque*) «„самолет для борьбы с лесными пожарами“ — букв. „водяной бомбардировщик, канадэр (фирменное обозначение)“».

Анализ нового словаря Робера может представить несомненный интерес в плане опыта решения ряда существенных лексикографических задач. При разработке аналогического аспекта словаря авторы опирались на известную книгу Ф. Брюно [10], где дано впервые описание языка в ономасиологическом аспекте на разных уровнях. Однако размещение материала в словаре «Большой Робер» следует алфавитному принципу, а идеографические сведения представлены с помощью словосочетаний, синонимов, списков слов-гипонимов, разнообразных ссылок.

Во втором издании словарь получил ряд усовершенствований. В области словника это, как отмечалось, увеличение его примерно на одну треть. Количество цитат увеличилось на 25%. Расширение словника происходило не только за счет фиксации неологизмов, которые появились в языке за тридцать лет, разделяющих первое и второе издание. В нем отразилось и претерпевшее некоторые изменения отношение французских лингвистов и лексикографов к языковой норме. В связи с этим в новом варианте словаря оказалось много ранее намеренно опущенных слов. Академическая традиция во французской лексикографии была исключительно нормативна и консервативна. В словарь общего типа намеренно не включались специальные технические термины, областные и диалектные слова, «низкие слова» (des mots bas), т. е. слова сниженного стилистического уровня: коллоквиализмы, вульгаризмы, арготизмы и пр., недостаточно ассимилированная лексика иностранного происхождения, ксенизмы. Лексический «пятачок» словаря сужался до 25—30 тыс. слов. Современные французские словари, особенно те большие словари, что были выпущены за последние 20 лет, отражая определенные процессы во французском обществе, отличаются бо́льшим либерализмом в вопросах нормы. В наши дни французские лингвисты говорят о множественности норм французского языка. Изменилось отношение к реализациям, отступающим от классической нормы, к национальным и региональным вариантам французского языка. В новом издании словаря Робера более широко представлена научно-техническая и стилистически сниженная лексика, а также лексика, свойствен-

ная диалектам, региональным вариантам, французскому языку в Бельгии, Швейцарии, Канаде, Африке. Расширение охватываемого лексического состава позволяет более глубоко и широко отразить в словаре экстралингвистический материал.

Другим существенным нововведением в словаре является, как отмечалось, реорганизация словарных статей, в частности, отказ от гнездового расположения производных слов. Во многие статьи внесены изменения: значения дифференцированы, причем часто это объясняется именно более детальной разработкой слова, а не появлением у него новых значений. Совершенствованию словаря способствовало и использование новых полиграфических приемов: употребление четырех различных наборов шрифтов облегчает чтение словаря.

Новый вариант словаря Робера представляет собой прекрасное справочное издание. Составители считают, что оно дает свыше миллиона единиц информации, тогда как прежнее издание давало их не более 750 000. Но все же, как говорилось выше, основной интерес словаря заключается в способах решения проблем, встающих перед лексикографами, особенно при составлении больших национальных словарей. Рассмотрим некоторые лексикографические оппозиции и то, как они разрешаются в анализируемом словаре.

Соотношение синхронии и диахронии. Большой национальный толковый словарь охватывает, как правило, много десятилетий, если не несколько веков существования литературного языка. Он опирается на классическую и современную литературу, неизбежно отражая при этом как устаревшие, так и новейшие пласты лексики. В различных современных французских словарях соотношение синхронии и диахронии представлено по-разному. В малых толковых словарях, описывающих, как это видно из их названий, лексику современного языка [11—12], устаревшие слова и значения принципиально не отмечаются. В больших словарях, представляющих литературный язык за четыре столетия, приходится отмечать архаизмы и неологизмы, тем более, что французский язык нового времени исторически делится на два или даже три периода: «классический язык» (XVII—XVIII вв.), «современный язык» (часто обозначается прилагательным *moderne* — XIX—XX вв.) и язык «нашего времени» (*contemporain*), рамки которого, естественно, относительны и для нынешнего поколения охватывают послевоенный период, вторую половину XX в. (с 1950 г.). Во французской лексикографии были использованы различные способы подачи устаревшей лексики и семантики классического периода. Интересен опыт словаря [13]; в нем многие гнезда делятся на две части: в основной разрабатываются современные значения слова, в дополнительной, которая даже выделена в особый абзац при наборе, излагаются значения, которые были свойственны слову в классический период (XVII—XVIII вв.).

Словарь Робера располагает значения в их исторической перспективе. Это вполне обосновано в связи с тем, что в нем содержатся этимологические справки по каждому отдельному его значению, если это целесообразно. Например, для слова *antiquaire* указывается датировка по каждому значению: 1. (1568) vx. «археолог, исследователь старины»; 2. (1800) vx. «собиратель древностей»; 3. (до 1850) «антиквар, торговец антикварными предметами».

Для более точного отображения языковой диахронии словарь пользуется широкой гаммой понятий и помет, различая при этом предмет и слово.

Для обозначений устаревшей реалии (слово, обозначающее ее, сохраняется в современном языке) используется помета «ancienn t» (*anciennement* «в старое время»). Собственно лингвистические архаизмы обозначают четырьмя разными пометами в зависимости от степени устаревания слова: vx. (*vieux*) «старое» — слово непонятное или малопонятное, употребляемое в качестве архаизма; *vieilli* («устаревшее») — слово, понятное современному носителю языка, но не употребляемое в обиходном языке; *archaïsme* («архаизм») — форма или значение, не соответствующие современным, но встречающиеся в современном языке в специфическом употреблении (например, литературный архаизм); *classique* «классическое» — слово, относящееся к языку XVII—XVIII вв.; помета mod. (*moderne* «современное») указывает на значение, противопоставленное устаревшим значениям.

К пометам следует добавить и прямые комментарии относительно употребления слова во временно́й перспективе. Например, при слове *ajouté* «добавление к тексту» отмечается, что оно устарело и ныне правильнее говорить *ajout*, *addition*.

Я з ы к и р е ч ь в с л о в а р е. Основная сложность составления словаря заключается в неполном соответствии языковой системы и речевой реализации. Хотя словарные определения и выводятся на основании употреблений слова в тексте, но при этом лексикографы отбирают типизированные и моделированные контексты, тогда как в реальной речи слова могут включаться в самые разнообразные окружения, несколько модифицируя иногда при этом свое значение. Большой словарь полнее, чем малый, отражает жизнь слова в языке и речи. «Большой Робер» использует ряд средств, показывающих реальное бытие слова в речи. Прежде всего — это система помет. В словаре вводится три системы помет. Одна из них — обычная, указывающая на сферу функционирования слова (типа: *разг.*, *простор.*, *арго*, *поэт.* и т. п.). Другая — и в этом специфика словаря — отражает степень употребительности, частотности слова. По шкале употребительности пометы располагаются следующим образом: *attestation isolée* «единичное употребление», *inus*(*ité*) «неупотребительно» (в настоящее время — вне словарей), *rare* «редко», *cour*(*ant*) «обычно, обиходное значение». Третья система помет относится к семантической динамике слова, к изменению его значения. В реальной речи значения слов, располагающихся рядом внутри парадигматических групп, перекрывают друг друга, одно слово начинает употребляться в значении другого. Этот процесс скольжения значения слова в словаре обозначается пометой p. ext. (*par extension*) «в расширительном значении». Например, *audiencier* в суде обозначает судебного исполнителя, наблюдающего за порядком в зале заседания, но расширительно это слово может употребляться вместо слова *huissier* для обозначения судебного исполнителя вообще. Обратное явление — сужение смысла — обозначается пометой spécialt. (*spécialement*) «в специализированном, суженном значении». Например, слово *auto* «автомобиль» в суженном значении может обозначать педальный детский автомобильчик (не самоходный). Нередко в словаре эксплицитно отмечаются различия между синонимами и сфера употребления слова. При слове *automobile* «автомобиль» говорится: «Слово устарело в повседневном употреблении, используется лишь в научной и административной речи (это можно сравнить с русск. *автомобиль* и *машина*.— *Г. В.*). До 1920 г. слово употреблялось в м. роде». Различие между синонимами *auto* и *voiture* объясняется следующим образом: «Второе слово более частотно и узуально, в среде специалистов, например, гонщиков, слово *auto* употребляется „посвященными“, тогда как *voiture* — немаркированный член

оппозиции и используется „профанами“». Может быть, подобные комментарии выходят за пределы «классического» толкового словаря, занимающегося преимущественно толкованием значений, но несомненна их польза для читателей, которым можно уже не обращаться к специальным словарям синонимов или трудностей языка.

Во многих случаях словарь фиксирует в специальных определениях или с помощью словосочетаний различные метонимические сдвиги в употреблении слова. Так, при том же слове *automobile* указывается, что оно может обозначать автоспорт, автодело (производство автомобилей и торговлю ими), при слове *avion* «самолет» отмечается, что в контексте оно может обозначать авиацию, полет на самолете, например, *avoir peur de l'avion* «бояться летать на самолете»; при слове *livre* «книга» говорится, что в контексте (при определенном артикле) оно может значить книгоиздательство, печатное дело.

Переход из языка в речь иллюстрируется не только пометами, но преимущественно примерами и цитатами. Примеры имеют форму словосочетаний или кратких предложений, что особенно важно для глаголов. Многочленные словосочетания показывают типичные употребления слова во всем их разнообразии. Например, при слове *livre* даны примеры, подтверждающие отмеченные выше метонимические употребления: *travailler dans le livre* «работать в книгоиздательском деле», *l'histoire du livre* «история книгопечатания», а также метафорическое использование слова: *le livre du destin* «книга судьбы», *le livre de la nature* «книга природы».

С помощью примеров и цитат широко иллюстрируются валентностные связи глаголов, семантические типы этих связей. Например, в статье *augmenter* «увеличивать» приводится до 40 словосочетаний, показывающих разнообразие семантических типов дополнений. Становится ясно, что этот глагол может употребляться с дополнением, выражающим размер, величину, количество, качество, с именами конкретными, абстрактными и т. п. Для каждого семантического типа указывается синоним: *augmenter la vitesse* (→*accélérer*) «ускорять», *augmenter la qualité* (→*améliorer*) «улучшить». Фиксируются и семантические типы субъектной валентности, в частности возможность при этом глаголе неодушевленного субъекта: *cela a augmenté son impatience* «это увеличило его нетерпение», отмечаются различные способы введения обстоятельств: *augmenter par..., en faisant qch.*

В показе «поведения» слова в речи большую роль призваны играть цитаты. В «Большом Робере» в цитатах, как правило, не воспроизводятся коллокации, представленные в словосочетаниях, но приводятся дополнительные контексты, уточняющие структурно-семантические особенности функционирования слова в речи. В восьми цитатах к слову *augmenter* приводится одиннадцать случаев его различной сочетаемости. В них подчеркивается возможность употребления глагола при неодушевленном подлежащем, иллюстрируются характерные обстоятельства, сопровождающие этот глагол (например, обстоятельство, выражающее постепенность нарастания действия: *augmenter chaque jour* «увеличиваться с каждым днем»). В заключение статьи приводится цитата из словаря синонимов, в которой значение глагола уточняется на фоне его синонимов. Цитаты, как и примеры, показывают типичные ситуации, в которых используется слово. Придавая большое значение фонду цитат, содержащихся в словаре, и понимая важность их для показа употреблений слова, составители дают систематические отсылки от данной статьи на цитаты в другой статье, содержащие данное слово, так что одна и та же цитата «обслуживает» несколько слов.

Экстралингвистическая информация и способы ее представления. Отношение между лингвистической и экстралингвистической (энциклопедической) информацией может быть разнонаправленным. С одной стороны, внелингвистическая информация привлекается для лучшего объяснения значений слов, с другой — информация, содержащаяся в лингвистическом словаре, расширяет наши энциклопедические знания о предмете и внешнем мире. Так, например, если в словаре Робера мы обнаруживаем при слове *papier* «бумага» свыше сорока определительных словосочетаний, то эти примеры несут не только лингвистическую информацию, показывая сочетаемость слова, но и энциклопедическую: мы видим, какие сорта бумаги для какого назначения являются наиболее употребительными. Обращенность толкового словаря к экстралингвистическому миру можно почувствовать особенно отчетливо, сравнивая определения краткого толкового словаря с определениями, например, словаря иностранных слов [14], дающего более широкую энциклопедическую информацию. Например, слово *мегафон* в [15] определяется так: «Рупор для усиления голоса», в [14] соответствующая статья формулируется следующим образом: «Мегафон. ... — рупор, приставляемый ко рту для усиления звука голоса; электроакустический, м. состоит из *микрофона*, усилителя и *динамика*». Вся последняя часть статьи содержит внелингвистическую информацию, показывающую устройство предмета и расширяющую наши сведения о нем. Слово *мегера* в словаре [15] получает такую разработку: «Злая женщина [по имени богини мщения в греческой мифологии]». В словаре [14] внелингвистическая информация сосредоточена в определении первого прямого значения: «в древнегреческой мифологии — одна из трех *эриний*, богинь мщения; изображалась в виде отвратительной старухи со змеями вместо волос». Это определение содержит более широкую информацию.

Характер внешнелингвистической информации определяется типом словаря. Ее включение в толковый или переводной словарь обусловливают следующие факторы: а) наличие национальных или социальных реалий (под социальными реалиями понимаются явления, свойственные обществам определенной формации, например, буржуазным); б) различное «членение мира» носителями разных языков; в) наличие малоизвестных (научных, исторических, экзотических и т. п.) понятий, нуждающихся в пояснении.

Во внелингвистической информации нуждаются особенно слова денотативного типа (имена объектов), семантические компоненты которых отображают особенности обозначаемого объекта. Но лексика, тяготеющая к сигнификативному значению (глаголы, прилагательные, абстрактные имена и др.), также часто должна сопровождаться внелингвистическим комментарием. Например, такие французские глаголы, как *cuire*, *rôtir*, *dauber*, обозначающие способы приготовления пищи, не могут быть до конца разъяснены без уточнения самих приемов обработки пищи.

Словарь аналогического (идеографического) типа нацелен на расширение знания о мире через слова: позволяя найти соответствующее обозначение, он вводит в поле нашего зрения много информации, касающейся данного предмета.

Всякий объект можно охарактеризовать в плане диахронном (его история) и в плане синхронном. В синхронном аспекте все предметы и явления связаны между собою отношениями иерархии «быть» или иерархии «иметь». Первая иерархия отражает гипер-гипонимические отношения, т. е. показывает разновидности предметов. Вторая отражает отношения присущности, т. е. отношения «предмет — его часть», «предмет — его

свойство», «предмет — другой предмет». Иначе говоря, отношения иерархии «иметь» отражают устройство, характер, назначение предмета. Таким образом, в целом внелингвистическая информация в словаре может отражать следующие аспекты объекта: 1) его историю, 2) его разновидности, 3) его устройство и свойства, 4) его назначение и функционирование. Разрабатывая словарную статью, прежде всего ту, что касается денотативного слова, полезно «проверять» данное слово и обозначаемое им явление (объект) в отношении всех перечисленных аспектов, причем особенно важны последние три, относящиеся к синхронному плану. Это побудит лексикографа искать и включать в словарь соответствующие сочетания, пояснения, цитаты, а в аналогический словарь — гипонимы и гиперонимы данного слова и другой материал.

Внелингвистическая информация в словаре может быть представлена тремя способами: а) в особой зоне статьи. Например, в двухтомном Ларуссе после языковой разработки слова следует абзац, обозначаемый знаком Enc. (*Энц.*), в котором содержатся энциклопедические сведения о предмете, его истории и т. п.; б) в пояснениях в корпусе статьи, иногда при разъяснении значений и словосочетаний; эта информация может даваться в скобках, но может выступать как часть определения. Например, в словаре [16] в статье *pompe* «насос» перечисляются различные виды насосов, в том числе и *pompe à feu* «паровой насос», которому посвящается девять строк, где упоминается изобретение его Ньюкоменом в 1712 г., принцип устройства и действия, причина отказа от него; в) в лингвистической разработке самой статьи, прежде всего в словосочетаниях, примерах, цитатах, а в универсальном словаре, объединяющем толковый и аналогический,— и в аналогических сериях слов.

Каждый из отмеченных аспектов предмета выражается с помощью различных средств. И с т о р и я предмета может быть отражена путем выделения разных значений слова и пометами диахронического плана *уст.*, *стар.*, *совр.*, а также с помощью комментирования. Р а з н о в и д н о с т и предмета в толковом словаре отражаются с помощью определительных словосочетаний, в идеографическом — серией соподчиненных лексем. У с т р о й с т в о предмета, его ф у н к ц и о н и р о в а н и е может быть представлено словосочетаниями и примерами, иллюстрирующими употребление слова.

Даже небольшая статья словаря Робера позволяет увидеть разнообразные способы отображения внелингвистической информации о предмете. Например, в статье *ascenseur* «лифт, подъемник» после определения мы находим словосочетания: *ascenseur et mont-charge* «лифт и грузоподъемник» (это противопоставление подчеркивает, что *ascenseur* используется для перевозки людей, а не грузов); *ascenseur hydraulique* «гидравлический лифт», *ascenseur électrique* «электрический лифт» (разновидности лифта); *cage de l'ascenseur* «кабина лифта», *câbles d'un ascenseur* «канаты лифта», *manoeuvre de l'ascenseur* «лебедка лифта» (устройство предмета); *appeler, envoyer, prendre, renvoyer, l'ascenseur* «вызвать, отправить, сесть в, отправить обратно лифт» (функционирование предмета), *l'ascenseur d'un grand magasin* «лифт в универмаге», *garçon d'ascenseur* «лифтер», *les mineurs sont remontés du fond en ascenseur* «шахтеры поднимаются наверх на подъемнике» (назначение предмета, его связь с другими предметами). Таким образом, эти словосочетания дают информацию и языковую (сочетаемость глаголов, прилагательных с данным существительным), и внелингвистическую (устройство, типы, назначение предмета).

В больших словарях определения, словосочетания и цитаты способны давать большую внеязыковую энциклопедическую информацию об объекте.

Возьмем, например, такое слово, как *яйцо*, обозначающее предмет, лишенный какой-либо экзотики. В [17] в определении, в примерах и цитатах к этому слову представлено множество сведений экстралингвистического характера, относящихся к самому предмету — яйцу. Мы просто не замечаем этого, читая словарь, по-видимому, в силу привычности для нас самого предмета, известности этих сведений. Так, в словарной статье, посвященной слову *яйцо*, можно обнаружить достаточно широкую информацию о самом предмете. Из определения видно основное строение яйца (белок, желток и скорлупа-оболочка); примеры показывают, что яйцами размножаются птицы и пресмыкающиеся (черепахи), в одной из цитат, приводимой в словарной статье описывается, как из яиц вылупливаются птенцы; ряд цитат и примеров отражает назначение яиц как предмета питания, отмечаются основные способы их приготовления (яйца всмятку, вкрутую), их использование как начинки для кулебяки, их богатство фосфором. Другие цитаты показывают, что яйца едят преимущественно на завтрак, либо при необходимости быстро перекусить. Группа цитат показывает характерные ассоциации, связанные с этим предметом: ассоциации по форме (*голова яйцом*), по расцветке (*бледное от веснушек пестрое лицо, как птичье яйцо*). Упоминается и культурно-историческая ассоциация: *колумбово яйцо*. Таким образом, определение, примеры, цитаты, устойчивые выражения дают достаточно широкую энциклопедическую информацию о предмете: его устройстве, некоторых разновидностях, его использовании и назначении в быту людей.

В т. 14 того же словаря в статье *рыба* цитаты сообщают о четырех породах рыб, о среде обитания рыб (*в реке водится рыба*), некоторых особенностях поведения рыб (*рыба играла и плескалась*; *скоро пойдет периодическая рыба из породы красных*), об использовании рыбы в пищу (*заливное из рыбы*).

Вместе с тем следует отметить, что информация в этих статьях носит несколько случайный характер, в значительной степени она зависит от подбора цитат. Интересной особенностью словаря «Робер» является то, что там этот материал, касающийся внелингвистической информации, подается более систематизированно, целенаправленно, последовательно и подробно. Принцип отсылок с целью поиска слова, о котором говорилось выше, и приемы, свойственные аналогическому словарю, дают возможность еще больше расширить эту информацию для пользы читателя. Так, в статье *œuf* «яйцо» гораздо более подробно, чем в [17], описывается устройство яйца. Помимо желтка, белка и скорлупы, здесь отмечаются, например, острый и тупой конец яйца (это оказывается нелишним, т. к. по-французски говорят *le gros bout*, *le petit bout de l'œuf*, букв. «большой и маленький конец яйца)»; специальные объяснения помогут читателю найти многие специфические обозначения, например, белковый тяж, поддерживающий желток → *chalaze* «халаза»; пятнышко, из которого развивается зародыш → tache germinative «зародышевое пятно» и т. п. (Заметим, что речь идет не о каких-то сугубо научных редких терминах: эти слова можно найти в школьных учебниках.) Путем определений и ссылок отмечаются слова, обозначающие понятия, соотносительные с яйцом: *нестись*, *кладка*, *высиживание*, *инкубация*, *выводок*, *гнездо*, *вылупливаться* и другие. Эти сведения имеют значение для читателя, т. к. путем различного рода ассоциаций позволяют ему найти нужное слово. Например, по-русски можно сказать: *птенец наклюнулся* или *проклюнул-*

ся. А что в этот момент происходит с яйцом: оно *открывается*? или *лопается*? Существует ли специальный способ выражения в русском языке для описания этого явления «со стороны яйца», а не только цыпленка? Словарь Робера позволяет решить подобную задачу для французского языка; отсылая с помощью примера *l'œuf qui éclôt* к соответствующему глаголу *éclore*. Примеры сообщают некоторые внеязыковые сведения. Возьмем, например, фразу *La femelle, parfois le mâle couvent les œufs* «Самка, иногда самец высиживают яйца». Эта фраза дает одновременно и лингвистическую информацию, используя типичный в данной ситуации глагол *couver* «высиживать», и внелингвистическую (кто насиживает яйца). Пример *Oisillon, poussin qui sort de l'œuf en brisant la coquille* «Птенец, цыпленок вылупливается из яйца, разбивая скорлупу» описывает типовой фрагмент действительности и одновременно показывает употребление при описании данной ситуации ряда глаголов. В статье широко отражено кулинарное использование яиц (приводится несколько десятков словосочетаний, обозначающих способы их приготовления), особые словосочетания указывают на тип магазина, где обычно продаются яйца (*crémerie qui vend des œufs*; *B. O., F.*), на различные манипуляции (например, *mirer un œuf* «смотреть яйцо на свет»), на специфическое использование яиц: в одной из цитат отмечается, что сырые яйца полезны для сохранения голоса у певца. В статье приводятся и различные ассоциации: *голубиное яйцо, курица, несущая золотые яйца* и др. Обильный материал, приводимый в статье, с помощью ссылок, примеров, цитат позволяет найти оптимальный для французского языка способ обозначения различных ситуаций, связанных с яйцом: *яйца прямо из-под курицы, взбивать яйца, яичный порошок* и т. п.

Подчеркнем еще раз, что в отличие от энциклопедического в толковом словаре подобного типа каждый факт внешнелингвистического характера иллюстрируется обязательно примером или цитатой, в которой употреблено слово *œuf* «яйцо». Свойства предмета представлены не в сплошном описании, как это имеет место в энциклопедическом словаре, но выявляются из серии примеров и цитат. Изложение имеет при этом неизбежно «штриховой» характер, хотя в целом оно подчиняется определенному внутреннему плану.

В частности, рассматриваемая статья имеет следующую общую структуру: I (основное, обыденное значение слова), 1. «Яйцо птицы», Примеры показывают его устройство, разновидности, действия, связанные с ним (*откладывать, высиживать* и т. п.). Далее, с абзаца выделяется как специальное значение «куриное яйцо». Приводимые в этом разделе примеры отражают главным образом яйцо как пищевой продукт, различные способы его приготовления и т. п. Отмечаются и иные виды его употребления (например, *пасхальные яйца*). 2. «Яйца других животных» (пресмыкающихся, насекомых, рыб — икринки по-французски обозначаются словом *œuf*). 3. Метафорические употребления слова. 4. Предметы яйцеобразной формы. Каждое значение внутри этих рубрик обозначается буквами a, b, c, d; 5.6.7.8.— особые значения слова *œuf* в спорте, военном деле, алхимии и др. II. Научное (биологическое) значение слова: «яйцо, яйцеклетка», В связи с этим приводятся выражения, касающиеся созревания клеток, их деления и др.

Всего статья *œuf* занимает немногим более двух с половиной колонок словаря. Она содержит свыше 130 примеров со словом *œuf*, 18 цитат и ссылки более чем на 55 цитат в других местах словаря. Таким образом, читатель находит в корпусе словаря около 200 свидетельств употребления

слова *oeuf*. К этому можно добавить 50 ссылок в статье на соотносительные слова, где читатель может получить дополнительные сведения, касающиеся предмета, обозначаемого словом *œuf* «яйцо».

Итак, речь идет не о том, чтобы насыщать толковый словарь дополнительными энциклопедическими сведениями о предмете (хотя нередко и это может быть полезным), но о сочетании лингвистической информации с внелингвистической. За исключением первоначального определения слова *œuf* все остальные сведения в статье о яйце даются только через слово *œuf*, через его сочетаемость и употребления.

Словарь одновременно «убивает двух зайцев»: он широко показывает коллокации слова и вместе с тем — через примеры на употребление этого слова — разные аспекты существования и функционирования объекта. Таким образом, он позволяет решать и семасиологические задачи — уточнять значение и сочетаемость слова, и ономасиологические — находить нужное название для объекта.

Не менее наглядно, но несколько иначе иллюстрирует возможности отражения внелингвистической информации в словаре статья *poisson* «рыба» в словаре Робера. Устройство объекта отражается в общем определении, посредством словосочетаний, а также с помощью особых уточнений. Например: «рыбы имеют разнообразную форму: продолговатую, вытянутую, веретенообразную (*ichtyoïde*, *pisciforme*), плоскую, змеевидную, шарообразную...»: Одновременно здесь представлена и лингвистическая информация: отмечаются два прилагательных со значением «рыбообразный» и их семантика. Далее следуют словосочетания с их определениями или разъяснениями: рыбы с длинными плавниками (→*macropodes*), без спинного плавника (→*aptéronotes*), описывается анатомия рыб: скелет (→*cartilage* «хрящ», *os*, *arête* «кость»), пищеварительный аппарат (→*brouaille* «потроха»), плавательный пузырь, дыхательный аппарат (→*branchie*, *opercule*, *ouïe* «жабры и их части»). Эти перечисления также несут двойную функцию, сообщая и внешнелингвистическую информацию, и лингвистическую, показывая соответствующие названия, более подробные значения которых могут быть обнаружены в соответствующих статьях.

Разновидности объекта в статье «рыба» представлены алфавитным списком, содержащим названия примерно 150 рыб. Кроме того, отдельно даются сложные номинации, включающие слово *poisson* «рыба»: *poisson-perroquet* «критская рыба-попугай», *poisson pilote* «рыба-лоцман», *poisson scie* «пила-рыба», *poisson scorpion* «скорпена», *poisson-épée* «меч-рыба», *poisson rouge* «золотая рыбка», *poisson blanc* «сиг», *poisson lait* «молочная рыба». «ханос» (в связи с этим приводится цитата, из которой видно, что разведение ханосов — естественное развитие лагунного рыбоводства). В примерах упоминаются также луна-рыба и бойцовые рыбки.

Различные связи, отражающие изучение и использование предмета, представлены в словосочетаниях и их однословных синонимах. Здесь читатель найдет такие термины, как *ихтиология*, *рыборазведение*, *рыбовод*, *рыбоводческий*, *садок*, *зарыблибать*, *малек*, *молодь*, *запускать мальков* (в пруд) и т. п., термины и выражения, связанные с торговлей рыбой, с разведением аквариумных рыбок, с рыбной ловлей, с приготовлением рыбы в пищу. Всякий раз жирным шрифтом отмечены слова, где читатель может получить более подробные сведения. Чтение этих примеров и толкований показывает наиболее распространенные во Франции способы ловли, разделки и потребления рыбы.

Статья приводит также ряд аллюзий и словосочетаний устойчивого характера, построенных на аллюзиях: *être pour les poissons* букв. «быть

для рыб», т. е. «пойти на корм рыбам», «упасть за борт», *donner à manger aux poissons* букв. «кормить рыб», т. е. «страдать морской болезнью». Объясняются исторические символы, например, рыба как символ Христа в примитивном христианском искусстве (греческое слово *ikhthus* «рыба» соответствовало инициалам слов выражения *Iêsous Khristos, Theou Uios, Sôter* «Иисус Христос, сын божий, спаситель»). Отмечается экстралингвистическая основа некоторых выражений со словом *poisson* «рыба»: *engueuler comme du poisson pourri* (*букв.* «ругаться как тухлая рыба») восходит к ругани рыботорговок, славившихся своей грубостью; разъясняется происхождение выражения *finir en queue de poisson* от лат. *desinit in piscem* (Гораций) «окончиться ничем» (аллюзия на сирену с красивой головой, но рыбьим хвостом вместо тела).

Статья, разумеется, не содержит истории предмета, но дает интересные и полезные сведения, касающиеся истории понятия и слова. Отмечается, что и в наши дни словом *poisson* «рыба» неправильно обозначаются некоторые водные млекопитающие, что в XVII в. название *poissons royaux* «королевские рыбы» прилагалось к дельфинам и семге, *poissons à lard* «жирная рыба» — к китам и тунцам и др. Приводится занятная цитата из словаря Фюретьера XVII в. [19], где говорится: «Бобры, выдры и крокодилы — наполовину мясо, наполовину рыба, они живут и в воде и на земле. Называют китовыми рыбами больших рыб вроде кита и акулы, существуют также рыбы панцирные и ракушковые, как, например, черепахи и устрицы». Из этих пояснений видно, что в старину французы, подобно германцам, классифицировали животных по среде обитания и всех водяных животных, будь то рыбы, пресмыкающиеся, млекопитающие или даже моллюски, относили к «рыбам».

История взглядов и идей довольно часто отражается в рассматриваемом словаре, причем обычно это делается при толковании различных значений слова. Так, в статье *anthropologie* «антропология» приводится устаревшее значение слова «наука о человеке, совокупность гуманитарных наук», затем — современное — «антропология», внутри которой различаются *anthropologie sociale, culturelle, biologique* «социальная, культурная, биологическая антропология». Таким образом, в словаре чаще раскрывается история термина или взглядов, чем собственно история предмета. Этим толковый словарь также отличается от энциклопедического.

В заключение проиллюстрируем принцип разработки словарной статьи в словаре Робера под интересующим нас углом зрения на примере современного технического термина *avion* «самолет». Экстралингвистическая информация, выражаемая языковыми средствами, представлена здесь в определенной системе. Вначале в статье перечисляются разновидности самолета (до 50 обозначений), причем синонимические ссылки позволяют отыскать нужную номинацию. Например, указывается, что тяжелый самолет с большой грузоподъемностью называется *gros porteur* или *jumbo-jet*, тогда как небольшой самолетик — *piper-cub* или в арго летчиков *pou du ciel* (*букв.* «воздушная вошь»). Далее в специальном подразделе — типы военных самолетов, обозначения групп самолетов (эскадрилья, флот), действия военных самолетов. Потом следует описание частей самолета, его устройства (около 50 терминов, расположенных по алфавиту), особо выделено бортовое оборудование (25 терминов), далее следует лексика, относящаяся к управлению самолетом, к его полету, включая аварии и неполадки. За ней идет менее терминированная общая лексика, относящаяся к полету в самолете. Здесь читатель находит многие словосочетания, необходимые для описания эксплуатации самолета: *monter en avion*

«садиться в самолет», *prendre l'avion* «лететь самолетом», *l'avion décolle, monte, prend de l'altitude...* «самолет отрывается от земли, взлетает, набирает высоту...» и т. п. и даже *l'avion s'écrase* «самолет разбивается». Описываются характерные звуки самолета: *bourdonnement* «гул», *bang* «звуковой удар» (сверхзвукового самолета), его движение: *Un avion passe dans le ciel* «По небу летит самолет», направление движения: *l'avion pour Madagascar* «самолет, летящий на Мадагаскар», *l'avion de Paris* «самолет из Парижа или на Париж» и др. Подобные словосочетания и выражения кажутся простыми, само собой разумеющимися внутри данного языка, поэтому лексикографы не стараются приводить их, считая это излишним, но указание на эти способы выражения оказывается очень полезным для иностранцев, а также для разрешения сомнений у носителей языка.

Весь этот языковой материал — мы не могли привести его здесь полностью — уже сам по себе содержит обширные экстралингвистические сведения, касающиеся тех же основных трех аспектов синхронного описания предмета: его разновидностей, устройства, использования (функционирования). Но попутно составители словаря дают специальные экстралингвистические пояснения. Например, при сочетании *avion à flèche variable* «самолет изменяемой стреловидности» отмечается неправильное название... *à géometrie variable* «с изменяемой геометрией» и дается пояснение: «самолет, крылья которого изменяют очертания в соответствии со скоростью полета». Термин *avion-canard* «самолет схемы „утка"» объясняется так: «самолет, у которого оперение находится в передней части, тогда как крылья — сзади (старинные самолеты и некоторые скоростные)». В статье специально отмечается, что пассажирские самолеты именуются по их модели с номером: ДС-10 и др. Отмечаются некоторые правила и обычаи, связанные с полетом на самолете. Например: *lecture de la liste de contrôle, avant le décollage* (→*check-liste*) «чтение контрольного перечня операций перед взлетом самолета (см. „контрольная карта"»; *aller pour la première fois en avion* «первый раз лететь в самолете» [ср. статью *baptême de l'air* «воздушное крещение», где читатель может получить дополнительные сведения об этом обычае].

Следует также отметить, что в самом начале статьи приводятся гиперонимы — общие обозначения летательных аппаратов, их разновидности. Сочетание толкового, аналогического, синонимического словаря и словаря сочетаемости позволило дать обширные экстралингвистические сведения, почти не прибегая к чисто энциклопедическим пояснениям. Весь этот материал представлен весьма компактно и занимает менее полутора столбцов словаря.

Представляется целесообразным принять во внимание этот опыт отражения экстралингвистической действительности, сообщения энциклопедических знаний языковыми средствами и через описание языковых средств в словаре. Энциклопедизм — побочный продукт такого словаря. Основное в нем — описание слов — через слова — ради самих слов. Здесь возникает два вопроса: какую информацию отражать в словаре и за счет чего. Что касается места в словаре, то оно может быть найдено за счет замены пространных авторских цитат примерами и цитатами, более определенно отображающими внелингвистическую информацию. Например, в четырехтомном словаре русского языка в статье *яйцо* мы находим такую цитату, занимающую три строки: *Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку.* Что полезного читатель узнает из этой фразы? Только то, что бывают яйца всмятку. Остальное — гастрономические причуды данной женщины — к раскрытию значения и употребления слова отношения не имеют. Фразы типа *Курица снесла*

яйцо, *Цыпленок выклюнулся из яйца* были бы более полезными для читателя.

Изложенное выше позволяет разработать своего рода алгоритм для обработки слова в словаре, ориентирующемся на отражения широкой сферы употребления слова и одновременно экстралингвистических сведений о предмете через описание самого слова. В зависимости от характера самого слова и объекта вначале отражаются гипер-гипонимические отношения (разновидности объекта) с помощью словосочетаний с опорным словом, а в словарях идеографического типа — и с помощью списков гипонимов. Далее с помощью словосочетаний описывается устройство объекта (его части), затем его функционирование: действия и другие предметы, связанные функционально с данным. В отдельных случаях целесообразно приводить примеры на различные ассоциации, а также историко-культурный комментарий. Объем информации зависит, естественно, от типа словаря.

Для решения задачи такого рода придется, разумеется, пересмотреть и материал, на котором основывается в своей работе лексикограф. Обычно основным материалом, расписываемым при составлении больших словарей, является художественная литература, в некоторой степени пресса. Доля научной литературы относительно невелика. Однако художественная литература и пресса, имея в качестве лексикографического источника ряд известных преимуществ, в интересующем нас аспекте не могут дать всего необходимого материала, т. к. в них приводятся обычно лишь случайные, отрывочные, несистематизированные сведения, касающиеся того или иного объекта. Для более полного отражения в словаре устройства и функционирования предмета, обозначаемого таким-то словом (а следовательно, и для более широкого раскрытия самих языковых средств) целесообразно шире привлекать специальную и справочную литературу. Показательно, что при составлении девятитомного «Робера» было расписано около 1000 книг по специальным отраслям знаний, не считая словарей.

Существующие словари русского языка дают огромную информацию. Но нередко, когда нужно найти название для какой-нибудь детали, для разновидности предмета, для действия, совершаемого с данным предметом, для другого предмета, ситуативно связанного с первым, словарь оказывается как бы «безъязыким», поскольку читатель не может отыскать в нем нужного обозначения. И в этом случае приходится обращаться к специальным трудам и энциклопедическим словарям. Например, слово *анкетирование* вошло уже в русский язык, оно представлено в новом издании [19], хотя в предыдущем его не было. Но как называется по-русски человек, проводящий анкету (франц. *enquêteur*)? *Анкетирующий*? *Опрашивающий*? Или как-нибудь иначе? Ни новый четырехтомник, ни словарь иностранных слов, ни даже выпуски [20—23] не помогут найти ответ на вопрос. Но вот, во втором томе БСЭ (3-го издания) в статье «Анкетирование» мы обнаруживаем термин *сборщик*. Является ли это регулярной номинацией или речевым употреблением, неясно, но по крайней мере БСЭ дает возможность найти решение, которого не могут подсказать существующие толковые словари.

В идеале для большого многотомного словаря было бы чрезвычайно полезно расписать такую сокровищницу знаний (а следовательно, и слов и словоупотреблений), какой является Большая Советская Энциклопедия, а также специальные справочники, словари, популярные курсы по различным отраслям знаний. При этом вовсе не обязательно механически переносить в толковый словарь определения, даваемые в специальных справочных изданиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Le grand Robert de la langue française Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 2-éme éd. entièrement revue et enrichie par Rey A. T. 1—9. P., 1985.
2. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par P. Robert. Les mots et les associations d'idées. V. 1—6. P., 1966.
3. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par P. Robert, Supplément. P., 1970.
4. Larousse du XX siècle en six volumes. P., 1927—1933.
5. Grand Larousse encyclopédique en dix volumes. P., 1960—1964.
6. Nouveau petit Larousse illustré. P., 1924—1959.
7. *Quillet A.* Dictionnaire de la langue française. V. 1—3. P., 1956.
8. *Littré E.* Le dictionnaire de la langue française.V. 1—4. P., 1863—1872 (2-ème éd. P., 1958).
9. *Hatzfeld A., Darmesteter A., Thomas A.* Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIII siècle jusqu'à nos jours. V. 1—2. P., 1890—1900.
10. *Brunot F.* La pensée et la langue. P., 1926.
11. *Dubois J., Lagane R., Niobey G., Casalis D., Casalis J., Meschonnic H.* Dictionnaire du français contemporain. P., 1966.
12. *Davau M., Cohen M., Lallemand M.*, Dictionnaire du français vivant. P., 1972.
13. Larousse de la langue française. Lexis. P., 1979.
14. Словарь иностранных слов. 7-е изд. М., 1979.
15. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 13-е изд., М., 1981.
16. Logos. Grand dictionnaire de la langue française par Girodet J. P., 1976.
17. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.— Л., 1950—1965.
18. *Furetière A.* Essai d'un dictionnaire universel. P., 1960.
19. Словарь русского языка в четырех томах. 2-е изд. М., 1981—1984.
20. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77/Под ред. Котеловой Н. З. М., 1980.
21. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 78/Под ред. Котеловой Н. З. М., 1981.
22. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 79/Под ред. Котеловой Н. З. М., 1982.
23. Новое в русской лексике. Словарные материалы — 80/Под ред. Котеловой Н. З. М., 1984.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ЛЕМАН В. Ф.

ИНДОЕВРОПЕИСТИКА СЕГОДНЯ

1. Введение. В последние десятилетия индоевропеистика вступила в новую эпоху. Предшествующие исследования правомерно разделить на три периода, как это делает в своей книге В. Георгиев: 1) 1816—1870, 2) 1870—1916, 3) 1916 и далее [1]. Однако, как показано в том же исследовании, эти три периода представляют собой последовательные этапы развития единого направления, в основе которого лежит «сравнительно-исторический подход к индоевропейским языкам» [1, с. 27]. Хотя В. Георгиев рассматривает и другие методы, очевидно, что ведущие индоевропеисты опирались именно на сравнительно-исторический метод; этот метод лежит в основе многих исследований по индоевропеистике и в наши дни. Кроме того, главным объектом изучения были скорее языки как таковые, нежели языки народов с определенной культурой. Сегодня мы вправе говорить о новой эпохе, поскольку индоевропеисты сейчас располагают точными, хотя и неполными, данными о последовательных местах обитания носителей индоевропейских языков, о культуре этих народов. Кроме того, они имеют теперь более совершенные представления о языке, а также методы, позволяющие расширить наши лингвистические знания. Поэтому индоевропеистические исследования будут теперь все более приближаться по своему характеру к исследованиям исторически засвидетельствованных языков, как это было показано в недавно вышедшей в свет книге Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [2].

В небольшом очерке можно дать лишь краткий обзор основных исследований, проводившихся в указанном выше русле; к тому же в предлагаемом обзоре указывается крайне ограниченное число библиографических источников. Современные издания — будь то отдельные труды, как, например, работы В. Георгиева с библиографией в 35 страниц и Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова — с библиографией в 140 страниц, или такие, например, журналы, как «Die Sprache» и «Kratylos», — содержат максимально полную информацию, необходимую для дальнейших исследований. Основу данного очерка составляют характеристика достижений, связанных с археологическими открытиями, выводы из частных и общих культурологических исследований и результаты новейших лингвистических исследований. Расширение наших знаний и исследовательских возможностей ставит новые проблемы, разработка которых, к счастью, ведется; однако их решение требует значительно больших исследовательских усилий, а также организационных мер по налаживанию тесного сотрудничества между учеными различных специальностей из многих стран мира. Главная цель данного очерка — выявить проблемы, которые могут представлять интерес для этих ученых.

2. Локализация индоевропейского праязыка и связанные с ней вопросы. Видные индоевропеисты всегда занимались изучением как раннеиндоевропейских социальных объединений, так и их языков. А. Мейе катего-

рически заявляет, что язык не существует вне общества [3, с. 18] и что «общий язык (подобный индоевропейскому праязыку) предполагает общую цивилизацию..., народ, языком которого был общеиндоевропейский» [4, с. 31, 32]. Мы можем предпочитать иные термины терминам «общий» и «народ», однако не подлежит сомнению, что А. Мейе, несмотря на его предостережения, представлял себе при этом определенный народ с определенными культурными характеристиками и языком, краткое описание которого он дал в своем «Введении» [3]. Подобным образом, К. Бругман настаивает на своем предположении о существовании пранарода («Urvolk») [5, с. 22], а Г. Хирт говорит о «Stammvolk», обладавшем общими культурными чертами [6, с. 30]. Все эти три выдающихся ученых, стремясь исследовать реконструированный язык в его социальном контексте, вместе с тем сознавали недостаточную достоверность имевшихся у них данных [6, с. 29]. К счастью, методы археологических исследований ныне настолько усовершенствовались, что получаемые с их помощью новые сведения в сочетании с данными других наук [7, с. 5] позволяют с большой степенью уверенности использовать данные о носителях индоевропейского праязыка и их культуре.

На протяжении некоторого времени индоевропеисты соотносили носителей индоевропейских языков с определенными культурами, выявленными на основе археологических изысканий [8, с. 159—165; 9, с. 392—406]. Эти культуры относились к позднейшему периоду — третьему и второму тысячелетиям — и были локализованы, главным образом, в Центральной и Северной Европе. Поскольку основными признаками этих последних были каменные боевые топоры и шнуровая керамика, данные термины послужили в качестве обозначений культур, соотносимых с носителями индоевропейских языков. Вновь полученные археологические данные сближают культуру шнуровой керамики/боевых топоров с «древнеямной» культурой юга России. Согласно широко распространенной гипотезе, последняя характерна для носителей индоевропейских языков; эта культура известна под названием «курганной», что связано с курганами, которые насыпались при погребении знатных членов рода [10 (с библиографией), 11]. Эта традиция хорошо известна у народов культуры шнуровой керамики [12]. Кроме того, она описывается в таких памятниках, как «Илиада» (гл. 24, стихи 782—804) и «Беовульф» (стихи 1120, 3156—3162). Представители курганной культуры, бесспорно, были древнейшими носителями индоевропейских языков.

Не может быть сомнения в том, что древние носители курганной культуры проживали к северу от Черного и Каспийского морей. В ходе раскопок связанных между собой курганов были получены данные о распространении курганной культуры на запад, вглубь Европы, а оттуда — на Апеннинский п-ов, а также на север в Скандинавию и другие регионы Северной Европы [11; 13, с. 61—85]. Эти раскопки опровергли ранее предложенные гипотезы, в соответствии с которыми первоначальным «очагом» индоевропейцев является Центральная Европа, гипотезы, которые, к сожалению, повторяются в изданных большим тиражом популярных работах [14, с. 63—74, перепечатано в 15. с. 585—598]. «Очагом» индоевропейцев в конце IV тысячелетия несомненно была южная Россия.

Это не означает, что не могут быть определены более древние праязыковые территории, а также более ранние периоды в истории праязыка. Соответствующие гипотезы составляют ядро серьезной научной полемики [16, 7]. В силу своей сложности они заслуживают отдельного рассмотрения, как и ностратическая гипотеза. Замечу лишь коротко, что приводи-

мые в их поддержку данные — в основном лингвистического плана, причем здесь неизменно встают вопросы, предполагающие дальние реконструкции (ср., например, гипотетическое слово для обозначения «обезьяны» [7, с. 44—45; 2, с. 523—524, 585, 872]). Анализ этих реконструкций и продолжающийся поиск фактов, говорящих в пользу глоттальной теории, ставят перед лингвистами сложную проблему. Можно надеяться, что со временем будут получены новые археологические данные, которые позволят проверить гипотезы, основанные на лингвистической палеонтологии.

Независимо от того, будут ли эти данные указывать на индоевропейскую «прародину», находившуюся к северу от Каспийского моря или в Закавказье, или даже «между Балканами и Карпатами в V—IV тысячелетии» [7, с. 67], реалистическая трактовка индоевропейской общности возможна лишь начиная со времени, когда индоевропейцы в конце IV тысячелетия стали использовать колесо, лошадь и металл. Этот вывод, а также новые сведения о последовательных миграциях индоевропейцев содержатся в работах, которые поставили индоевропеистику на новую основу. Развитие исследований в этом направлении и установление хронологии наиболее раннего состояния — важнейшие задачи современной индоевропеистики.

3. Культура древних индоевропейцев. Носители позднеиндоевропейских языков, обитавшие в степной зоне, по всей вероятности, занимались кочевым скотоводством. В пользу подобного предположения говорят исследования лексики, археологические данные, а также свидетельства Геродота относительно обитателей этой области, живших там несколькими тысячелетиями позже. Эти данные также согласуются с общими выводами в пользу скотоводческой деятельности, вытекающими из антропологических исследований. В последнем отношении заслуживает внимание работа А. Хазанова [17] и ее обсуждение Т. Инголдом [18]. Термины, относящиеся к скотоводству, например, названия домашних животных, и термины, относящиеся к содержанию стада [19, с. 32—34], названия мелких социальных групп [19, с. 239—258] надежно засвидетельствованы в диалектах, в то время как термины, относящиеся к оседлому земледелию, такие, как «пахота», «посев», «молотьба», появляются только в начальный период существования поздних языковых подветвей. При интерпретации таких названий, как показано ниже, нужно очень осторожно относиться к определению их относительной хронологии [19]. Повседневная жизнь индоевропейцев скорее всего походила на скифскую, как ее описал Геродот, за исключением того, что со временем появилось колесо (это дало возможность передвигаться и даже жить в крытых повозках в значительной степени подобно переселенцам в Австралии и Америке в XIX в.). Благодаря появлению колеса, а вслед за ним — телеги и крытой повозки стала возможной миграция людей, не просто отдельные боевые вылазки, а переселение целых семей в новые регионы.

Названия, относящиеся к социальным структурам, свидетельствуют в пользу выводов относительно существования небольших мобильных групп, а не крупных народов. Не удалось восстановить ни одного термина, относящегося к более крупной единице. Производные от праи.-е. *weyk-*, как, например, греч. *oîkos* «совокупность домов; родина», используемое в этом значении в «Илиаде» (I.606, также I.19, 170, 179), и др.-инд. *viśpatis* «глава деревни» показывают, что самой крупной социальной единицей была большая семья. Названия главных ее членов, подобно слову *viśpatis*, обозначают социальные роли, а не семейные узы. Каким бы ни было точное происхождение основных терминов родства: праи.-е. *pətēr*, *mātēr*, *dhughtēr* «отец,

мать, дочь», основаны ли они на детских словах, таких, как *па*, *ма*, или на элементах, означающих «защищать, отмерять, служить» или им подобных, эти слова не обозначают генетических ролей, за исключением, быть может, лат. *sunus* «сын; рожденный». Нуклеарная семья, вероятно, совместно жила в **domos*, подобно тому, как каждый из богов в гомеровском пантеоне имел свой собственный *dômos*, *dôma* («Илиада», I.607, также I.18, 533, 570, 600; 6.313). «Дворец» Александра обозначается формой мн. числа *dôma*; его отдельные части состоят из помещений, обозначаемых формой ед. числа, видимо, ведущих начало от однокомнатного дома индоевропейцев, к которому были добавлены *thálamos* «почивальня» и *aulê* «двор». Существование подобных небольших социальных единиц, по всей вероятности, обеспечивало гибкость, особенно необходимую в чрезвычайных ситуациях, когда нужно было на время создать более крупные единицы, как, например, в описанном в «Илиаде» «войске», собранном эллинами.

Можно предполагать, что искусство древних индоевропейцев, ведших кочевую жизнь, было весьма примитивным [20, с. 87—104]. Отсутствие, даже в более поздние периоды, постоянных мест обитания обуславливало наличие лишь таких несовершенных видов искусства, как шнуровая керамика и наскальные изображения, как, например, в Вал Камонике и в Кивике. Религиозные представления также не отличались большой сложностью: имелся лишь бог Солнца, особых мест для совершения культа не было. Если согласиться с моим предположением, что два вестника-близнеца эвфемистически представляют собой тестикулы бога Солнца, то религиозные представления индоевропейцев оказываются более простыми и более непосредственно связанными со скотоводческой жизнью, чем те, о которых говорит М. Элиад [21, с. 10—11]. Выводы о столь простой или даже унылой жизни древних индоевропейцев могут быть подкреплены данными о более высокой культуре различных позднейших подгрупп. Каждая подгруппа ввела свои собственные божества. Греческий пантеон с множеством могущественных богинь значительно отличается от пантеона индоарийцев, а последний, в свою очередь, от пантеона иранцев, и хеттов, и т. д. В наши дни благодаря блестящим работам М. Гимбутас мы знаем, что греки унаследовали своих богинь, а также богов от древних европейцев вместе с их отношением к животным, и особенно к птицам [22]. Индоевропейский бог Солнца, хотя временами его положение было довольно шатким, перешел в пантеон, став Зевсом, а его вестников-близнецов заменил Гермес. Хетты, в свою очередь, заимствовали, среди прочих богов, хаттских и хурритских [23, с. 130—146]. Женские божества хеттов также отличаются от греческих. Так, например, ни у греков, ни у индоарийцев нет богини, аналогичной солнечной богине Аринны — Вурусему. Индоарийцы же, жившие за пределами Средиземноморья, для которого характерна приверженность к женским божествам, создали мужской пантеон, если не считать Ушас, богиню Утренней зари. У коренных народов заимствовались не только божества, но и виды художественной деятельности [23, с. 171—178; 21].

Несмотря на полуварварское состояние (так А. Гетце характеризовал хеттов [23, с. 171]), индоевропейцы отличались способностью к организации, восприимчивостью к новым обычаям, идеям, к различного рода нововведениям. Они также проявляли исключительный интерес к поэтическим формам речи, которая занимала особое место в их религиозных обрядах, к описаниям прошлых событий и к формулам народной мудрости. Восприимчивостью к изменениям и ассимиляцией иноэтнических культурных черт индоевропейцы отличаются от семитских народов. Индоевропейцы заимствовали богов и богинь, равно как и социальные установления и обы-

чаи. Они также скорее смешивались с другими народами, чем искореняли их, как того требовал древнееврейский бог от избранного им народа («Исход», 23: 23—33, «Второзаконие», 7 : 2). Археологические открытия позволят расширить наши знания о развитии конкретных культур на вновь освоенных территориях, подобно тому, как исследования по микенской культуре уточнили наши представления о развитии греческой подгруппы. Хотя в отношении остальных индоевропейских подгрупп трудно ожидать получения столь же разносторонних сведений, дальнейшие археологические изыскания помогут дополнить и конкретизировать сведения, которыми мы располагаем в результате исследования текстов и языков. Археологические данные также помогут нам представить себе особенности развития каждой подгруппы, входившей в протоиндоевропейскую общность, что привело к становлению абсолютно разных культур в таких, в частности, подгруппах, как индийская, эллинская и германская. По культуре индоевропейской общности существуют всесторонние исследования, принадлежащие, например, Ш. Шрадеру и Г. Хирту, а в последнее время Э. Бенвенисту [24], Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванову [2, ч. 2]. Подобные описания нужны и для древнейших периодов развития каждой из подгрупп.

Вполне возможно, что «камни не говорят», что археологические данные по существу не могут надежно свидетельствовать об истории языковых общностей. Кроме того, возможно, что донаучные антропологические описания таких классиков, как Геродот, Цезарь и Тацит, субъективны, а материал, который можно добыть из Вед и других древнейших источников, дает для описания древнейших культур лишь фрагментарные сведения. Однако углубленное изучение этих вопросов, проводившееся в течение нескольких столетий, позволило определить принципы интерпретации археологических свидетельств исторических описаний, а также установления их связей с данными языкового анализа. Интерпретация этих данных позволила получить надежные выводы, на которых мы подробно остановимся ниже с привлечением трех научных дисциплин: лингвистики, археологии и истории культуры.

4. Прогресс в изучении языка. Поскольку конкретные социальные группы идентифицируются прежде всего через их язык, индоевропеистика должна и впредь в значительной степени полагаться на данные, полученные языковедами. Следует в связи с этим с удовлетворением отметить прогресс в изучении языка и более четкую оценку его роли в обществе. В настоящее время мы уже не считаем предосудительным тот факт, что в том или ином языке могут быть заимствования из других языков. Напротив, критические нападки, наподобие тех, что были предприняты против З. Файста, который признавал возможность заимствований из языков коренных народов, теперь расцениваются как ненаучные и неуместные в научных публикациях. Если греческий, один из древнейших из засвидетельствованных диалектов, к тому же часто называемый консервативным, содержит от пяти до шести тысяч заимствованных слов [23], не должно быть особых колебаний по поводу допущения значительного числа заимствований в таких засвидетельствованных в более поздний период диалектов, как германский и италийский. В санскрите также имеется большое число слов, заимствованных из дравидийских и других местных языков. Мы не разделяем попыток отвергнуть наличие заимствований как принижающих статус носителей индоевропейских языков. Большое число заимствований мы рассматриваем в контексте общей восприимчивости к инновациям. Например, готское *alew* «масло» и его аналоги (counterparts), производные от слова,

обозначающего оливу, выявляют древнейшие языковые и социальные связи, подобно английским *wine* и *vine*, каково бы ни было их первоначальное происхождение. Установление «контекста» всех подобных культурных слов в отдельных из языковых подгрупп имеет огромное значение для описания развития этих подгрупп и их взаимосвязей.

Было бы ошибкой, однако, переоценивать значение внешних влияний и объяснять структурные свойства языка исключительно заимствованиями, как это делает П. Андерсен [26]. Несколько столетий изучения языка дали в наше распоряжение ценные сведения о его роли в обществе. Введение новых формальных методов и изменения в лингвистической терминологии никоим образом не умаляют ценности этих сведений. Независимо от применяемой нотации и терминологии теперь твердо установлено, что базовые структуры языков, их фонологические, морфологические и синтаксические компоненты, обиходный словарь постепенно изменяются в ходе контактов с другими языками; этот вывод подтверждают даже такие языки, как албанский, где имеется большое число заимствований. Изменения происходят в первую очередь в словарном составе в связи с необходимостью обозначения новых культурных и технических понятий, в меньшей степени в синтаксических и деривационных морфологических структурах и менее всего во флективной морфологии и фонологии. Отдельные отклонения от общей ситуации не ослабляют силу этих выводов. Как и в других науках, лингвистические выводы имеют статистический характер: данные с низкой частотой встречаемости не опровергают того или иного общего вывода. Подобно изотопам в химии, эти данные способствуют более адекватному пониманию интересующих нас вопросов. В лингвистике нечастотные случаи нередко дают возможность выявить отдельные сегменты постоянно изменяющейся системы (ср. низкочастотное /b/ в фонологических системах древнейших диалектов, нерегулярные основы на *r*/*n* в словоизменительной морфологии, нерегулярные посессивные композиты в деривационной морфологии, нерегулярные препозитивные относительные конструкции в синтаксисе). Чтобы быть убедительными, исследования нерегулярных, а также и частотных явлений должны обязательно основываться на знании языка в его функционировании в обществе как в настоящем, так и в прошлом. Подобные знания накапливались в течение всего развития лингвистической науки и суммировались лингвистической типологией. Как и любая другая научная дисциплина, эта отрасль лингвистики переживала периоды интенсивного интереса к ней и периоды, когда она оказывалась вне поля зрения лингвистов. Одним из периодов ее наиболее энергичного развития явился конец XVIII в., чему способствовали научный подъем в России и деятельность таких ученых, как Лейбниц. Главный итоговый труд этого периода «Митридат» еще и сегодня представляет определенный интерес [27]. Не преуменьшая значения последующих исследований типологов, таких, как В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, Ф. М. Мюллер, Н. Финк, Э. Сэпир, мы находим более полезными современные типологические изыскания, в том числе таких исследователей, как Дж. Гринберг, В. Н. Ярцева [28], Г. А. Климов [29]. Эти типологические исследования уже привели к основательной переоценке прежних взглядов, примером чего является глоттальная теория, развиваемая Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [2] и Э. Хоппером [30]. Эта теория, поначалу встреченная скептически, теперь получила широкое признание, если не утвердилась вполне, в особенности в отношении состояния языка, которое она описывает, независимо от того, будем ли мы квалифицировать его как праиндоевропейское или как доиндоевропейское. Всеобъемлющее представление этой теории

в труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [2] делает излишним ее обсуждение в данной статье. Заметим лишь, что в ней постулируются серии смычных согласных, состоящие из глоттального, глухого и звонкого (с аспирированными или шепотными аллофонами), как, например, в дентальной серии *d t d* (ранее *d t dh*). Используя последние достижения в изучении системы индоевропейских звонких согласных, особенно исследования Ф. Эджертона [31], а также прогресс в изучении системы индоевропейских гласных, достигнутый в значительной мере, благодаря проницательным выводам Е. Куриловича, основанным на интерпретации хеттских данных [32], глоттальная теория иначе представляет систему смычных согласных, что имеет соответствующие следствия для системы ларингальных. Она дает в наше распоряжение основанную на научных принципах сегментную фонологическую систему древнейшего праиндоевропейского состояния. Будем надеяться, что появятся подобные типологические исследования супрасегментов, которые создадут основу для более адекватных представлений об индоевропейской системе ударения, а также конечных элементов или стыков.

Формулирование глоттальной теории показывает, сколь значительный вклад может внести типология, предлагая обоснованную интерпретацию хорошо известных данных. Еще А. Шлейхер установил отсутствие /b/ в системе индоевропейских согласных [33, с. 160]. Он также установил, что в индоевропейском праязыке доминирующей была суффиксация; в то же время А. Шлейхер объяснял все препозитивные элементы, в частности, аугмент, как результат «Zusammenrucküng» [33, с. 333—336]. А. Мейе в свою очередь указал на отсутствие префиксов в праиндоевропейском языке [3, с. 151]. Однако лишь данные синтаксической типологии позволяют объяснить эту черту в более широком контексте, подобно тому как выводы фонологической типологии привели к разработке глоттальной теории. Из синтаксической типологии мы знаем, что префиксы не используются в качестве флективных элементов в языках типа OV. Следовательно, отсутствие префиксов в праиндоевропейском показывает, что он был языком типа OV.

Характеристики, установленные синтаксистами после А. Шлейхера, подтверждают этот вывод. Б. Дельбрюк на основе изучения ранних санскритских текстов определил, что в простых предложениях глагол занимал конечную позицию [34]. Он также указал на другие характеристики языков типа OV (препозитивная позиция генитива по отношению к определяемому [34, с. 42—43], расположение «древних истинных предлогов» после существительных [34, с. 46]). Но он не рассматривал эти характеристики в общей типологической перспективе. Целью Б. Дельбрюка была экспликация синтаксиса отдельных индоевропейских языков [35]. Ни он, ни его современники-типологи не соотносили установленные им синтаксические закономерности с данными, быть может, фрагментарными, содержавшимися в «Митридате» И. Аделунга и в последующих работах. Не предприняли они и попыток обобщить факты синтаксической типологии. Современные попытки синтеза, возможно, несовершенны, а рассмотрение синтаксиса многих диалектов требует значительных исследовательских усилий. Однако нет большого смысла в бессодержательных процедурах, предлагаемых ad hoc, например, Э. Хэмпом и К. Уоткинсом [36, 37], некритически принимаемых некоторыми исследователями, в основном теми, кто слабо владеет индоевропейским материалом [38]. И все же преобладающее число данных говорит о том, что индоевропейский праязык был языком типа OV.

Необходимость изучения индоевропейского синтаксиса можно проил-

люстрировать предложением Г. Рикса о проведении полного синтаксического анализа «Записок о галльской войне» Ю. Цезаря. Выбор данного текста определяется тем, что его текстологическая история дает основания считать его довольно непротиворечивым и однородным. Отсутствие такого синтаксического исследования текста, который знаком практически всем индоевропеистам, показывает, какие требования встают перед нами в связи с задачей накопления необходимого объема информации о синтаксическом развитии индоевропейских языков. Наличие компьютерных программ в значительной степени упрощает предлагаемый анализ, который можно было бы использовать в качестве примера для исследования многих других текстов.

Подобно фонологии, синтаксис должен рассматриваться в своем развитии. Это свойство языка предопределяет тот факт, что языковые системы никогда не бывают целиком внутренне последовательными. Современные языки, такие как английский, немецкий и французский, служат примерами подобной непоследовательности. Они дают нам основание заключить, что при изменении языков не наблюдается параллелизма, даже если эти языки являются близкородственными. Хорошо известно, что каждый из этих близкородственных и чрезвычайно схожих языков имеет отличную от других историю, связанную с историей общества, которое им пользуется. Кроме того, языки могут иметь различия даже внутри отдельных стилевых регистров. Так, например, в русском языке (соответствующие синтаксические исследования подтверждают это) письменный «научный стиль» более чем на 90% VO, в то время как «неофициальная спонтанная разговорная русская речь» более, чем на 50% OV [39, с. 45—46]. В других языках — картина смешанная. Так, в частности, литературный немецкий имеет структуру VO в главных предложениях и OV — в придаточных, что, как я уже отмечал [40], накладывает специфический отпечаток на структуру языка.

Как и при исследовании фонологических и морфологических характеристик, задачей исторической лингвистики является определение причин установления той или иной ситуации в том или ином языке. Это может быть осуществлено лишь посредством создания на основе теории языка концептуальной схемы и путем сбора сведений об изменениях в синтаксисе. В последние годы появились новые работы о синтаксических изменениях [28; 41], а также о конкретных изменениях в индоевропейских языках (ср. [42] и последующие публикации данного автора). Как подчеркивает К. Юстус [42, с. 238—239], в хеттском имеются препозитивные относительные предложения с фокусным маркером, которые есть и в древнелатинском. Примеры показывают, что эта конструкция встречается в языках, которые засвидетельствованы в состоянии перехода от порядка OV к порядку VO. Ранее Б. Дельбрюк отметил препозитивность относительных предложений с *ya* в раннесанскритской прозе, указав, что «обычно относительные предложения имеют препозитивную позицию, реже — постпозитивную» [43, с. 564], хотя позднее, из-за отсутствия соответствующих синтаксических сведений он пришел к выводу, что «естественная и первоначальная позиция относительных предложений была после главного предложения» [35, с. 425]. В другом месте я указывал на расширение знаний о синтаксисе, в значительной мере связанное с исследованиями языков типа OV [44, с. 124—125]. Этот прогресс позволил объяснить развитие синтаксиса в некоторых древних языках и дать общее описание праиндоевропейского синтаксиса [40]. Индоевропеистика сейчас нуждается в тщательных исследованиях основных синтаксических структур в каждом из диа-

лектов. Необходимо выявить этапы синтаксического развития в соответствии с изменением морфологических структур, наподобие того, что я предложил в отношении маркеров относительных конструкций [44, с. 138—139], а также установить корреляции этих этапов с этапами фонологических изменений. Такие этапы были намечены при исследовании ларингальных [47, с. 112—114]. Хронология развития системы смычных подробно рассматривается И. М. Дьяконовым [7, с. 7—19]. Необходимо отметить важность предлагаемой И. М. Дьяконовым хронологической трактовки, а также необходимость интеграции подобных фонологических описаний с описаниями, предлагаемыми для словарного состава и синтаксиса компонента (с учетом информации, добытой на основе археологических изысканий). Полученные до сих пор результаты никак не могут считаться окончательными: так, этапы фонологических изменений были недавно намечены на основе морфологических маркеров ([45] и ср. также [46, 47; 48, с. 44—50]). Теперь данные по отдельным языковым уровням должны исследоваться в совокупности. Каков бы ни был результат такого комплексного анализа, рассмотрение праиндоевропейского в процессе развития есть одно из наиболее значительных достижений новейших индоевропеистических штудий.

Соотнесение деривационной морфологии с развитием техники позволило уяснить относительную хронологию культурного словаря, как это сделано Ф. Шпехтом в его исследовании «Происхождение индоевропейского склонения» [19]. Ф. Шпехт показал, что терминология, описывающая крытую повозку, характеризуется морфологией (resp. тематической флексией), типичной либо для позднего праиндоевропейского состояния, либо даже для древнейших индоевропейских диалектов [19, с. 99—103]. В ходе археологических исследований мы получаем все более точные сведения об изобретении колеса в конце IV тысячелетия, об его использовании в транспортных средствах, а также о последующем распространении колесной тяги [49, с. 30—63]. Археологические данные позволяют отнести появление тематической флексии к началу III тысячелетия. Датировка пока носит самый общий характер и должна быть соотнесена с морфологическими характеристиками соответствующих диалектов, особенно анатолийского.

Типологические процедуры лишь недавно стали применяться в семантических исследованиях [50, с. 245—271]. Схема установленных изменений включает переходы от пропозиционного к текстовому и далее к экспрессивному значению, подобно тому как полнозначные слова переходят в формальные, а аспектная система переходит во временную [51, с. 145—146; 52, с. 19—26]. Гипотеза о другом семантическом сдвиге, от полнозначного слова к формальному, была выдвинута много лет назад К. Бругманом, который предположил, что праиндоевропейское местоимение 1-го лица развилось из слова, параллельного по значению японскому *boku* «слуга > я» [5]. Последняя гипотеза наталкивает на другие предположения, например: не была ли праиндоевропейская система личного дейксиса в более древний период основана на именных лексемах, выражавших почтение? На примере этого предположения видно, что семантические реконструкции носят в высшей степени гипотетический характер и требуют в целях большей достоверности дальнейших исследований семантической типологии, а также, если это возможно, анализа доиндоевропейского и современных ему языков.

5. Исследования, основанные на археологических изысканиях. Достижения в области археологии, с другой стороны, являются поистине впечат-

ляющими, и число их таково, что перечисление просто невозможно. Применение в археологии последних достижений физики, химии, биологии дало возможность датировать археологические находки, определять их происхождение и даже восстанавливать их. Мы признательны авторам работ, обобщающим результаты археологических исследований, таких как [53, 54, 49, 11]. Однако, как было отмечено выше, каждая из этих областей настолько сложна, что требует полного внимания работающих в ней специалистов, а это ограничивает возможность интеграции результатов, основанных на данных, полученных в других областях. С. Пиггот [49], например, не упоминает исследования Ф. Шпехта [19]. Чтобы сделать сотрудничество более тесным, мы нуждаемся в обобщающих публикациях.

Одним из наиболее значимых достижений естественных наук является определение последовательных этапов прогресса в использовании металлов. Общая схема такова: за медью последовала мышьяковая бронза, за ней — оловянная бронза, еще позже — железо [55]. Эти последовательные фазы представлены, хотя и неотчетливо, и в лексиконе. Праи.-е. *ayos* «руда, металл» — единственный термин, реконструируемый для праиндоевропейского языка, хотя Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов предложили и другие термины [2, с. 713—714]. Обозначения металлов, появившихся позднее, рассматриваются в [56, с. 605—615]. В связи с важностью этих терминов все они широко обсуждались, но полного согласия относительно их интерпретации достигнуто не было [2, с. 709—714]. Тем не менее все сходятся в том, что *ayos* сначала обозначало медь, затем бронзу и, наконец, в Индии стало обозначать железо. Слово *ayos*, возможно, происходит от корня *ay-*, *xey-* «гореть, блестеть». Таким образом, это существительное могло сначала служить для обозначения металлов, получаемых плавлением, либо же, согласно интерпретации Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, причиной его возникновения был яркий цвет этих металлов.

Уже давно известно, что когда были открыты новые металлы, появились и дополнительные термины, такие как лат. *aes cyprium* «металл с Кипра, медь». Металлы, введенные в употребление еще раньше, видимо, также имели свои обозначения, как, например, мышьяковая медь, от которой отказались, по крайней мере, отчасти из-за ее вредного воздействия на кузнеца. В связи с отказом от мышьяковой бронзы маловероятно, чтобы обозначавший ее термин сохранился в языке. Однако его следы могли сказаться в производных формах. Я выдвинул предположение, что такими реликтовыми формами являются лат. *aeger*, тох. В *aik(a)re*, А *ekro* «больной», ст.-слав. *jędza* «болезнь», др.-исл. *ekki* «боль», литов. *ìngis* «лентяй» и др. На этимологию этих слов нет общепринятого взгляда. Однако вполне вероятно, что для обозначения мышьяковой бронзы в качестве варианта *ayos-* был образован дериват на *-g*, имеющий в качестве корня [подобно праи.-е. *-es*-основам, ср.: *ayos-*, *aydhes-*, как в др.-инд. *édhas* «дрова», греч. *aîthos* «огонь»] праи.-е. *ay-*. Ввиду вредного воздействия мышьяковой бронзы термин, предположительно служивший для ее обозначения, возможно, сохранился лишь в таких производных формах, как лат. *aeger*.

Хотя предлагаемая этимология и вытекающие из нее соображения, возможно, носят спекулятивный характер, факты, выявленные в области палеозоологии, палеоботаники делают необходимым по-новому проанализировать праиндоевропейский словарь. Такой пересмотр, учитывающий данные, основанные на результатах анализа археологических находок, может прояснить отдельные участки праиндоевропейского лексикона и в то же время расширить наше представление об условиях, в которых жили индоевропейцы.

Второй том труда Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [2] предоставляет в наше распоряжение оптимальные средства для проведения подобного анализа. В нем, в частности, содержится исследование термина, обозначающего «лосося» [2, с. 536], который широко использовался в XIX в. для локализации прародины индоевропейцев в Северной Европе. Ряд предположений авторов, например, в отношении слов, обозначающих слона и обезьяну, равно как и соответствующие выводы об относительно более южной прародине индоевропейцев, энергично оспариваются (ср. соответственно [2, с. 523—524] и [7, с. 44—45]). Дальнейший анализ новых данных, полученных в результате археологических и палеологических исследований, позволит нам уточнить выводы о древних местах обитания носителей индоевропейских языков и об их расселении.

6. Выводы, основанные на текстовом анализе. Наиболее впечатляющие выводы текстового анализа связаны с изучением ключевых фрагментов со структурной точки зрения. Выдающийся мифолог Ж. Дюмезиль в своих фундаментальных исследованиях проанализировал с трехфункциональной точки зрения тексты, описывающие общественные установления и обычаи индоевропейцев ([57, 58]; ср. также [59]). Результаты этих исследований хорошо известны: Ж. Дюмезиль постулировал наличие у индоевропейского общества такой структуры, в которой выделялись социальные группы с жреческими, военными и хозяйственными функциями. В этом древнеиндоевропейское общество отличалось от древних семитов, у которых все три функции были объединены, а центрами административно-хозяйственной жизни служили храмы (у индоевропейцев храмов не было). Соответствующие тексты подверглись тщательному анализу, в более поздних из них были выделены наиболее древние фрагменты. Привлекались сведения, относящиеся к различным областям культуры индоевропейцев, например, к религиозным обрядам. Достоверность этих выводов повысится с привлечением данных, основанных на археологических находках, а также данных соответствующих языков.

Тексты анализировались не только с целью выявления концептуальных структур, но и параллелизмов в различных индоевропейских языках. Наиболее известным из последних является параллелизм приводимого А. Куном др.-инд. *áksiti śrávas* с гомер. *áphthiton kléos* «неувядаемая слава», позднее модифицированного в соответствии с порядком VO. Подобный поиск особенно характерен для исследователей, придающих большое значение сравнительному методу, например, для К. Уоткинса [60]. Результаты такого поиска заслуживают самого пристального внимания, однако их ценность может быть резко снижена при недостаточном внимании к структуре языка и отсутствии различительной функции у предлагаемых моделей (как, например, в англ. *Arnold's son*). Ранее я уже отмечал, что приводимая современными индоевропеистами форма санскритского выражения с более поздней тематической флексией *śrávas ...áksitam* встречается лишь в одном стихе «Ригведы» (I.9.7), в котором прилагательное употреблено предикативно; адъективно-субстантивная группа везде имеет приведенную выше форму (Ригведа, I.40.4, 8.103.5, 9.66.7). При точном цитировании обнаруживается архаичность этого выражения, имеющего порядок следования OV. Тщательный анализ параллельных словосочетаний, встречающихся в текстах, способствует проникновению в специфику языка, а также ранней культуры, как показал А. Кун в 1853 г.

В ходе дальнейшего изучения текстов выявились группы лексических единиц, среди которых наиболее детально исследована категория терми-

нов родства. Эта категория, давно являвшаяся объектом изучения, в недавнее время была подвергнута анализу с несколько иных позиций — с учетом данных сравнительно-типологических исследований ([61; 24, с. 180—192], ср. [48, с. 36—39]). Описание структуры индоевропейского общества, основу которой составляла парная экзогамная патрилокальная семья с ее разновидностями, содержится в труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [2, с. 755—775]. Развитие антропологических исследований позволяет надеяться на появление работ, освещающих другие стороны индоевропейского социума, отраженные в праиндоевропейском лексиконе и в древних текстах.

Резюмируя, можно сказать, что тщательные исследования текстов и древних языков с учетом выводов, полученных смежными научными дисциплинами, будут способствовать обогащению наших знаний о культуре древнего периода, а также восстановлению доверия к лингвистической палеонтологии. Актуальными остаются археологические изыскания в районах, населенных индоевропейцами. К счастью, в настоящее время они проводятся весьма интенсивно. Эти исследования будут иметь особенно важное значение для решения таких проблем, как восточная миграция индоиранцев, установление районов обитания в Европе носителей культуры Белл Бикер, а также ранней прародины носителей праиндоевропейского языка. Вопросы, стоящие перед нами, сходны по масштабу с вопросами, которые стояли перед индоевропеистами в начале XIX в. и позже, в его столь продуктивной последней четверти. Отличие, однако, состоит в том, что в наши дни центральное место принадлежит археологическим находкам, а не лингвистическому объяснению. Сложность проблем требует интенсивного сотрудничества ученых, работающих во всех научных дисциплинах и учреждениях, имеющих к ним отношение. Результаты этих исследований приблизят нас к пониманию замечательного события человеческой истории — распространения небольшой языковой общности по обширной территории и превращения ее в крупнейшую языковую семью.

7. Ностратическая гипотеза. Установление связей между праязыками постоянно занимало немногочисленную группу ученых. Эти поиски, вероятно, заслуживают одобрения, но, по-видимому, выходят за пределы наших возможностей. Х. Педерсен в конце своей известной истории лингвистики XIX в. поместил краткий обзор всех попыток соотнести индоевропейский с другими языковыми семьями. Относясь с сочувствием к исследованиям подобного рода, он предложил «в качестве общего названия для всех языковых семей, которые имеют связи с индоевропейской, ...термин н о с т р а т и ч е с к и е я з ы к и (от *nostras* „наши соотечественники")» [62, с 338]. Среди них такие, например, семьи, как семитская, финно-угорская, тюркская, «широко разветвленная хамитская семья» и кавказские языки. О. Семереньи положительно относится к ностратическим штудиям, но употребляет термин «ностратический» в смысле, характерном для современных исследователей [48, с. 39—41]. Эти исследователи включают в «макросемью» разное число языков. В то время как В. М. Иллич-Свитыч [63] и его последователи включают те же языки, что и Х. Педерсен, А. Бомхард ограничивается двумя — праиндоевропейским и праафразийским [64, с обширной библиографией].

Выше я уже отмечал, что в коротком очерке невозможно подробно проанализировать ностратические исследования. В связи с огромным вниманием, которое им уделяется, даже таким осторожным исследователем, как О. Семереньи, следует высказать два соображения, первое из которых касается метода, второе — результатов исследований языковых связей.

При установлении возможных языковых связей должен быть привлечен исчерпывающий материал — сначала материал, для которого могут быть сформулированы правила, а затем списки «исключений» из установленных правил. Своей силой формулировка Я. Гримма, предложенная им в 1827 г., в значительной степени обязана применению именно подобной процедуры [65, с. 580—592]. Для всех случаев параллелизма указываются правила (позже, к сожалению, квалифицированные в качестве «законов»). После этого отмечаются «исключения». Эффективность этой процедуры была осознана, когда несколько лингвистов — фон Раумер, Г. Грассман, К. Вернер — решили проблему «исключений», предложив новые правила с соответствующими ограничениями. Пока сторонники ностратической теории не возьмут на вооружение методику Я. Гримма, их усилия будут подвергаться критике.

Хотя глоттохронология не получила широкого признания, ее практика показала, что языки постоянно утрачивают лексические единицы — от 15 до 20% лексического фонда за тысячелетие. Допустив относительно высокий уровень сохранности лексики, например, 85%, можно ожидать, что в двух языках, имеющих общий источник, через тысячу лет после их обособления соответствия в словаре составят лишь 72%. Если принять, вслед за Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым [2, с. 964], в качестве периода существования праиндоевропейской языковой общности V тысячелетие, мы должны постулировать, по крайней мере, семь тысячелетий раздельного существования с другими языковыми семьями, и даже более, учитывая огромные различия между праиндоевропейским и праафразийским. За столь значительный период число соответствий едва ли превысит число случайных соответствий между языковыми семьями. Подобные темпы утраты могут способствовать объяснению отсутствия некоторых соответствий между различными семьями, объединяемыми в рамках ностратической гипотезы, однако ее сторонники должны вполне определенно высказать свою точку зрения в отношении этого отсутствия.

Для того, чтобы ностратическая гипотеза получила широкое признание, ее сторонники должны строго следовать процедурам исторического языкознания. Одной из важнейших задач является объяснение фундаментального различия между праафразийским как языком типа VSO и праиндоевропейским как языком типа OV. Возможно, что по мере углубления наших знаний могут быть выявлены бесспорные морфологические показатели, раскрывающие связи между языками на протяжении длительного периода времени (ср. работу А. Банхарда). Необходимо оценить взаимовлияния лексики и синтаксиса в наиболее древние периоды существования языка [2, с. 967—968]; О. Семереньи не только принимает во внимание лексические заимствования, но и высказывает предположение о фонологическом влиянии семитских языков на индоиранские, начиная уже с древнейшего периода. Выявление инноваций внутри отдельных семей и их взаимовлияния в соответствии с требованиями строгих лингвистических процедур — одна из насущных задач индоевропеистики. Очевидно, что придется обратиться к самым разнообразным источникам — археологическим, культурно-историческим и лингвистическим [2, с. 969].

8. **Заключение.** Большое число вопросов, связанных с изучением праиндоевропейского и его носителей, остается нерешенным. Исследование проблем прародины индоевропейцев показывает, что праязык не есть просто более древнее отражение греческого, армянского и индоиранского; «стройная... глагольная система последних» [48, с. 50] является еще одним свидетельством творческой способности к нововведениям носителей ин-

доевропейских языков. В связи с этим индоевропеисты еще больше осознали тот факт, что представление о праязыке как языке, схожем с санскритом, является по меньшей мере упрощением. Открытие хеттского языка явилось одним из ключевых факторов становления более реалистических представлений, хотя трудности, связанные с расшифровкой этого и других анатолийских языков, тормозили исследования хеттского языка и его взаимосвязей. Первые хеттские словари все еще не завершены; ссылки в них даются скорее на таблички, чем на критически изданные тексты, уже давно имеющиеся по другим ветвям языков. Поэтому индоевропеисты не могут пользоваться анатолийскими источниками с той же легкостью, с какой используются материалы по другим подгруппам. Тем не менее представления XIX в. о праязыке сегодня уже не разделяются учеными.

Источником новых импульсов для пересмотра прежних взглядов на праязык явились археологические открытия, а также использование всей совокупности лингвистических методов, а не только сравнительного. Система праиндоевропейского языка, излагаемая в стандартных учебниках, постепенно модифицируется. Наибольшая степень согласия наблюдается в отношении модификации фонологической системы. Большинство индоевропеистов постулирует три ларингальных, некоторые — четыре, другие — по крайней мере, один. Многие исследователи, кроме того, предполагают более долгое сохранение ларингальных после распада индоевропейской языковой общности на диалекты, как это делается в работах Ф. Коттланда [66, 67]. Через год или два, как объявило известное издательство «Де Гройтер», предполагается опубликовать два обзора современных точек зрения, авторами которых являются соответственно Э. Поломе и Т. Веннеман.

Новые представления об индоевропейской морфологической системе гораздо медленнее проникают в сознание лингвистов. Постулирование ларингальных, например, прояснило вопрос о связи между формами ед. числа ж. рода и мн. числа ср. рода на -а, о чем почти сто лет назад писал И. Шмидт [68]. Однако даже такие ученые, как О. Семереньи [48, с. 19 — 20], не склонны отказываться от родовой системы, связанной с «естественным родом». Уже много лет назад К. Бругман описал индоевропейскую родовую систему как отражение согласования между прилагательным и существительным. Данные диалектов, в особенности анатолийского, позволяют предположить, что такое согласование — более позднее явление и основывалось на семантических категориях коллективности, одушевленности и неодушевленности. Тем не менее многие продолжают придерживаться устаревшего взгляда на род, унаследованного от эпохи романтизма.

Опыты объяснения развития индоевропейской родовой системы будут и в дальнейшем основываться на гипотезах, а эти последние в свою очередь опираются большей частью на данные общеязыковедческих исследований. Согласно одной из гипотез, выражение согласования особенно характерно для языков типа SVO. Оно отсутствует в языках типа OV, например, в турецком и в японском, и минимально представлено в языках типа VSO, например, в библейском древнееврейском. Появление в индоевропейском праязыке системы согласования вполне соотносимо с начинающимся сдвигом от структуры типа OV к типу VO. О наличии такого сдвига и о том, что до него индоевропейский праязык имел структуру OV, свидетельствуют многочисленные данные. Нельзя строить общие выводы лишь на нескольких характеристиках, таких как относитель-

ное придаточное предложение и связанные с ним именные определительные конструкции с генитивом и адъективом. Нельзя делать выводы и на основе отдельно взятых позднейших текстов. Кроме того, применение логических схем к естественным языкам приводит к ошибочным результатам. При ближайшем рассмотрении признаков, свойственных типу VO, в противопоставлении признакам, характерным для типа OV, нельзя не сделать вывод, что структура раннеиндоевропейского праязыка относилась к типу OV. Следствия из этого должны приниматься во внимание при локализации индоевропейского праязыка с учетом других праязыков той эпохи.

Авторам подобных исследований необходимо также использовать все более убедительные выводы, связанные с археологическими изысканиями, хотя эти выводы и могут быть спорными, равно как и лингвистические гипотезы, вроде глоттальной теории. Уже само название такого, например, исследования А. Аммермана и Дж. Кавалли-Сфорца, как «The Neolithic transition and the genetics of populations in Europe» [69], сколь бы суровой ни была критика рецензентов [70], показывает очевидные достижения в объяснении тех процессов, которые были абсолютно недоступны индоевропеистам XIX в. Пример из другой области — использование изотопного состава свинца для определения медных источников бронзового века — показывает ту степень точности, которую мы все более можем ожидать от данных археологических исследований и их анализа [71].

Работы общего характера, такие как [72] или [73, 12], слишком обширны, чтобы их можно было коснуться в данном обзоре. К тому же в них рассматриваются лишь некоторые ветви индоевропейского праязыка.

И последнее. Индоевропейские исследования приобрели слишком большую широту и значимость, чтобы ими занимались только лингвисты. В XIX в. видные ученые других специальностей, такие как Й. Хоопс [74] и О. Шрадер [75, 76], исследовали общенаучные и культурологические вопросы, относящиеся к индоевропейцам. Разделение наук привело к тому, что специалисты в области социальных и естественных наук, а также исследователи культуры пошли собственными путями. Необходимо принять меры по объединению их с языковедами, например, в рамках Центра индоевропейских исследований, у которого имелись бы все условия для выполнения и издания научных работ. Та выдающаяся роль, которую носители индоевропейских языков сыграли в истории человечества, требует детального осмысления. Значительные результаты в этой области можно получить уже сегодня при условии объединения усилий ученых разных специальностей.

Перевел с английского *Дронь А. Н.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Georgiev I.* Introduction to the history of Indo-European languages. Sofia, 1981.
2. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
3. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. P., 1937.
4. *Meillet A.* The comparative Method in historical linguistics/Translated by Ford B. F., Jr. P., 1967.
5. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904.
6. *Hirt H.* Die Hauptprobleme der indogermanische Sprachwissenschaft. Halle, 1939.
7. *D'iakonov I. M.* On the original home of the speakers of Indo-European // Soviet anthropology and archeology. 1984. 23.V.2.
8. *Bosch-Gimpera P.* Les indo-européens: problèmes archeologiques. P., 1961.

9. *Buchvaldek M.* Corded pottery complex in Central Europe // Journal of Indo-European studies. 1980. 8.
10. *Gimbutas M.* Proto-Indo-European culture: The Kurgan Culture during the Fifth, Fourth, and Third Millenia B. C. // Indo-European and Indo-Europeans/Ed. by Cardona G. et al. Philadelphia, 1970.
11. *Gimbutas M.* The transformation of European and Anatolian culture 3400—2500 B. C. and its legacy // Journal of Indo-European Studies. 1980. VIII. 1—4; IX. 1—2.
12. *Glob P. V.* The Mound people. L., 1974.
13. *Thomas H. A.* Archeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans // Migrations of the Indo-Europeans in the Fourth and Third Millennia. Ann Arbor, 1982.
14. *Thieme P.* The Indo-European language // Scientific American. 1958. 199. P. 63—74.
15. *Thieme P.* The comparative method for reconstruction in linguistics // Language in culture and society. N.Y., 1964. P. 585.
16. *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* The ancient Near East and the Indo-European problem: Temporal and territorial characteristics of Proto-Indo-European based on linguistic and historico-cultural data. The migrations of tribes speaking the Indo-European dialects from their original Homeland in the Near East to their historical habitations in Eurasia // Soviet studies in history. 1983. 22. V. 1—2.
17. *Khazanov A.* Nomands and the outside world//Cambridge studies in social anthropology. 1984. 44.
18. *Ingold T.* Khazanov on nomads // Current Anthropology. 1985. 26.
19. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944.
20. *Alexander S. M.* Was there an Indo-European art? // The Indo-Europeans in the Fourth and the Third Millenia. Ann Arbor, 1982.
21. *Eliade M.* Shamanism. Princeton, 1964.
22. *Gimbutas M.* The goddesses and gods of Old Europe 6500—3500 B. C. Myths and cult images. L., 1982.
23. *Goetze A.* Kleinasien. München, 1957.
24. *Benveniste E.* Indo-European language and society. L., 1973.
25. *Furnée E.* Die wichtigsten Konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague, 1972.
26. *Andersen P.* Word order typology and comparative constructions. Amsterdam, 1983.
27. *Adelung J.* Mithridates oder allgemeine Sprachkunde. Berlin, 1806—1817.
28. *Ярцева В. Н.* Типология языков и проблема универсалий // Теоретические аспекты лингвистики. М., 1977.
29. *Климов Г. А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
30. *Hopper P.* «Decem» and «Taihun» languages: An Indo-European isogloss // Bono homini donum. Essays in historical linguistics in memory of J. A. Kerns. Amsterdam, 1981.
31. *Edgerton F.* The Indo-European semivowels // Language. 1943. 19.
32. *Kuryłowicz J.* Indoeuropéen et hittite // Symbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. Kraków, 1927. I. P. 25—104.
33. *Schleicher A.* Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1871.
34. *Delbrück B.* Die altindische Wortfolge aus dem Çatapathabrāhmaṇa dargestellt // *Delbrück B.* Syntaktische Forschungen. III. Halle, 1878.
35. *Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1893—1900.
36. *Hamp E.* Why syntax Needs phonology // Papers from the Parasession on diachronic syntax. Chicago, 1976. P. 348—364.
37. *Watkins C.* Towards Proto-Indo-European syntax: Problems and pseudo-problems // Papers from the parasession on diachronic syntax. Chicago, 1976.
38. *Lehmann W.* From phonetic facts to syntactic paradigms: The noun in early Proto-Indo-European // The Indo-Europeans in the Fourth and Third Millennia. Ann Arbor, 1982.
39. *Keijsper C.* Information structure with examples from Russian, English and Dutch. Amsterdam, 1985.
40. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European syntax. Austin, 1974.
41. Word Order and Word Order Change / Ed. by Li C. Austin, 1975.
42. *Justus C.* Relativization and topicalization in Hittite // Subject and topic. N.Y., 1976. P. 245—251.
43. *Delbrück B.* Altindische Syntax. Halle, 188.
44. *Lehmann W. P.* The Reconstruction of non-simple sentences in Proto-Indo-European // Linguistic Reconstruction and Indo-European syntax / Ed. by Ramat P. et al. Amsterdam, 1980.

45. *Meid W.* Probleme der räumliche und zeitliche Gliederung des Indogermanischen // Flexion und Wortbildung. Wiesbaden, 1975.
46. *Neu E.* Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems. — In: Studies in Greek, Italic and Indo-European linguistics (offered to Leonard R. Palmer). Innsbruck, 1976.
47. *Adrados F. R.* The archaic structure of Hittite // The journal of Indo-European studies. 1982. 10.
48. *Szemerényi O.* Recent developments in Indo-European linguistics. // Transactions of the Philological Society, 1985.
49. *Piggott S.* The earliest wheeled transport. From the Atlantic Coast to the Caspian Sea. L., 1983.
50. *Traugott E.* From propositional to textual and expressive meanings: Some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization // Perspectives on historical linguistics. Amsterdam, 1982. P. 245—271.
51. *Prokosch E.* A comparative Germanic grammar. Philadelphia, 1939.
52. *Lehmann W.* The Indo-European *dh*-determinative as Germanic preterite formant // Language. 1943. 19.
53. The coming of the age of iron / Ed. by Wertime T., Muhly J. New Haven. 1980.
54. *Clutton-Brock J.* Domesticated animals from early times. London —Austin, 1981.
55. *Charles J.* The coming of copper and copper-bronze alloys and iron: A Metallurgic Sequence // The coming of the age of iron. New Haven, 1980.
56. *Buck C. D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.
57. *Dumézil G.* L'idéologie tripartie des indo-européens. Bruxelles, 1958.
58. *Dumézil G.* Mythe et epopée. I—III. P., 1971—1973.
59. Hommage to Georges Dumézil / Ed. by Polomé E. C. Washington, 1982.
60. *Watkins C.* Aspects of Indo-European poetics // The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia. Ann Arbor, 1982.
61. *Friedrich P.* Proto-Indo-European kinship // Ethnology. 1966. 5.
62. *Pedersen H.* Linguistics Science in the Nineteenth Century. Cambridge, 1931.
63. *Илич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. I—II. М., 1971, 1976.
64. *Bomhard A. R.* Toward Proto-Nostratic. A new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afro-Asiatic. Amsterdam, 1984.
65. *Grimm J.* Deutsche Grammatik. Bd. 1. Gütersloh, 1891.
66. *Kortlandt F.* Proto-Indo-European obstruents // IF. 1978. 83.
67. *Kortlandt F.* Linguistics theory, universals, and Slavic accentuation // Folia Linguistica Historica. 1983. 4.
68. *Schmidt J.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.
69. *Ammerman A., Cavalli-Sforza J.* The Neolithic transition and the genetics of populations in Europe. Princeton, 1984.
70. *Dennel R.* // Science, 1985, N 227. p. 1331. Rec.: *Ammerman A., Cavalli-Sforza J.* The Neolithic transition and the genetics of population in Europe, Princeton, 1984.
71. *Gale N., Stos-Gale Z.* Bronze age copper sources in the Mediterranean. A new approach // Science, 1982, N 216.
72. *Trump D.* The prehistory of the Mediterranean. New Haven, 1980.
73. *Glob P.* The bog people. L., 1969.
74. Reallexikon der germanischen Altertumskunde / Hrsg. von Hoops J. I—IV. Strassburg, 1911—1919.
75. *Schrader O.* Sprachvergleichung und Urgeschichte. Jena, 1906—1907.
76. *Schrader O.* Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde. 2-te Aufl. / Hrsg. von Nehring A., Bd. I—II. Berlin, 1917—1929.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВ А. А.

ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В РОССИИ XI—XVI вв.

Пути и принципы стабилизации языковой нормы в разные периоды существования литературного языка могут быть различны, их изучение имеет особо важное значение для понимания природы литературного языка в тот или иной период и должно опережать изучение самой нормы. Действительно, когда речь идет об историческом прошлом, полное описание нормы литературного языка на всех лингвистических уровнях может представляться на первых порах как задача исключительного объема. К тому же за разноречивыми и противоречащими друг другу показаниями источников по истории языка трудно увидеть норму такой, какой она была в действительности, а между тем понимание механизма стабилизации нормы — если оно достигнуто — позволит выработать методику первичной относительной оценки лингвистических фактов. В новое время стабильность языковой нормы достигается путем выработки всеобще признанного языкового кодекса прежде всего в виде нормативной грамматики, а затем в виде опирающихся на нее учебников, руководств и пособий. Однако определенной и очевидной стабильностью своих норм обладают также тексты, созданные в ту эпоху, когда не существовало кодификации современного типа.

Ключ к выявлению механизма и принципов стабилизации нормы, имевшей место в литературных языках средневековья, впервые нашел, по-видимому, А. Едличка. В ту эпоху, по его словам, «функции кодификации выполняли зачастую образцовые литературные произведения, в которых была реализована современная им литературная норма» [1] (эта мысль А. Едлички уже была плодотворно применена Н. И. Толстым [2]). При обращении к истории письменности в России XI—XVI вв. следовало бы, таким образом, определить те тексты, которые служили языковым образцом, и установить те пути, которыми осуществлялось их воздействие на другие тексты.

1) Понятно, что источниками нормы, образцами могли становиться те тексты, которые получали общественное признание и значение прежде всего по своему содержанию, почти безотносительно к достоинствам своего языка. Об авторитетности текста среди прочего говорит количество дошедших до нас списков и частота его цитирования в современной ему литературе. По этим признакам среди произведений древней славяно-русской письменности на первое место выходят Евангелие и Псалтырь, а за ними прочие библейские книги. Признание стилеобразующей роли этих текстов в поэтике древней литературы южных и восточных славян закреплено выражениями «этикетный стиль» (Д. С. Лихачев), «стилистический ключ» (Р. Пиккио), но необходимо принять во внимание и кодифи-

кационно-нормативное значение этих текстов во все то время, пока в письменном употреблении был церковнославянский язык.

Кроме того общенормативного значения, которое приобрели Евангелие, Псалтырь, литургические тексты, в каждом отдельном случае в качестве образца мог использоваться также (и, как правило, использовался) наиболее близкий по жанру текст, освященный авторитетом автора, содержания, древности происхождения и т. д., то есть гомилист брал за образец гомилию, агиограф — житие и т. п. При широкой распространенности компиляций не только создавались подражания хорошим образцам, но сами образцы входили составными частями в новые тексты.

На нескольких примерах покажем приемы и способы использования образцового текста. Так, русский переводчик XII в. Песни песней с толкованиями постоянно обращается к древнему переводу этой библейской книги, выполненному в конце IX — нач. X в. на славянском юге (и, по всей вероятности, самим Мефодием). Цель этих обращений состоит не в том, чтобы перенести в новый перевод какие-либо приемы передачи греческого оригинала, не в том, чтобы с помощью древнего перевода интерпретировать греческий оригинал,— в этом переводчик XII в. вполне независим. Цель этих обращений состоит в том, чтобы перенести в новый перевод лексико-стилистические элементы древнего текста. Проявляется это следующим образом (подробное рассмотрение материала см. в [3]).

Давая вполне независимый перевод библейского текста, в составе толкований на него переводчик XII в. воспроизводит формы древнего перевода. Ср. следующие пары, в которых на первом месте находится независимый вариант перевода XII в., на втором — вариант перевода, заимствованный в текст XII в. из древнего перевода, во всех случаях греческий оригинал неизменен: *положиша* (*мя стража*) — *приставиша*, *аще не увѣдѣ* — *аще не разумѣеши*, (*скача*) *на горы* — *по горамъ*, *удивися* — *ужасеся* и т. д. Такого рода вариантность проходит по всему тексту. Между прочим, точно в таких же чертах проявляется зависимость от этого же древнего перевода в переводе толкований на Песнь песней Феодорита Киррского, выполненном в XV в. на славянском юге Константином Костенецким [3, ч. 2, с. 4—5].

В переводе XII в. некоторые слова сопровождаются глоссами, включенными в самый текст, ср. *цвѣты въ кринахъ* (τὰ ἀνθη), *вонь араматъ*, *съ вонями араматами*, *въ оружие на колесницы* (ἅρμα τὰ), *въ кринахъ въ цвѣтѣхъ*, *сыны сирѣчь стлъпы*. Во всех случаях глоссирующий вариант совпадает с основным чтением древнего перевода.

В переводе XII в. стих 6.10 ἐν γεννήμασι τοῦ Χειμάρρου переведен *въ бытие потока*, тогда как ожидалось бы *въ житѣ потока*. Правильное чтение находится в древнем переводе Песни песней, но в ряде русских списков этого перевода оно искажено: *въ животѣ потока*. Очевидно, что перевод XII в. в этом месте следует вторичному варианту, давая синонимическую замену *живота* на *бытие*. Стремление привести новый перевод в лексико-стилистическом отношении к согласию с древним переводом оказывается, таким образом, сильнее, чем желание создать новый независимый и удобопонятный текст.

Такого рода наблюдения о зависимости словоупотребления того или иного автора от тех или иных образцов можно нередко встретить в филологических исследованиях, однако большей частью они случайны, а если сделаны без солидной текстологической базы, то и ненадежны. Филологи старой школы ценили такие находки как указание на связь одного средневекового писателя с другим, литературоведы выводят на их

основе заключения о стилистических и поэтических принципах того или иного писателя. Лингвистическое значение этого материала не было осознано. Между тем из приведенных примеров видно, что писатель XII, XV века может вводить в свой текст элементы текста, возникшего за триста-шестьсот лет до него (а это нужно учитывать, в частности, при датировках лингвистических фактов, см. [4]), что эти элементы вовсе не вносят в новый текст ни архаической семантики, ни архаизующей стилистики, что — более того — эти элементы могут оказаться опорными и ключевыми в нормативной структуре нового текста.

Однако отсутствие кодификации современного типа (путем кодекса) способствовало колебанию нормы в широких пределах, к этому же приводил основной способ увеличения числа экземпляров литературного произведения — рукописное копирование. Поэтому в списках наряду с разночтениями, возникшими чисто механическим путем по невниманию, недосмотру, нередки разночтения, возникшие в связи с разным истолкованием текста, что частично объясняется различиями в усвоении языковой нормы (среди таких разночтений находится вышеупомянутая замена *жита* на *животъ*). Неоднократные редакционные переработки текста — для переводов обычно с новым использованием иноязычного оригинала, в других случаях это могла быть чисто стилистическая редактура (см. [5]) без обращения к дополнительным источникам — еще более усиливали диапазон колебаний и варьирования, способствуя расшатыванию нормы. Вместе с тем при стилистическом редактировании с большей последовательностью мог проводиться тот или иной лингвистический принцип, что вело к языковой унификации и стабилизации. Так, в эпоху II южнославянского влияния в копируемые тексты последовательно вносились некоторые южнославянские орфографические приемы и столь же последовательно изгонялись некоторые восточнославянские орфограммы, например, написания с полногласием, хотя бы и возникшие в самом архетипе (см. [6]). Тексты, вызывавшие особый литературный и практический интерес, не только копировались с особой тщательностью, но копировались особым образом — с использованием двух и более антиграфов (непосредственных оригиналов), так что случайные ошибки одного из них исправлялись на основании другого. Так складывалась контролируемая текстологическая традиция, которая в допечатную эпоху была единственным средством борьбы с естественной порчей текста (см. [7]).

Таким образом, в ходе создания и рукописного бытования текста на всех этапах его существования можно наблюдать взаимосвязь и взаимозависимость между функционированием механизма стабилизации нормы и рядом типичных и индивидуальных особенностей в судьбе каждого отдельного произведения, в лингвистической и стилистической структуре его текста.

В качестве письменного литературного языка донациональной эпохи церковнославянский язык стремится к тому, чтобы освободиться от дестабилизирующего влияния живой речи. Усилия нормализаторов еще не распространяются на свободно развивающееся живое употребление, они ограничиваются более скромной и непосредственной задачей сохранять в неизменности раз возникший текст, а всякий новый текст уподоблять готовому образцу. В новое время образцы также сохраняют за собой важную роль в ходе кодификации нормы, но роль эта другая: образцы дают материал для составления кодекса, их влияние на норму опосредовано кодексом. Впрочем, стиль, способ изложения могут и в новое время непосредственно зависеть от образцов (см. [8]).

При отсутствии кодификации современного типа самым действенным средством поддержания стабильности письменного языка оказывается его «эмансипация» от живого употребления и подчинение норме раз навсегда принятого за образец текста. Здесь, вероятно, уместно будет подчеркнуть еще раз то обстоятельство, что ни библейские тексты как источник нормы церковнославянского языка, ни ряд других южнославянских по происхождению текстов, игравших в определенной мере эту же роль, не могут быть вынесены за пределы источников по истории литературного языка донациональной эпохи, поскольку норма и ее источники не могут быть чем-то внешним к языку. Механизм становления нормы в отличие от механизма порождения кодекса не является экстралингвистическим фактором. К тому же, как становится известно теперь, немало библейских текстов было переведено в самой Древней Руси. Восточнославянский лингвистический элемент попадает во все оригинальные восточнославянские тексты, но он проникает также в восточнославянские списки с южнославянских оригиналов, служивших языковым образцом. Норма, т. е. объективные закономерности употребления языковых элементов, в тех и других текстах была едина, а ее варьирование не настолько значительно и последовательно, чтобы могло быть осознано в ту эпоху, когда не было нормативного кодекса и современных приемов филологического исследования.

Связь с народно-речевой основой у письменного литературного языка, возникшего в пределах данного языкового коллектива и ориентированного на образцы, с течением времени ослабевает по мере изменения норм живого речевого употребления, — таково было положение церковнославянского языка у южных славян. Поэтому оказывается безразлично, автохтонного или же чуждого происхождения письменный литературный язык. В известном отношении усвоение чуждого языка в качестве литературного даже удобнее, потому что его стабильности меньше угрожают живые языковые процессы, а при узком круге носителей этого языка и ограниченности его функций она может поддерживаться с меньшей затратой сил.

Стабилизация нормы, основанная на употреблении образцовых текстов, существовала в России не меньше шести веков. Сложные исторические обстоятельства привели к разрушению застывшей социальной и языковой ситуации. Отказ от ориентации на образцы в наибольшей степени оказался определен следующими факторами.

Во-первых, в ходе развития книгопечатания главные тексты, служившие дотоле источником нормы, стали появляться в печатных изданиях, переписка их становится редкостью (так, после издания Острожской библии переписка библейских текстов практически прекращается, переписываются лишь тексты с толкованиями), и, значит, снижается их влияние на другие тексты. Во-вторых, значение традиционных образцов резко уменьшается с началом в XVI в. переводов с новых европейских языков, на что в свое время обратил внимание В. В. Виноградов [9, с. 145]. К этому же вело расширение жанровых пределов церковнославянской письменности, например, появление публицистически злободневных произведений вроде посланий Ивана Грозного, сочинений Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма, цикла, связанного с эпохой Смутного времени, и т. п., появление частных писем на церковнославянском языке в связи с особыми историческими и идеологическими условиями момента (см., например, переписку царя Михаила Федоровича с отцом, патриархом Филаретом, и матерью, инокиней Марфой, на фоне писем предыдущих и последующих царей [10]). С другой стороны, развитие книгопечатания создавало необходимость выработать определенные издательские стандарты, прежде

всего в орфографии [2]. Не исключено, что именно в эпоху II южнославянского влияния, приведшего к широкому распространению искусственной тырновской орфографии, впервые в России была осознана относительная, конвенциональная природа орфографической нормы, и этим подготовлена почва для ее кодификации.

Таким образом, появление в XVI в. первых попыток создания языкового кодекса было в большой степени предрешено внутренними условиями восточнославянской среды и поддержано влиянием античной грамматической традиции, заново охватившим Европу в эпоху Возрождения и отразившимся у нас переводом Донатуса и деятельностью Максима Грека. На Украине и в Белоруссии кодификация нового типа была обязана также своими успехами введению обучения в братских школах и запросам антикатолической полемики. В XVII в. ученым лицам вроде Епифания Славинецкого удается, как кажется, вполне освободиться от влияния языковых образцов и перейти на кодифицированный грамматикой Мелетия Смотрицкого церковнославянский язык.

2) Иным было положение дел в рамках деловой письменности, осуществлявшейся на русском языке. В Русской правде, известной по трем своим редакциям в ста с лишним списках, мы сталкиваемся с обычными вариантами и разночтениями, появление которых обусловлено самим характером рукописного существования текста. Для других жанров деловой письменности Русская правда лишь в неполной мере могла служить языковым образцом. Составители судебников и уставных грамот принимали ее во внимание, но изготовители актового материала не могли открыть в ней источник для подражания в связи с большими различиями в форме и содержании разных документов.

Полной устойчивостью в грамотах отличаются формулярно закрепленные начальная и заключительная части, которые вследствие этого в наибольшей степени были подвержены церковнославянскому влиянию. Нарративная часть по особо тесной связи своего содержания с потребностями социальной и экономической практики могла быть формализована и стабилизирована в значительно меньшей степени. Заметно колеблется в деловой письменности даже правовая и экономическая терминология. Так, слово *задьница* «имущество» вытесняется в XV в. словом *статъкъ* [11], *злодѣи* «преступник» чередуется с другими правовыми терминами — *воръ*, *лихои человѣкъ*, *преступитель*, *преступникъ* [12] и т. п.

Выразительную картину колебаний как в терминологии, так и в выборе прочих языковых средств дают две редакции договора Смоленска с Ригою 1229 г.: первая из них (список Д) восходит к латинскому противню (параллельному тексту) договора, вторая — к немецкому (список А). Ср. перечень наиболее ярких терминологических расхождений в этих двух редакциях (приводится по изданию [13] с некоторыми орфографическими переменами, цифры обозначают номера статей): 1 *волныи чл҃вкъ — свободьныи чл҃вкъ*, 3 *пригодить ся пакость — что учинять*, *хромота* «увечье» — *вѣкъ*, 5, 6 *должонъ — винъватъ*, 7 *задница* «наследство» — *остатъкъ*, 12 *волная жена — свободна жена, не слышати было блядне ее — на неи не было сорома*, 19 *безъ всякое борони — свободно*, 20 *не боронити — не держати*, 22 *обестити старешомоу — явивъше старость*, 25 *не дати ни векше — не дати ничего*, *крънети — купити*, 30 *без борони — бес пакости*, 34 *тяжа будеть соужона — ороудие боудеть доконьчано*, 36 *волостелеве — земледържци*.

Рядом с этим заметна чисто языковая вариантность в передаче тождественного содержания: 4 *въсадити въ дыбоу — сажати оу дыбоу*, 9 *имати на*

железо — вести ко железу горячемоу, возлюбить самъ своею волею — самъ въсхочеть, 10 *позвати на поле — звати на поле*, 11 *иметь у своея жоны — застанеть* [*с*] *своею женъю*, 12 *учинить насилье надъ робою — насилуеть робѣ*, 21 *разве — лише*.

Однако и тут значительная часть терминологии сохраняется в неизменности. Ср., в частности: 1 *голова* «убитый», 2 *холопъ*, 4 *пороука*, *извинитися* «быть виноватым», 5 *дати въ долгъ*, 13 *свяжеть безъ вины*, 14 *детьскыи* «бирич», *исправить* «взыскать», 16 *метати жеребеи*, 24, 25 *вѣсьць* «весовщик», 13 *мыто*, 33 *тать*, 34 *пересоудъ*.

В отличие от церковнославянского языка, в котором богословско-догматическая, нравственная и философская номенклатура сохранялась с большой степенью устойчивости в течение нескольких столетий, язык русского права в своей терминологии был открыт влиянию живого употребления и отзывался на изменения общественной жизни. Тем не менее и в нем действовали какие-то факторы стабильности,— их происхождения и пути воздействия еще не выяснены, но результаты наглядно сказываются в консервативном характере канцелярского языка.

Действительно, при ознакомлении с разными актами одного и того же типа — будь это духовные, купчие, рядные и т. п. грамоты, челобитные, следственные и судебные дела — бросается в глаза, что не только формуляр, но и нарративная часть документов в своей форме и языковом выражении имеет много устойчивого. Отношения между отдельными документами, принадлежащими к одному разряду канцелярской письменности, напоминают отношения между рукописными редакциями или даже списками одного и того же произведения, если отвлечься от различия в датах, именах, имущественных перечнях. По свидетельству С. С. Волкова, в челобитных XVII в. нарративная часть «не облекается в какую-либо специальную форму», она «излагается свободно, в соответствии с желанием автора (писца). Однако в этой кажущейся свободе, произвольности изложения при пристальном рассмотрении... обнаруживается ограниченное количество трафаретных зачинов изложения обстоятельств дела, мотивов обращения с просьбой, жалобой и т. д.» [14]. Для примера бегло охарактеризуем структуру духовных грамот (о формулярах некоторых других видов актов и о стабильных элементах в них см. работы [14—17]).

I. Протокол. 1 Инвокация («Во имя отца и сына...»). 2. Интитуляция («Се азъ рабъ божий имярек»).

II. Нарративная часть (текст). 1. Аренга («Отходя света сего» или «Идучи на службу великаго князя»). 2. Наррация («Пишу сие рукописание» или «Пишу грамоту духовную, кому ми что дати и у кого что взяти»). 3. Диспозиция (распоряжение). Здесь возможны два основных способа изложения: а) при наррации первого типа обычно следует перечень лиц в дат. падеже и предметов собственности в вин. падеже, иногда этот перечень вводится словом *приказываю*; б) при наррации второго типа (*дати... взяти*) также следует перечень лиц в дат. падеже и предметов собственности в вин. падеже, вводимый словом *дати*, но здесь есть вторая часть, которая вводится глаголом *взяти*, управляющим синтаксической конструкцией *у кого* (*на ком*) *что*. В пространных грамотах, где перечень имущества велик, эти конструкции не выдерживаются до конца, им на смену приходит серия сложноподчиненных предложений с изъяснительной или определительной связью и ограниченным набором союзных слов. Ср.: «А что мои денежки на людьхъ въ дѣлѣ, и т' денежки мои жена сбереть съ моимъ посельскимъ» 1472 г. [18, с. 436], «А что есми занял у Ески у Юршина тысяцу, а то есмь ему и заплатилъ» XV в. [18, с. 435], «Да что про Ивано-

ву кабалу Челищева припамятовалъ есми, и язъ ее вспамятовалъ, и тѣ бы денги заплатили и съ росты, чѣмъ пожелаетъ» 1548 г. [18, с. 453].

III. Эсхатокол (конечный протокол). 1. Удостоверение (corroboratio) представляет собою список лиц, присутствовавших в качестве свидетелей, иногда содержит имя писца. 2. Санкция: «А кто се рукописанье почьнетъ рудити, судиться со мною передъ Богомъ на страшномъ судѣ» XIV в. [18, с. 433].

Формулярники, т. е. образцы актов разного типа, были плохо известны Древней Руси. Сохранился один формулярник XV в., представляющий собою сборник митрополичьих грамот, т. е. подборку довольно специального назначения [19]. Кое-какие надежные сведения о работе писцов относятся лишь к концу XVII в., когда стали появляться и правительственные указы, определявшие форму документов [20, с. 153]. Однако для предшествующего времени таких сведений нет, так что приходится допускать, что «общий формуляр некоторых видов актов вырабатывался в среде площадных подьячих и дельцов данного времени на почве обычного права» [20, с. 151]. Влиянием обычного права придется, очевидно, объяснять повторения сходных фраз, которые встречаются в независимо возникших документах. Ср., например: «А что мои слуги, то всѣ, и съ женами и съ дѣтми, на слободу» 1483 г. [18, с. 440], «А что мои люди полные и докладные, тѣ всѣ по моемъ животѣ на слободу» 1548 г. [18, с. 451].

Даже правые грамоты (судебные списки), представляющие собою запись словопрения в ходе судебного разбирательства, отличаются единообразием в передаче речей разных лиц. Выразительный пример такого рода дает собою правая грамота 1503 г., содержащая запись судебного разбирательства о похищении сена с покоса. Вот как четыре разных свидетеля описывают последний этап следствия, учиненного истцом в присутствии понятых (текст приводится по работе [21]).

а) «И Федко, господине, да Костя Полуевы с Шпряем и с нами у того Гридки, лезши, и выняли в пристене в рубленом меж истобки и клетки своего сена краденаго воза с два, и сено с сеном (у истца были с собою остатки краденого сена.— *А. А.*) сложили, ино сено одно. И Гридка, господине, Тевелга то сено назвал своим, а сказал, что его купил, а того не сказал, у кого купил».

б) «И Федко, господине, и Костя Полуевы, лезши, выняли у того Гридки своего сена краденаго в сенници в рубленой меж истобки и клетки воза с два, и сено, господине, следовое с тем сеном сложили, ино сено одно. И Гридка сказал, что сено его купленое, а того не сказал, у кого то сено купил».

в) «И выняли у него, лезши, во дворе монастырские христьяне прилуцкие, Федко да Костя Полуевы, в сеннице в рубленой меж истобки и клетки сено воза с два, а сказали, что то сено их, украдено у них того сена ночесь с лугу стог, трицать копен. И сено следовое с тем сеном сложили, ино сено одно. И Гридка Тевелга сказал, что сено его купленое, а того не сказал, у кого купил».

г) «И монастырские, господине, христьяне прилуцкие, Федко да Костя Полуевы, лезщи, и выняли у него во дворе в сеннице в рубленой меж истобки и клетки сено воза с два, а сказали, что то сено их, украдено у них ночесь с лугу, стог, трицать копен. И сено, господине, следовое сложили с тем сеном, ино сено одно. И Гридка, господине, сказал, что то сено его купленое, а того не сказал, у кого купил».

Как видно, внимание писца сосредоточено на том, чтобы тождественные по смыслу показания четырех свидетелей оказались тождественны и в фор-

мах языкового выражения, по крайней мере, в юридически ответственных местах. Кажется несомненным, что сама лексика и основные повествовательные приемы этих четырех записей идут из непосредственного рассказа свидетелей, удачно найденная формула «сено с сеном сложили, ино сено одно» также обязана этому рассказу. Та работа по стабилизации текста, которую выполнил писец, состояла прежде всего в закреплении найденных формулировок через их повторение, в придании большей точности словесному описанию событий (добавляется, например, определение *следовое* к слову *сено*), в отборе содержательно необходимых элементов и отсеянии случайных и необязательных, в оформлении содержания устойчивыми и привычными для канцелярской письменности оборотами (начинательное *и*, ритмически обусловленное помещение обращения *господине*).

Наконец, в области дипломатической переписки стабилизации текста и неоднократному воспроизведению определенного набора языковых средств способствовало также строгое правило писать встречные документы «слово в слово» (см., например, это требование в наказе послам 1490 г. [22].) Это вело к тому, что в преамбуле ответного документа точно воспроизводилось содержание полученного документа, а диспозиция представляла собою ряд статей, находящихся в содержательном и языковом соответствии с преамбулой.

Итак, деловой язык, являясь письменным языком канцелярского употребления, должен был обладать стабильной нормой. Пока не ясно, нужно ли связывать различие языковых средств, обнаруживаемое в разных родах канцелярской письменности, с соответствующими различиями в норме, но во всяком случае в языке законодательных текстов, каковы Русская правда и судебники, наследство более отдаленных эпох представлено полнее, чем в актах. В отличие от церковнославянских текстов русские деловые тексты в своей норме зависели не только от образцов (видеть ли их в языке обычного права, Русской правде, в каких-то образчиках документов разного типа), но и от живого употребления. В этом отношении положение деловой письменности средневековья не многим отличается от положения языка современной канцелярии. Принципиальное отличие языка средневековой канцелярии от современной состоит в том, что первый представлял собою обособленную систему, подверженную в известной степени влиянию церковнославянской письменности и деловых языков соседних народов, тогда как второй обладает лишь признаками одного из функциональных стилей литературного языка, т. е. не является самодовлеющей лингвистической структурой.

В настоящее время нет возможности судить о том, в какой степени русский деловой язык средневековья отставал от живого языкового развития, был ли он архаичен в каких-то своих языковых формах. Не исключено, что устарелые слова держались дольше в его обиходе, что сохранение паратаксиса в качестве господствующей синтаксической модели не отвечало живому языковому развитию, что повторение предлогов применялось в нем (как и в языке фольклора) гораздо дольше, чем в обиходном языке. Однако со времени Б. А. Ларина, обратившего внимание на необходимость изучения живого обиходного языка, исследователи деловых текстов интересуются прежде всего отражением в них живых языковых процессов.

Русский деловой язык в отличие от церковнославянского ни в коей мере не был мертвым письменным языком. Своей зависимостью от живого обиходного языка, онтологической вторичностью по отношению к нему,

характером языковой нормы он сближается с современным литературным языком, различаясь путями и способами стабилизации языковой нормы. Особенно очевидным на фоне этого сближения становится то принципиальное значение, какое имеет для литературного языка национального периода его полифункциональность, точнее,— панфункциональность. Пройдя в XVIII в. через эпоху «многоязычия», т. е. систему относительно замкнутых и изолированных функциональных стилей, когда и язык художественной литературы был одним из таких стилей, литературный язык нового времени приобрел свое единство благодаря выдвижению на первый план национальной художественной литературы, которая отвела обиходному языку его законное первенство в письменности и присвоила себе право одобрять или отвергать языковые новшества, где бы они ни возникали, отбирать и усваивать лингвистические элементы из исторического прошлого и из других языков, препятствовать тенденциям к обособлению функциональных стилей и размежеванию в языковой практике различных общественных групп.

3) Кроме более или менее выдержанных по языку церковнославянских и русских текстов существовало значительное количество произведений, в языке которых в той или иной пропорции были смешаны церковнославянская и русская стихии. Такие оригинальные произведения Киевской эпохи, как Слово митрополита Илариона, Жития Бориса и Глеба, Феодосия содержат незначительную примесь восточнославянских черт, между тем как во всех новгородских произведениях, как и вообще областных литературах удельно-вечевого периода, включая раннюю московскую письменность (Житие Петра, Куликовский цикл), восточнославянизмы представлены в значительном количестве. Эти смешанные по языку тексты оказываются столь заметной особенностью восточнославянской письменности, что именно на их материале прежде всего было основано учение В. В. Виноградова о двух типах литературного языка Древней Руси. Центральное место среди смешанных по языку текстов занимает летопись.

Недавно Г. Хютль-Фольтер [23] предложила объяснение лингвистической мотивации в летописи русских полногласных вариантов: ими по большей части обозначены реалии и явления восточнославянской действительности, наряду с ономастикой они представляют своего рода технические термины, т. е в принципе непереводимые и незаменимые единицы текста. Вероятно, не только полногласие, но и весь восточнославянский элемент смешанного текста может быть оценен как маркированный элемент в оппозиции с церковнославянским языком, как и вообще русский письменный язык в оппозиции с церковнославянским языком в рамках письменного двуязычия Древней Руси.

Действительно, если перечень ситуаций, когда необходимо было применение на письме церковнославянского языка, составить довольно затруднительно, то условия применения русского языка определяются легко: практическое право и хозяйственно-экономические отношения, в остальных случаях допустимо было применение церковнославянского языка. Иначе говоря, все, что не нужно было писать по-русски, можно было писать по-церковнославянски. Это приводит к осмыслению церковнославянского языка как основного языка письменности, на нем составляются документальные по своей природе летописные погодные записи [24], нередко на него переводятся русские по своему языковому происхождению источники.

Так, речь волхвов с изложением языческой антропологии передана в Начальной летописи по-церковнославянски, т. е. на том языке, который явился у восточных славян как проводник христианства и именно потому пользовался своим социальным престижем. Ср.: «Богъ мывъся в мовници и вспотивъся, отерься ветъхомъ и верже с небесе на землю, и распрѣся сотона съ Богомъ, кому въ немъ створити человѣка. И створи дьяволъ человѣка, а Богъ душю во не вложи, тѣмже аще умреть человѣкъ, в землю идеть тѣло, а душа къ Богу» (Лаврентьевский сп., под 1071 г.).

В летописном Житии Михаила Черниговского слова первоначальной редакции «Михаил, вѣдая буди, мертв еси!», отличающиеся такой своеобразной выразительностью, что их приходится оценивать как вкрапление в текст живой русской речи, заменены в риторической переработке Пахомия Серба следующей фразой: «Аще в сем разуме пребудеши, о Михаиле, и цареву волю не створиши, умрети имаши» [25, с. 216]. Переработки житий, выполненные Пахомием, пользовались, как известно, особым уважением, они систематически включались в Великие четьи минеи, оттесняя оригинальные и более документальные по языку редакции [25, с. 241, 419]. Редакционные переработки, приводившие к изгнанию восточнославянского элемента, могут быть с известным основанием приравнены к переводу с русского на церковнославянский язык.

Следовательно, летописный текст как целое воспринимался одним из жанров церковнославянской письменности и — во всяком случае, по намерениям летописцев — создавался на церковнославянском языке (ср. [26]). Возможно, что закрепление летописного повествования за церковнославянским языком было обязано тому, что летопись выступала продолжением всемирных византийских хронографов, знаком чего оказался помещенный в начале Повести временных лет рассказ о библейской истории от потопа и о сотворении мира в Речи Философа,— ими и был определен язык дальнейшего повествования.

Включению русского элемента в летописный текст должны были содействовать следующие обстоятельства. Во-первых, устные источники, бывшие в распоряжении составителя Начальной летописи, были, разумеется, изложены на русском языке [27], что не могло пройти бесследно для летописного текста. Во-вторых, существование деловой письменности с самого начала обусловило «легализацию» письменного употребления русского языка и облегчило его проникновение в летопись, тем более что деловые тексты помещались в летопись нередко в своем первоначальном виде (см. грамоты в Ипатьевском своде под 1164, 1287, 1289 гг., ср. также [28]). В-третьих, принцип функциональной закрепленности русского языка за определенным содержанием обусловливал столкновение двух языковых стихий в рамках одного произведения, по мере того как автор переходил от одного предмета к другому. Ср. в связи с этим выразительный пример из послания митрополита Киприана 23 июня 1378 г. с изложением церковно-канонических и бытовых материй: «Ничтоже есть убо злѣйшее сего, еже божественое дарование куплениемъ себѣ приобрѣтаѣть, мъздою или силою княжскою, такоже и продаяй то; яко раба бо вмѣняеть Святаго Духа даръ» и «Слуги же моя, надъ многимъ злымъ, что надъ ними здѣяли, отпуская ихъ на клячахъ либивыхъ, безъ сѣделъ, во оботѣхъ лычныхъ, из города вывели ограбленыхъ и до сорочки, и до ножевъ, и до ногавицъ, и сапоговъ и киверевъ не оставили на нихъ» [29]. Наконец, как это видно из приведенного примера языковой правки Пахомия Серба, количество русских элементов в летописном и другом смешанном тексте зависело от языковой компетентности писателя: пере-

дача «русского» содержания церковнославянскими средствами требовала хорошей подготовки.

Систематическое нарушение чистоты церковнославянской стихии в летописи определенным образом сказывалось на характере языковой нормы. Поскольку норма определялась образцами, раз возникнув, смешанные тексты провоцировали появление других подобных текстов. Рядом с одной нормой появлялась другая, может быть, не как что-то самостоятельное, а лишь как разновидность основной нормы.

Лингвистическое своеобразие смешанных текстов особенно отчетливо проявляется в том, что в них регулярно применяются грамматические формы, почти неизвестные ни церковнославянским, ни русским текстам. Сюда, однако, не нужно причислять такие иногда приводимые в этой связи формы, как *клаколъ* (вм. *колоколъ*), *планъ*, *планение*, *планникъ* (вм. *плъ-*), так как они встречаются либо в текстах южнославянского происхождения (Библия, Слова Григория Богослова), либо в таких текстах, происхождение которых не вполне ясно (Хроника Георгия Амартола, Космография Козьмы Индикоплова), не исключено, что написания типа *план-* обязаны отвердению согласных на болгарской почве [30]. В данном случае речь должна идти прежде всего о синтаксисе причастия. Так, дательный самостоятельный чем дальше, тем больше употребляется в смешанных текстах в значении независимого предложения, нормой его употребления в церковнославянских текстах было значение придаточного предложения, русским текстам он просто неизвестен. На это новое употребление дательного самостоятельного приходится в Ипатьевском списке из 316 случаев 100, в Лаврентьевском из 262 — 86, в Московском своде из 364 — 183, в сочинениях Ивана Грозного из 139 — 84, в памятниках Смутного времени из 259 — 142 [31]. Преимущественной особенностью смешанных текстов, прежде всего летописных повестей, является абсолютивное употребление причастия в качестве сказуемого при отсутствии в предложении личной формы глагола, употребление причастия в качестве сказуемого рядом с личной формой (так называемое «второстепенное сказуемое» типа «вставъ и рече»). Появление таких новшеств можно было бы объяснять тем, что потеря восточнославянской речью причастия обусловила неумение писцов справляться с синтаксисом церковнославянского причастия. В действительности это так и есть, однако постоянное употребление этих синтаксических средств, пожалуй, даже расширение их употребительности говорит о том, что они воспринимались как синтаксическая норма, свойственная определенному кругу письменных жанров.

Поскольку образцами для создания проповедей служили проповеди, житий — жития, летописей — летописи, актового материала — акты, причем в каждом случае можно попытаться выделить языковые черты, свойственные лишь одному какому-либо жанру, складывается впечатление о известном «многоязычии» древнерусской языковой ситуации или «полицентризме» древнерусского языка, как названо было это явление Д. С. Вортом [32]. Но с лингвистической точки зрения нет возможности говорить больше чем о двух языках Древней Руси — церковнославянском и русском, выделяемых в согласии с двумя путями стабилизации и двумя основными видами нормы, определявшими своеобразие структуры и сферу функций каждого из этих языков. Включение русского элемента в церковнославянский текст не вело к возникновению нового принципа стабилизации нормы, не вело оно также и к возникновению новой лингвистической системы, смешение элементов двух систем было внешним, механическим. Как отметил В. В. Виноградов, «промежуточные разновид-

ности литературной речи до XVI в. образуются не на основе синтеза, органического объединения или сочетания этих двух типов литературного языка, а путем их смешения или чередования — в зависимости от содержания и целевой направленности изложения... Функционально-стилистические различия могут быть обнаружены лишь внутри того или иного типа языка, хотя самые типы далеко не всегда реализуются в чистом виде в композиции целого произведения» [9, с. 106].

Русский и церковнославянский элементы впервые оказались в рамках одной лингвистической системы лишь в период образования нового литературного языка. В этих условиях Ломоносов первым осознал, что церковнославянскому элементу может быть придано значение стилистически высокого варианта. Созданные Ломоносовым образцы такого применения церковнославянизмов сохраняли свое влияние до 30-х гг. XIX в.

Наши сведения о путях стабилизации лингвистической нормы в России XI—XVI вв. еще очень невелики, так что настоящее рассмотрение этого вопроса не может претендовать ни на исчерпывающую полноту, ни на полную точность.

Понимая под литературным языком такой письменный язык, который обладает известной стандартностью своих основных лингвистических черт, мы приходим к признанию того, что наличие двух письменных норм, поддерживавшихся в своей стабильности двумя лишь отчасти сходными системами стабилизации, отвечает существованию двух письменных языков в России XI—XVI вв. Применение письменного языка в художественно-повествовательных целях не может рассматриваться как ведущий признак литературного языка особенно для той эпохи, когда художественная литература как своеобразное явление культуры и вид художественного творчества отсутствовала [25] или же ограничивалась рамками устного фольклора. Языкотворческий приоритет, завоеванный художественной литературой в новое время, в рассматриваемую эпоху принадлежал образцовым текстам, авторитет которых был связан с их ролью в общественной жизни.

Наличие двух систем стабилизации языковой нормы нельзя, однако, рассматривать как свидетельство двуязычия Древней Руси. В социолингвистической ситуации двуязычия два языка обслуживают все коммуникативные сферы на более или менее равных правах. Но в данном случае, во-первых, речь идет только о том положении, какое существовало в письменности и не известно за ее пределами, т. е. в устном общении; во-вторых, функции двух письменных языков Древней Руси взаимно дополняли друг друга (подобно тому, как это описано для социолингвистической ситуации диглоссии), так что два эти языка составляли функционально единое целое. Древнерусское общество не было ни двуязычным, ни диглоссийным коллективом, но его письменно-литературный язык лингвистически представлял собою внешнее на функциональной основе объединение двух языковых систем, особого рода конгломерат близкородственных и вместе с тем гетерогенных лингвистических структур. Наличие двух различающихся механизмов стабилизации нормы было связано не столько с различным отношением двух языковых систем, служивших основой письменно-литературного языка, к живой речи восточнославянского населения, сколько с их функциональным использованием. Однако набор материальных элементов двух языковых систем в значительной степени совпадал, и этот чисто лингвистический фактор возникновения смешанных текстов действовал рядом с теми социолингвистическими факторами, о которых говорилось выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Едличка А.* Проблематика нормы и кодификация литературного языка в отношении к типу литературного языка. // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах: Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам. 22—25 октября 1974 г. М., 1976. С. 19.
2. *Толстой Н. И.* Литературный язык у сербов в XVIII веке (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание. М., 1979. С. 166.
3. *Алексеев А. А.* «Песнь песней» в древней славяно-русской письменности. Ч. 1—2 // Ин-т русск. яз. АН СССР. Предварит. публ. Вып. 133—134. М., 1980.
4. *Творогов О. В.* Текстология и лексикография // Текстология славянских литератур: Доклады конференции, Л., 25—30 мая 1971 г. Л., 1973.
5. *Лихачев Д. С.* Текстология (на материале русской литературы X—XVII веков). 2-е изд. Л., 1983. С. 135—136.
6. *Мещерский Н. А.* К изучению языка «Слова о законе и благодати» // ТОДРЛ. Т. 30. 1976.
7. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1985. № 1.
8. *Горшков А. И.* Теоретические основы истории русского литературного языка. М. 1983. С. 58.
9. *Виноградов В. В.* Избранные труды. М., 1978.
10. Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографическою комиссиею. Т. I. М , 1848.
11. *Золтан А.* Об одном запа, норуссизме в великорусском деловом языке XV—XVII вв. (*статок/статки*) // Russica: In memoriam E. Baleczky. Bp., 1983.
12. *Петрунин В. О.* Из истории юридической лексики древней Руси и XVIII века (*злодей* и *злодейство*) // Лингвистические исследования. 1979. М., 1979.
13. Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Подгот. к печати Сумникова Т. А. и Лопатин В. В. М., 1963.
14. *Волков С. С.* Лексика русских челобитных XVII века. (Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства). Л., 1974. С. 71.
15. *Тарабасова Н. И.* О некоторых особенностях языка деловой письменности // Источниковедение и история русского языка. М., 1964.
16. *Дерягин В. Я.* К вопросу об индивидуальном и традиционном в деловой письменности (на материале важских порядных XVII вв.) // Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
17. *Дерягин В. Я.* Об историко-стилистическом исследовании актовых текстов / ВЯ, 1980. № 4.
18. Акты юридические или Собрание форм старинного делопроизводства. Изданы Археографическою комиссиею. СПб , 1838.
19. *Лихачев Н. П.* Дипломатика. СПб , 1901. С 91.
20. *Лаппо-Данилевский А. С.* Очерк русской дипломатики частных актов: Лекции, читанные слушателям Архивных курсов при Петроградском археологическом институте в 1918 г. (б. г., б. м.).
21. *Каштанов С. М.* Очерки русской дипломатики. М., 1970. С. 411—413.
22. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Ч. 1. СПб., 1851. С. 41.
23. *Hüttl-Folter G.* Die *trat/torot*-Lexeme in den altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der russischen Literatursprache. Wien, 1983. S. 93—171.
24. *Еремин И. П.* Киевская летопись как памятник литературы // ТОДРЛ Т VII. 1949. С. 67—73.
25. Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970.
26 *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 37.
27. *Лихачев Д. С.* Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.— Л., 1947. С. 115, 116, 354, 355.
28. *Франчук В. Ю.* О языке древнерусской дипломатии // ВЯ, 1984. № 4.
29. Русская историческая библиотека. Т. 6: Памятники древнерусского канонического права. СПб., 1880. Стлб. 178, 174—175.
30. *Будилович А.* Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов Григория Богослова по рукописи Имп. публ. библ. XI века. СПб., 1871. С. 24.
31. *Граве Л. В.* Об одном стилистическом приеме в русском литературном языке XVI—XVII вв. // Уч. зап. Смоленского ГПИ. Вып. 24. 1970. С. 205.
32. *Worth D. S.* Was there a «literary language» in Kievan Rus'? // *Worth D. S.* On the structure and history of Russian. München, 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ЕВДОШЕНКО А. П.

О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ ДЛЯ НЕРУССКИХ

Широкое обсуждение на страницах журнала «Вопросы языкознания» теоретических принципов составления русской грамматики для нерусских с целью улучшения обучения русскому языку в национальных республиках, на наш взгляд, чрезвычайно важно. Подобная дискуссия тем более необходима, что в двух предыдущих академических грамматиках самым сложным вопросом была именно теория. «Грамматика» 1952—1954 гг. предупреждала, что «не стремится к углубленной теоретической постановке спорных и сложных теоретических вопросов... Эта Грамматика берет за основу наиболее установившуюся, принятую в программах средней школы грамматическую систему...» [1].

«Грамматика» 1970 г. «прежде всего отражает поиски „модели описания“» [2, с. 3]. Ее авторы полагают, что «сейчас вряд ли можно назвать такую теорию, которая, удовлетворив лингвистов самых разных направлений, могла бы быть распространена на все уровни грамматического описания как целостная и конструктивная система» [2, с. 5].

Спустя десять лет положение дел, по-видимому, не улучшилось. В «Грамматике» 1980 г. подчеркивается, что «трудность задачи усугублялась разнородностью развиваемых в последние десятилетия лингвистических теорий..., неумолкающими спорами по самым основным, концептуальным вопросам грамматики и языкознания в целом» [3, с. 4].

Вопрос о теоретической основе возникал и тогда, когда в целях создания машинного перевода математики обращались к языкознанию. Тогда Р. Л. Добрушин заметил, что лингвистика «довольствовалась до сих пор довольно туманными формулировками основных понятий своей науки» [4]. К аналогичному выводу пришли и А. А. Ляпунов и О. С. Кулагина, подчеркнув необходимость «выработки точной системы лингвистических понятий» [5]. Уже в начале нашего века об этом же говорил и Ф. де Соссюр: «...до сих пор в области языка всегда довольствовались операциями над единицами, как следует не определенными» [6].

Проблема «точной системы лингвистических понятий» приобретает особую остроту, когда речь идет о написании русской грамматики для нерусских.

В отличие от нерусского, русскому школьнику грамматика не нужна для овладения своим родным языком. Он знает его до поступления в школу. Для нерусского же грамматика важна вдвойне: для того, чтобы постичь строй русского языка и чтобы осмыслить структуру своего собственного языка, от которого он должен «сознательно отталкиваться» [7]. Эта грамматика должна быть типологической, т. е. основанной на метаязыке, одинаково пригодном для описания и русского и нерусского языков. Под метаязыком подразумевается именно та «точная система понятий», о которой шла речь выше. Понятия метаязыка могут, по-видимому, рас-

сматриваться и как «типологические категории», о которых много писалось, но которые до сих пор еще остаются «вещью в себе». К понятиям метаязыка фонологии, например, относятся ф о н е м а, п р и з н а к, с и с т е м а. Очень важное понятие к о о р д и н а т ы ввел Н. С. Трубецкой: «...любой признак... непременно принадлежит одной из названных „трех координат"» [8, с. 105]. В русском переводе «Основ фонологии» координата называется и к а т е г о р и е й п р и з н а к о в [8, с 106]. И последователи Трубецкого, и другие лингвисты, такие как Л. Ельмслев [9], Э. Бенвенист [10], не обратили внимания на к о о р д и н а т у, хотя без нее нельзя добиться определения другого важного понятия метаязыка — с и с т е м ы. Подобно тому как фонологический признак непременно принадлежит координате (категории), последняя принадлежит системе.

Понятия метаязыка противопоставляются понятиям языка-объекта. Аналогичное в известном смысле противопоставление проводил И. А. Бодуэн де Куртенэ, выделяя «категории языковедения» и «категории языка»: «... первые представляют чистые отвлечения; вторые же — то, что живет в языке...» [11].

Категориям языковедения, т. е. понятиям метаязыка (фонема, признак, координата, система), соответствуют в языке относительно частные понятия (см. табл. 1). Так, понятию с и с т е м а соответствует в языке вокализм или консонантизм, к о о р д и н а т е — подъем, лабиализация, ряд (табл. 1) и др., п р и з н а к у — верхний, средний, нижний (подъем); лабиализованный, нелабиализованный и т. д., ф о н е м е — /и/, /ы/, /у/, /ў/ и др., определяемые соответственно как гласные верхнего подъема, нелабиализованный, переднего ряда /и/, верхнего подъема, нелабиализованный, заднего ряда /ы/ и т. д. (табл. 1).

Таблица 1

Подъем	Лабиализация			
	Нелабиализованный (Нл)		Лабиализованный (Л)	
Верхний (В)	ВНлП и	ВНлЗ ы	ВЛП /ў/	ВЛЗ /у
Средний (С)	СНлП э	СНлЗ /ə	СЛП о/	СЛЗ о
Нижний (Н)	ННлП /ɛ/	ННлЗ /а/	НЛП /œ/	НЛЗ ɔ
	Передний П/	Задний З/	Передний /П	Задний /З
	Ряд			

В системе гласных вскрывается система пространственных координат (табл. 2). Обе системы изоморфны, т. е. между их единицами устанавливается «взаимно-однозначное соответствие» [12].

Каждой единице одной системы соответствует только одна единица другой системы, и наоборот [13, с. 73—74]. Так, каждой фонологической координате (категории) взаимно-однозначно соответствует определенная пространственная координата, каждой фонеме — определенная точка и т. д.

Таким образом, выявляется точная система фонологических понятий, такая же, как и система геометрических понятий, которая выдержала проверку практикой.

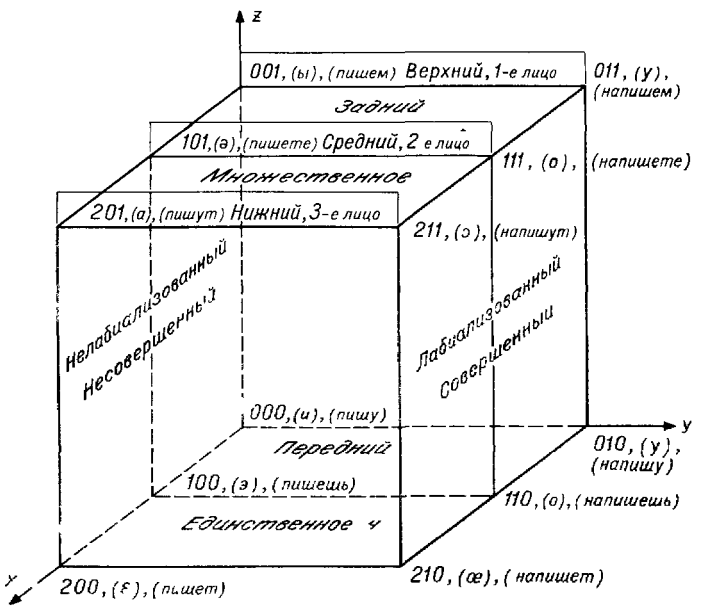
Таблица 2

X	Y			
	0		1	
0	000	001	010	011
1	100	101	110	111
2	200	201	210	211
	0	1	0	1
	Z			

Понятия м е т а я з ы к и я з ы к - о б ъ е к т, или о б ъ е к т н ы й я з ы к, заимствованы из математической логики. Из логики заимствованы и другие понятия — э л е м е н т и к л а с с, расщепляемый на с в о й с т в о и м н о ж е с т в о, которые помогают нам лучше понять взаимоотношения единиц лингвистической системы, в данном случае, фонологической.

Так, фонологический признак, например, «верхний подъем» является и свойством фонем /и/, /ы/, /ӳ/, /у/, и их множеством, т. е. классом фонем.

Подобно тому, как точка определяется в трехмерном пространстве тремя координатами (табл. 2, рис. 1), каждая фонема (табл. 1) определяется тремя признаками (по одному от каждой координаты данной системы).



Иными словами, фонемы одной и той же системы логически равнозначны друг другу. И признаки одной и той же категории (координаты) логически равнозначны. Каждый признак одной категории объединяет точно такое же число фонем, что и другой ее признак. Так, каждый признак подъема объединяет четыре фонемы, каждый из признаков лабиализации — шесть фонем, каждый признак ряда — шесть фонем. Равнозначны друг другу и категории признаков. Каждая категория объединяет под определенным углом зрения все фонемы данной системы (табл. 1). Количество фонем в

системе определяется совершенно четко перемножением признаков разных категорий. Подъем объединяет три признака, лабиализация — два, ряд — два. Общее число фонем данной системы = 12 (= 3 × 2 × 2).

Система определяется и как класс фонем, и как класс признаков, и как класс категорий. Поскольку признак является классом фонем, а категория — классом признаков, систему можно рассматривать как класс классов.

Система определяется как совокупность (класс) признаков, где каждый признак одной категории пересекается с каждым признаком других категорий, образуя в точках пересечения фонемы.

Система не обязательно должна объединять три категории признаков. В русском языке система согласных объединяет четыре категории: локализацию (место образования), модальность (способ образования), палатализацию (твердость — мягкость) и полнозвучность (сонорность). Система может, в принципе, представлять собой одну категорию. Однако категория должна объединять по меньшей мере два признака.

Принцип организации фонологической системы является сходным с принципом организации морфологической системы. В русском языке обнаруживается такая морфологическая система (табл. 3), которая и по количеству категорий, и по количеству «признаков» каждой из них идентична системе гласных (табл. 1). Можно, следовательно, говорить и об изоморфизме фонологической и морфологической систем, и об изоморфизме морфологической системы и системы пространственных координат (табл. 2, табл. 3, рис. 1). И в морфологии выявляется метаязык, совершенно аналогичный фонологическому метаязыку [14, 15].

Таблица 3

Лицо	Вид			
	Несовершенный (Н)		Совершенный (С)	
1 2 3	1НЕ (*пишу*) 2НЕ (*пишешь*) 3НЕ (*пишет*)	1НМ (*пишем*) 2НМ (*пишете*) 3НМ (*пишут*)	1СЕ (*напишу*) 2СЕ (*напишешь*) 3СЕ (*напишет*)	1СМ (*напишем*) 2СМ (*напишете*) 3СМ (*напишут*)
	Единств. (Е)	Множеств. (М)	Единств. (Е)	Множеств. (М)
	Число			

Метаязык морфологии представлен следующими понятиями: система, категория, граммема, грамматическая форма.

Понятие грамматической формы, такое же фундаментальное понятие для морфологии, как фонема для фонологии, было введено А. И. Смирницким [16, с. 14]. В русском языке грамматической форме соответствуют такие понятия, как «именительный падеж единственного числа мужского рода», «1-е лицо единственного числа совершенного вида» (табл. 3) и т. д.

Другое понятие метаязыка морфологии, категориальная форма, введенное А. И. Смирницким [17, с. 30] и названное К. Пайком граммемой [18], соответствует в фонологии дифференциальному признаку [1]. В русской морфологии граммеме соответствуют та-

[1] В. В. Иванов и В. Н. Топоров не случайно называют граммему «дифференциальным морфологическим признаком» [19].

кие понятия, как мужской, женский, средний (род), первое, второе, третье (лицо), единственное, множественное (число), совершенный, несовершенный (вид) и т. д.

Подобно тому, как фонема определяется совокупностью признаков, грамматическая форма определяется совокупностью граммем (ср. табл. 1 и 3).

Грамматической категории [2] соответствует в фонологии к о о р д и н а т а Трубецкого.

Грамматическая категория «...обязательно должна быть представлена по меньшей мере двумя категориальными формами» [22], т. е. объединяет по меньшей мере две граммемы, подобно тому, как к о о р д и н а т а объединяет по меньшей мере два фонологических признака. Так, категория числа, например, объединяет в русском языке две граммемы (единственное и множественное), а координата р я д — два признака (передний и задний) и т. д.

Фонологическая координата важна для фонологии в той же мере, что и категория для морфологии.

Наиболее общим понятием как фонологического, так и морфологического метаязыка является система. Поскольку морфологическая и фонологическая системы изоморфны, все сказанное о взаимоотношениях понятий метаязыка фонологии действительно mutatis mutandis и для метаязыка морфологии. Так, подобно тому, как признак одной категории логически равнозначен каждому другому ее признаку, граммема одной категории равнозначна каждой другой ее граммеме.

Каждая граммема вида, например, объединяет в видо-личной системе (табл. 3) по шесть грамматических форм. Столько же грамматических форм объединяет и каждая граммема числа в той же системе. Граммемы же лица объединяют по четыре грамматических формы каждая.

Взаимоотношения понятий метаязыка, сформулированные в виде законов [20, с. 55], служат для выявления релевантных категорий морфологии. С их помощью в русской морфологии обнаруживаются четыре системы, каждая из которых объединяет по три категории из пяти релевантных (падеж, род, лицо, вид, число) (табл. 4).

Таблица 4

	Системы			
	падежно-родовая	падежно-личная	видо-родовая	видо-личная
Категории	падеж род число	падеж лицо число	вид род число	вид лицо число

Категория числа включается во все морфологические системы русского языка, поэтому название систем отражает только отличительные для них категории: падежно-родовая, видо-личная и др. (табл. 4).

В табл. 4 системы представлены на уровне категории. В табл. 3 и на рис. 1 изображена видо-личная система со всеми ее единицами — категориями, граммемами и грамматическими формами. В виде геометрических

[2] В некоторых работах грамматическая категория называется морфологической категорией [14; с. 143; 20; 21; 3, с. 465], а грамматическая форма — морфологической формой [21; 3, с. 454—455].

фигур изображаются и видо-родовая [20, с. 147], и падежно-родовая [20, с. 164]. Падеж и вид, с одной стороны, а род и лицо, с другой, не совместимы в одной и той же системе [3].

Понятия к л а с с и э л е м е н т позволяют выявить метаметаязык, представленный понятиями э л е м е н т, класс 1-го ранга, класс 2-го ранга, класс 3-го ранга. Частными реализациями этого метаметаязыка являются фонологический и морфологический метаязыки. Элемент «манифестируется» в одном случае фонемой, а в другом — грамматической формой, класс 1-го ранга — признаком и граммемой, класс 2-го ранга — фонологической координатой и морфологической категорией, класс 3-го — фонологической и морфологической системами.

Иными словами, и в фонологии, и в морфологии обнаруживается одна и та же система. Системы образуют содержание языка. Если содержание морфологии сходно с содержанием фонологии, то выражение у них разное.

Элементарными единицами плана выражения фонологии являются инвентарные фонемы, а плана выражения морфологии — словоформы [4]. Элементы плана выражения — инвентарные фонемы и словоформы — в табл. 1 и 3 заключены в скобки. И те, и другие доступны непосредственному наблюдению в их материальном (звуковом или графическом) обличии. Единицы же плана содержания (табл. 1 и 3) не даны в прямом наблюдении. Они являются продуктом лингвистического анализа.

Система, в частности, фонологическая, имеет потенциальный характер. В том или ином конкретном языке реализуется в виде инвентарных фонем лишь какое-то строго ограниченное число потенциальных фонем этой системы. Так, в арабском реализуются три гласные (*а, и, у*), в русском — пять (*а, е, и, о, у*) в болгарском — шесть (*а, ъ, е, и, о, у*), в итальянском — семь, в молдавском — девять и т. д.

Система обладает исключительной устойчивостью. Так, система потенциальных гласных народной латыни, существующая уже в III в. н. э., осталась без изменений в итальянском, молдавском и в ряде других романских языков. Изменились лишь инвентарные фонемы, одни появились, другие исчезли, чтобы затем появиться вновь.

На взаимоотношение инвентарных и потенциальных фонем проливают свет такие категории диалектики, как «возможность» и «действительность». Необходимо учесть, что прежде чем стать «действительностью», инвентарные фонемы «должны существовать и существуют в виде возможности своего возникновения» [24], т. е. в виде потенциальных фонем.

Разграничение содержания (потенциальной системы) и выражения (инвентарных фонем) меняет представление об объекте фонологии. Он не сводится к одним инвентарным фонемам, т. е. к плану выражения. Э. Бенвенист, по-видимому, прав, говоря, что следует «отказаться от того молчаливо принимаемого принципа, довлеющего над большинством современных лингвистов, который состоит в признании лишь лингвистики языковых фактов, лингвистики, для которой язык (langage) полностью содержится в своих осуществленных манифестациях. Если бы это было так, то путь ко всякому углубленному исследованию природы и проявления языка был бы полностью закрыт. Языковые факты являются продуктом и нужно определить, продуктом чего именно» [25].

---

[3] Р. Якобсон обратил внимание на то, что «лицо и род взаимоисключают друг друга» [23, с. 9].

[4] Словоформа и грамматическая форма выявлены А. И. Смирницким одновременно [16, с. 15].

Содержание, в данном случае потенциальная система гласных (табл. 1), одна и та же во многих, если не в большинстве языков мира [5]. Она и должна служить основой для типологического изучения языков. Если бы мы исходили из инвентарных фонем таких языков, как арабский и французский, в котором 14 гласных фонем, то мы увидели, главным образом, расхождения между языками.

Из единиц фонологического содержания доступны непосредственному выражению лишь потенциальные фонемы. Из морфологических единиц доступны выражению не только грамматические формы, но и архиформы и граммемы [6]. Далее, если потенциальная фонема реализуется лишь в одной инвентарной фонеме, то грамматическая форма выражается иногда в тысячах, а то и в десятках тысяч словоформ.

В отличие от инвентарных фонем словоформы объединяются в более крупные единицы, в слова, а последние — в части речи. Словоформа, слово и часть речи образуют метаязык морфологического выражения, который противопоставляется метаязыку морфологического содержания. Слово определяется как совокупность словоформ, а части речи — как совокупность слов, объединяющих одно и то же число словоформ. Так, русское существительное как часть речи является совокупностью слов, каждое из которых объединяет 12 словоформ. Полное прилагательное объединяет 24 словоформы, а краткое — 4 и т. д.

Таким образом, словоформа позволяет прийти к непротиворечивому определению не только слова, но и части речи, что Г. Пауль считал вообще невозможным [26, с. 415]. Это лишь одно из определений частей речи, полученное, не выходя за пределы плана выражения морфологии.

Можно отметить и другие преимущества словоформы, благодаря которым оно вытесняет морфему из морфологии [7]. Одно из них заключается в ее однозначном отношении [8] определенной единице содержания (грамматической форме, архиформе или граммеме). Словоизменительная морфема не обладает таким строгим логическим соответствием единице содержания (ср.: *рука*, *до́ма*, *дома́*, *мужчина*, *спала* и т. д., где морфема *-а* имеет каждый раз иное содержание). Словоизменительную морфему нельзя ставить в один ряд со словообразовательной морфемой. Последняя относится к слову в целом, ко всем ее словоформам. Она не имеет никакого отношения к морфологическому содержанию, ее содержание лексическое. Не случайно поэтому А. И. Смирницкий отнес словообразование к лексикологии [17, с. 47].

Если словоформа имеет однозначное отношение к определенной единице содержания, к грамматической форме, например, то последняя выражается обычно во множестве словоформ. «Так, значения женского рода, единственного числа, именительного падежа объединяют слова *лампа*,

---

[5] Подробнее о потенциальных системах см. [20, гл. 2].

[6] В системе, объединяющей три категории, грамматическая форма определяется тремя граммемами (например, «ед. число, муж. род, сов. вид»), а архиформа — двумя (например, «мн. число, сов. вид»). Словоформа *узнал* выражает грамматическую форму, а *узнали* — архиформу.

Граммема как свойство, например, совершенный вид, выражается в инфинитиве — *узнать*, *увидеть* и т. д.

[7] В последних двух академических грамматиках русского языка морфема не фигурирует в разделе «Морфология», о чем можно судить и по «Предметному указателю» [2, с. 743; 3, с. 745].

[8] «Однозначное отношение — отношение xRy, где каждому значению y соответствует одно-единственное значение x» [13, с. 352]. Так, например, словоформе *рука* соответствует одна единственная грамматическая форма «ед. число, жен. род, им. падеж».

вода, рыба, комната, русалка, мысль и др., которые не имеют ничего общего в своих лексических значениях» [27].

Иными словами, между словоформой и грамматической формой выявляется много-однозначное соответствие [9]. Не только словоформы, но и слова, такие, как русское существительное или глагол, имеют однозначное отношение к определенной единице морфологического содержания — к граммеме рода в первом случае и к граммеме вида во втором, а это еще одно собственно морфологическое, т. е. непротиворечивое определение соответствующих частей речи. В последних двух случаях граммема выступает и как свойство, и как множество своих грамматических форм.

Особенность морфологического выражения заключается еще и в том, что слово может совпасть со словоформой, т. е. класс становится одноэлементным. В таких случаях как слово, так и совпадающая с ним словоформа не имеет связи с морфологическим содержанием. Это слова типа наречий, служебные слова, частицы.

Еще одна отличительная черта морфологического выражения заключается в том, что его единицы, и, главным образом, слово, имеют не только морфологическое содержание, но и лексическое. Морфологическое содержание слова, в отличие от лексического, всегда однозначно. Так, например, слову *рука* соответствует в морфологическом плане содержания одно-единственное значение — граммема женский род как класс (свойство и множество) грамматических форм падежно-родовой системы (табл. 4).

В плане лексического содержания слову *рука* соответствует не менее десяти различных объектов. Поэтому лексические отношения, в отличие от морфологических, формализации не поддаются [13, с. 574—575]. Лексическое содержание распространяется обычно на все словоформы данного слова. Морфологическое же содержание одной словоформы совершенно четко отличается от содержания другой его словоформы. Различие в морфологическом содержании омонимичных словоформ устанавливается в контексте и, эксплицитно, методом субституции. Таким образом, слово, как Янус, двулико. Морфологическое содержание составляет его внутренний, собственно лингвистический мир, а лексико-семантическое — внешний, экстралингвистический.

Для изучения как лексического (лексико-семантического) содержания слова, так и морфологического принципиально важное значение имеют рекомендации А. И. Смирницкого: «Чтобы выделить в словоформах лексическое, ... необходимо... о т в л е ч ь с я от грамматического момента в каждой словоформе», и, наоборот, «для выделения грамматического в слове необходимо отвлечься от конкретности слов...» [16, с. 15].

К совершенно аналогичному выводу русисты приходят в процессе описания языка: «В формах того или иного слова (*читаешь, сделали бы, столом, умному*) представлены морфологические формы...— в п о л н о м о т в л е ч е н и и от к о н к р е т н ы х с л о в с и х и н д и в и д у а л ь н ы м и л е к с и ч е с к и м и з н а ч е н и я м и (разрядка наша.— *Е. А.*)» [3, с. 454—455].

Морфологическое содержание и лексическое не имеют, по-видимому, ничего общего между собой, хотя выражение у них, казалось бы, общее.

Выражение лексического содержания сосредотачивается главным об-

---

[9] «Много-однозначное соответствие — такое соответствие между элементами двух *множеств*..., когда каждому элементу первого множества сопоставлен только один элемент второго множества, но для каждого элемента второго множества сопоставлено более одного элемента первого множества» [13, с. 306].

разом в слове. Поэтому лексикологию можно сравнить с молекулярной физикой, а морфологию — с атомной.

Поскольку морфология имеет свое собственное содержание, она является автономной дисциплиной и не нуждается во вмешательстве со стороны других дисциплин. Всякое такое вмешательство делает морфологическое описание противоречивым, что доказал еще Г. Пауль [26, с. 415]. Можно было бы привести множество примеров смешения морфологии и лексикологии, но это особая тема.

Как и фонологическое содержание, морфологическое обладает огромной устойчивостью. Об этом можно судить, принимая во внимание то, что падежно-родовая и падежно-личная системы (табл. 4) тождественны на уровне категорий в таких языках, как латинский, молдавский и русский. «Единство фонетического и грамматического строя индоевропейских языков,— пишет И. М. Тронский, — обнаруживает себя даже через ряд тысячелетий после утраты непосредственного контакта между предками носителей отдельных ветвей» [28, с. 4].

«Морфологическая реконструкция, будучи направлена вглубь, в более отдаленное прошлое, смыкается с проблемой развития грамматических категорий...» [28, с. 7]. К выводу об исключительной устойчивости, непроницаемости морфологического содержания индоевропеистика, насчитывающая более полутораста лет своего существования как науки, пришла, исследовав развитие на протяжении тысячелетий ряда языков. Об этом приходится говорить в связи с тем, что после разового обследования в 1963 г. медновского диалекта алеутского языка Г. А. Меновщиков пришел к выводу о проницаемости морфологии. Опубликованная им год спустя статья «К вопросу о проницаемости грамматического строя языка» [29] вызвала дискуссию, длившуюся более двадцати лет. В 1966 г. опубликована статья В. Ю. Розенцвейга «Языковая практика и лингвистическая теория». Ее автору «интерпретация Г. А. Меновщикова представляется неубедительной. Если верно, ... что русские г л а г о л ы не заимствовались медновскими алеутами, то непонятно, каким образом были заимствованы ими русские г л а г о л ь н ы е с л о в о и з м е н и т е л ь н ы е м о р ф ы» [30].

К языку медновских алеутов возвращается в 1985 г. Н. Б. Вахтин. Он говорит о «регулярном использовании русской грамматики (словоизменительная глагольная морфология и синтаксис) при не менее регулярном использовании алеутской лексики и словообразования» [31, с. 35]. Н. Б. Вахтин подчеркивает, что «я з ы к, п о д о б н ы й м е д н о в с к о м у, м о г п о я в и т ь с я т о л ь к о в с р е д е н о с и т е л е й р у с с к о г о я з ы к а, н а к о т о р ы х о к а з ы в а л с и л ь н о е в л и я н и е д о м и н а н т н ы й а т т у а н с к и й д и а л е к т» [31, с. 41]. Таким образом, мнение Г. А. Меновщикова о проницаемости морфологии не подтвердилось. Медновский язык лишний раз свидетельствует об устойчивости морфологического содержания и неустойчивости его выражения. В этом языке сохранились без изменений видородовая и видо-личная системы (табл. 3 и 4) русского языка, а вся глагольная лексика за каких-нибудь сто с лишним лет полностью изменилась.

Аналогичная картина наблюдается и в молдавском просторечии, в которое легко проникают русские слова без какого-либо ущерба для его морфологического содержания. Ср.: *о обищит* (обещал), *с''о простудит шы кэшлееште* (простыл и кашляет) и т. д. Итак, и сравнительно-исторические данные, и наблюдения над процессами происходящими в современном двуязычии, свидетельствуют о примате морфологического содержания над

выражением. А если это верно, то положение о том, что «в центре морфологии стоит слово...» [3, с. 453], нуждается в пересмотре. Представляется, что в центре морфологии стоят системы морфологических категорий, составляющие незыблемую основу языка. На этой основе (табл. 4) находится огромная надстройка, насчитывающая в русском языке около миллиона словоформ, каждая из которых определяется строго однозначным отношением к известной единице соответствующей системы. Иными словами, имеются два различных взгляда на взаимоотношение содержания и выражения в морфологии, напоминающие геоцентрическую и гелиоцентрическую концепции в астрономии.

Эксплицитное разграничение плана содержания и плана выражения морфологии дает возможность применить коммутационный метод с целью выявления релевантных категорий в конкретном языке. И применение коммутации приводит к тому же результату, к обнаружению в морфологии русского языка пяти категорий, упорядоченных в четыре системы (табл. 4). Еще одно подтверждение наличия не более пяти категорий в плане содержания русской морфологии дает *необходимое и достаточное* определение каждой словоформы ее однозначным отношением к одной из единиц той или иной системы.

Таким образом, морфологическое описание удовлетворяет всем тем требованиям, которые можно ему предъявить — непротиворечивости, полноты (исчерпываемости) и простоты (экономии).

В русской грамматике для нерусских представляется целесообразным исходить из морфологического содержания, учитывая, что в русском и других индоевропейских языках — литовском, латинском, молдавском, армянском, таджикском, осетинском и др., не говоря уже о украинском и белорусском,— некоторые морфологические системы тождественны на уровне категории (см. выше) или близки к этому. Расхождения между ними увеличиваются постепенно по мере перехода от единиц высшего порядка к низшим — от системы к категории, от категории к граммеме и т. д. Так, например, и в русском и в молдавском языках существует категория рода. В обоих языках имеются идентичные граммемы рода — мужской и женский род. Лишь средний род отсутствует в молдавском. Интерес в этом отношении представляет и опыт Русской грамматики, изданной в Праге [32], которая идет от морфологического содержания к выражению, но сохраняет еще в качестве единицы морфологического выражения морфему.

Грамматика русского языка для нерусских должна стать основой для составления учебников и учебных пособий для национальной начальной, средней и высшей школы по русскому языку и по сопоставительному изучению русского и нерусского языков. В силу своей ориентации она отличается от грамматики для русских своим типологическим характером, т. е. выдвижением на передний план того общего, что объединяет разные языки — потенциальной фонологической системы, морфологической системы на уровне категории, а затем граммемы и т. д.

Изоморфизм систем позволяет рассматривать изучение фонологической системы как этап к усвоению морфологической.

Трактовка системы как иерархии понятий служит инструментом для прогнозирования различной степени трудности материала. Для молдаванина, например, наибольшую трудность представляет категория вида, которая отсутствует в его языке, а также категория падежа, выражаемая существительными и прилагательными.

Особую роль в русской грамматике для нерусских играет метаязык, который является, с одной стороны, эффективным средством выделения

категорий, присущих тому или иному языку, а с другой, препятствием к наблюдаемому механическому перенесению грамматических понятий русского языка в описании нерусского. Э. В. Севортян отмечал «стремление к механическому перенесению учения о частях речи из стабильного учебника русского языка в стабильные учебники тюркских языков» [33]. Подобное наблюдается и в описании других национальных языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952. С. 4.
2. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
3. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
4. *Добрушин Р. Л.* Математические методы в лингвистике // Математическое просвещение. Вып. 6. М., 1961. С. 37—38.
5. *Ляпунов А. А., Кулагина О. С.* О работах по машинному переводу Математического института АН СССР // Тезисы конференции по машинному переводу. М., 1958. С. 19.
6. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977. С. 143.
7. *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. Л., 1939. С. 3.
8. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960. С. 105.
9. *Ельмслев Л.* Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
10. *Бенвенист Э.* Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
11. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 60.
12. *Новиков П. С.* Элементы математической логики. М., 1959. С. 23.
13. *Кондаков Н. И.* Логический словарь. М., 1971.
14. *Евдошенко А. П.* Стереометрическое моделирование и изоморфизм // Студий де лимбэ молдовеняскэ. Кишинев, 1963.
15. *Евдошенко А. П.* К обоснованию изоморфизма фонологии и морфологии // AL. 1968. Т. 18 (1—2).
16. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
17. *Смирницкий А. И.* Синтаксис английского языка. М., 1959.
18. *Pike K.* Grammemic theory // General linguistics. 1957. V. 11. № 2.
19. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Санскрит. М., 1960.
20. *Евдошенко А. П.* Проблема структуры языка. Кишинев, 1967.
21. *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. М., 1976.
22. *Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1959. С. 8.
23. *Jakobson R.* Shifters, verbal categories, and the Russian verb. Cambridge, 1957. P. 9.
24. Категории материалистической диалектики / Под ред. Розенталя М. М. и Штракса Г. М. М., 1957. С. 251—252.
25. *Бенвенист Э.* Классификация языков // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963. С. 58.
26. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
27. Современный русский язык. Ч. 2. М., 1981. С. 80.
28. *Тронский И. М.* Общеиндоевропейское языковое состояние. М., 1967.
29. *Меновщиков Г. А.* К вопросу о проницаемости грамматического строя языка // ВЯ. 1964. № 5.
30. *Розенцвейг В. Ю.* Языковая практика и лингвистическая теория // ВЯ. 1966. № 2. С. 39.
31. *Вахтин Н. Б.* Некоторые особенности русско-алеутского двуязычия на Командорских островах // ВЯ. 1985. № 5.
32. Русская грамматика. Прага, 1979.
33. *Севортян Э. В.* К проблеме частей речи в тюркских языках // Вопросы грамматического строя. М., 1955. С. 189.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

СКЛЯРЕВСКАЯ Г. Н.

ЯЗЫКОВАЯ МЕТАФОРА В СЛОВАРЕ. ОПЫТ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ

Как только метафора была осознана, вычленена из ряда других языковых явлений и описана, сразу возник вопрос об ее двоякой сущности: быть средством языка и поэтической фигурой. «Подобно тому как одежда, сперва изобретенная для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и для украшения тела и как знак отличия, так и метафорические выражения, введенные из-за недостатка слов, стали во множестве применяться ради услаждения»,— читаем у Цицерона [1]. Из этого высказывания видно, что именно языковая метафора первозданна и первична, однако в дальнейшем ученые пошли по пути исследования «украшений» и «знаков отличия» — вслед за Аристотелем, разработавшим поэтическую теорию метафоры,— и так вплоть до XX в., когда метафора впервые была выведена из области поэтики и описана уже не как фигура художественной речи, а как феномен языка.

Сейчас никем не оспаривается существование двух типов метафор — поэтической и языковой; первая является объектом поэтики и одной из ее основных эстетических категорий, вторая исследуется в лингвистике и понимается как комплексная проблема, имеющая отношение к разным специальностям: лексикологии, семасиологии, теории номинации, психолингвистике, лингвистической стилистике.

Различия между языковой и художественной метафорой могут быть сведены к следующему. Семантические различия в том, что языковая метафора отражает очевидный признак (*кисель* — липкая грязь) или выражает «ходячие коннотации» (*осел* — упрямый человек) [2]. В художественной метафоре происходит сближение самых отдаленных сущностей, устанавливается нетривиальное подобие (так как из бесчисленных связей между элементами реальной действительности избираются самые неявные), что придает такой метафоре алогичный характер и создает впечатление семантической аномалии [*Глупая вобла воображения* (Маяковский); *Стекло стрекоз сновало по щекам* (Пастернак); *Приливы и отливы рук* (Мандельштам)]. Различия в номинативном аспекте таковы: языковая метафора воспроизводима, в то время как художественная представляет собой единичный акт наименования. Это в свою очередь обусловливает их функциональные различия: языковая метафора выполняет коммуникативную функцию, художественная — эстетическую. Таковы различия языковой и художественной метафоры в разных аспектах.

В последние десятилетия языковая метафора всесторонне исследуется лингвистами. В отечественном языкознании, кроме известных фундаментальных работ Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гака, В. И. Королькова, В. Н. Телии, Д. Н. Шмелева, лингвистическую теорию метафоры в совокупности составляют материалы многочисленных статей, посвященных

частным проблемам: месту метафоры в семантической структуре слова, соотношению денотативного и коннотативного компонентов в метафорическом значении, синтаксическим позициям, сочетаемости, функционально-стилистическим и экспрессивным особенностям и т. д. Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях обращает на себя внимание взгляд на метафору как на нестандартное языковое явление, противостоящее стереотипности и не подчиняющееся логике. Еще Ш. Балли считал, что метафорические сближения «обычно основываются на смутных аналогиях, порой совершенно нелогичных» [3]. Н. Д. Арутюнова также характеризует языковую метафору как «постоянный рассадник алогичного в языке» [4]. Х. Касарес, описывая фигуральные выражения в словаре, отметил непредсказуемый и нелогичный характер метафорического переноса: по-испански высокого худого человека называют «вермишель». «Почему не проволока?» — недоумевает Х. Касарес и не находит ответа [5] на этот, как и на другие подобные вопросы. В генеративной семантике с точки зрения логико-лингвистического анализа и с позиции теории референции метафору вообще относят к разряду «аномалий» и «ненормативных» семантических явлений [6]. Крайнее выражение подобных воззрений содержит взгляд на метафору как на пережиток древнейших языковых форм, как на отражение первобытных категорий причины, связанных с так называемым «прелогическим» или (в терминологии Л. С. Выготского) «комплексным» мышлением [7, 8]. Известна, впрочем, противоположная точка зрения, согласно которой метафора вообще не может быть соотнесена с архаическим образным словом, бывшим таковым «по необходимости»,— оно отражало образ предмета в целом, вместе со всеми его качествами и функциями, и такая образность исключала метафоричность, т. е. ассоциативность и двоякий смысл) Иными словами, образность языка на архаической стадии развития была явлением принципиально иным, чем образность современных языков [9, 10].

«Нелогичность» метафоры особенно отчетливо обнаруживается при сравнении с метонимией; регулярность которой такова, что дает основания безошибочно предугадывать, предвидеть развитие семантики в определенном направлении. Так, регулярный метонимический перенос «помещение — люди, находящиеся в этом помещении» (*Вся школа вышла на субботник*; *Зал встает* и т. п.) можно моделировать применительно практически к любому слову, обозначающему некое вместилище, в котором могут (или могли бы) находиться люди: *вагон*, *магазин*, *салон* (самолета) и т. п.,— настолько очевидна и постоянна близость («смежность») реалий, объединенных в метонимическую пару.

Метафора имеет другую природу. Врожденное чувство аналогии заставляет человека отыскивать сходство между самыми отдаленными сущностями: не только между предметами чувственно воспринимаемого мира, но и между конкретными предметами и отвлеченными понятиями. При этом нам действительно не удается обнаружить закономерностей в процессе образования каждой конкретной метафоры. В самом деле, почему русское коллективное языковое сознание избирает для обозначения и характеризации высокого худого человека такую реалию, как *жердь* (ср. польск. *dyl* «половица», исп. *fideo* «вермишель»). И почему такие общеизвестные свойства лошади, как физическое совершенство и способность к стремительному бегу не трансформировались в коннотацию, формирующую переносное значение, а, наоборот, коллективным языковым сознанием были объективированы совсем другие признаки: «неповоротливый», «неуклюжий»? Вероятно, объективные причины выбора того или иного признака

все же есть — иначе как объяснить способность метафоры выражать «устойчивое подобие», одинаково воспринимаемое всеми членами языкового коллектива (Н. Д. Арутюнова),— но эти причины не лежат на поверхности, а скрыты в сути вещей.

Итак, очевидно, что источник метафоризации часто непредсказуем, а мир ассоциаций, формирующих семантическое переосмысление, практически беспределен, поэтому не удивительно, что совокупность языковых метафор на первый взгляд представляется беспорядочным хаосом, не поддающимся систематизации.

Тем не менее языковая метафора широко представлена в толковых словарях: едва ли не каждое многозначное слово содержит переносные значения и оттенки (известно, что по лексикографической традиции помета «*перен.*» ставится не при всех видах переносов, а только при метафорических [11]). Следовательно, будучи описана в словаре, языковая метафора эмпирически уже систематизирована и классифицирована — ведь словарь не может оставить за пределами систематизации ни одного своего элемента. Как же разрешается противоречие между систематизирующей функцией словаря и сущностью метафоры, казалось бы, противостоящей стереотипности?

Это противоречие снимается, если при анализе отчетливо разграничивать д и н а м и к у и с т а т и к у языковой метафоры. Под динамикой понимается сам процесс метафорического переосмысления, проявляющийся в выборе того, а не иного признака (или комплекса признаков) как символа переноса. Говоря о статике, мы имеем в виду уже сформировавшуюся и функционирующую в языке метафору. Идея такого разграничения, известная в лингвистических работах и отчетливо сформулированная В. Н. Телией, представляется чрезвычайно продуктивной для дальнейших исследований: разграничив динамику языковой метафоры (процесс ее образования) и статику («готовое» семантическое образование), а также определив отнесенность каждого из этих явлений к той или иной сфере исследования (динамику исследует лексическая номинация, а «готовое» значение — семасиология) [12], мы тем самым разделим в языковой метафоре «нелогичное», непредсказуемое и не всегда объяснимое, с одной стороны, и «логичное», стандартное и потому поддающееся систематизации, с другой. Первое всецело относится к динамике образования метафоры, второе — к «готовой» метафоре. В «готовой» метафоре легко обнаруживаются «предметно-логические связи, отражающие языковой опыт говорящих» [13]. Именно «готовая» метафора — объект описания словаря.

Как объект лексикографического описания метафора до сих пор не привлекала должного внимания. В отдельных немногочисленных работах, посвященных этой теме, либо ставились сугубо практические задачи словаря — разграничение и квалификация живой и генетической метафоры, переносного значения и образного употребления слова [14], либо выдвигалась проблема образной реализации слова, описанной в толковом словаре литературного языка, т. е. объектом исследования избиралась переносность, связанная непосредственно со сферой художественной речи, образцы которой широко и разносторонне представлены в Словаре русского языка в 17-ти томах [15], либо делалась попытка описать стадии развития языковой метафоры и этапы ее формирования, зафиксированные, «застывшие» в семантической структуре словарной статьи [16].

В исследованиях, посвященных метафоризации значений, обычно используются самые общие схемы переносов: живое → неживое; живое → живое; неживое → живое; конкретное → абстрактное. Кроме того, были

описаны некоторые общие закономерности: физическая лексика служит для характеристики психических состояний человека, атрибут предмета преобразуется в атрибут абстрактного понятия и т. п. [4, с. 165 и сл.].

Наша задача — обнаружить и описать все возможные типы и направления переносов в языке в их взаимной связи и зависимости. Для этого были использованы материалы Словаря русского литературного языка (в 17-ти томах) с привлечением данных других словарей. Рассмотрены метафорические существительные.

Ассоциативный признак, служащий основанием метафоризации (а в некоторых случаях это может быть совокупность признаков, создающих единое впечатление), мы называем символом переноса. Этот рабочий термин удобен потому, что связывает субъект и объект метафоры и представляет их в единстве. Ведь признак, который в семантической структуре исходного слова является коннотативным, существует в виде «потенциальной семы», в метафорическом слове выдвигается на передний план и становится ведущей, дифференциальной семой [17]. Таким образом, символ переноса — это коннотативный признак исходного слова, преобразованный в процессе метафоризации в определяющий признак метафоры.

В ходе анализа было выделено шесть глобальных семантических сфер (представляющих как область вещественных сущностей, так и область абстракций), в пределах которых и совершаются метафорические переносы.

I. Объекты реальной действительности: 1) совокупность неодушевленных предметов; 2) мир животных; 3) человек во всех аспектах своей сущности и существования.

II. Абстрактные понятия: 4) физические явления и процессы; 5) психические явления и процессы; 6) отвлеченные категории.

Оказалось, что метафорический перенос в языке подчинен достаточно жесткой закономерности и осуществляется в определенных направлениях от одной семантической сферы к другой. Самый элементарный случай метафоризации — перенесение наименования с одного предмета на другой, когда символ переноса, отражая эмпирический, чувственный признак, обозначающий форму, размер, цвет, консистенцию и т. п., формирует перенос типа предмет → предмет. *Каша* — полужидкая масса (*снежная каша*; *бетонная каша*). *Кисель* → вязкая полужидкая масса (*кисель дороги*; *колеса увязли в киселе*). *Конура* → тесная, неуютная комната (*поселиться в тесной конуре*). *Корыто* → судно, лодка, непригодная для плавания (*утонешь на этом корыте*). *Крошка* → предмет маленького размера (*деталь-крошка*).

Близок к этому типу переноса (хотя и не так продуктивен) другой тип: человек → человек. Признак лица, наделенного какими-либо особенностями, переносится на другое лицо, характеризуя его. *Актер* → притворщик [*Ты всегда был немножко актер* (Гончаров)]. *Барин* — тот, кто уклоняется от труда, перекладывая свою работу на других [*Батманов... уж очень был параден... — Наверно, позер и барин, — невесело подумал Алексей* (Ажаев)]. *Идиот* → ограниченный, тупой человек [*Через все его* (Блока) *пьесы — от «Балаганчика» до «Розы и креста» проносятся целые стада идиотов, которые блеют тошнотворные слова* (Чуковский)]. *Иезуит* → лицемер [Чеглов: *Ты иезуит: показывая при людях к ней* [жене] *ласковость и доброту, ты мучил ее ревностью* (Писемский)]. *Именинник* → герой дня [*Началось испытание. Оно заняло всего несколько минут, полностью подтвердив предложения Бориса Зиновьевича. Все трое почувствовали себя именинниками* (Гранин)]. *Клоун* (*актер*, *паяц*, *фигляр*, *шут*) →

тот, кто кривляется, ломается с целью вызвать смех[*Клоун, паяц, грошовый актер,— сказал он вслух... Да что это? Из меня прет какое-то паясничание* (Бондарев)]. *Коновал* → невежественный врач [*Человек, лечившийся в столице даже у очень дурного врача, считает, что на периферии к его услугам одни коновалы* (Павленко)]. *Королева* → женщина, выделяющаяся своей красотой [*Вот это так подобрал* [жену]. *Это же королева*! (Егоров)].

Эмпирические признаки, как мы видим, утрачивают свое значение, и на передний план выдвигаются рациональные — обусловленные социальным положением лица (*королева*), профессией (*артист, клоун*) или ситуацией (*именинник*). В названных группах переосмысление происходит в пределах одной категории денотатов — неодушевленных предметов в первом случае и людей — во втором. Символ переноса совершает самый короткий путь — один шаг от исходной реалии до «именуемой».

В следующей группе субъект и объект метафоры также достаточно близки, хотя и относятся к разным семантическим разрядам: признак животного характеризует человека. Тип метафоры ж и в о т н о е → ч е л о в е к играет в языке роль одного из самых сильных экспрессивных средств, обычно такие наименования-характеристики направлены на дискредитацию, резкое снижение предмета речи и обладают яркой пейоративной окраской (исключения единичны: *голубь, орел, лев* и др.). *Баран* → «бестолковый»; *бирюк* → «угрюмый, нелюдимый»; *ерш* → «задира»; *жук* → «ловкий, плутоватый»; *змея* → «коварный, хитрый, злой»; *индюк* → «глупый, заносчивый, надменный»; *ишак* → «упрямый или глупый»; *кабан* → «грузный, толстый»; *клуша* → «неуклюжая, неповоротливая или неряшливо одетая»; *лиса* → «хитрый»; *медведь* → «неловкий, неповоротливый, неуклюжий»; *петух* → «задира, забияка, драчун»; *рыба* → «бесчувственный, холодный»; *червяк* → «ничтожный, презренный»; *щенок* → «молодой, неопытный» и т. д. Животный мир дает очень большое число коннотаций, при этом метафорическая характеризация может быть не только одноплановой, когда в метафоре реализуется один признак (*лиса* → «хитрый»), но и разноплановой, когда символ переноса содержит несколько признаков (*индюк* → «глупый + заносчивый + надменный»), а в отдельных случаях в процессе метафоризации участвует целый набор символов переноса, создавая дифференцированные характеристики: *свинья* 1) «неопрятный»; 2) «низменный»; 3) «невежественный»; 4) «непорядочный»; 5) «неблагодарный». При этом даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть широкий диапазон «зооморфных» характеристик: это может быть подобие внешнего вида (*клуша*), характера поведения (*петух*), свойств личности (*индюк*) и т. п.

На дальнейшем пути абстрагирования символ переноса окончательно «отрывается» от исходной реалии и «прикрепляется» к реалии другой семантической категории — признак неодушевленного предмета используется для оценки физического, психического или нравственного качества человека. Происходит процесс, противоположный олицетворению, когда физические качества неживой природы приписываются не только внешности (как следовало бы ожидать), но и духовному миру человека. Так формируется перенос типа п р е д м е т → ч е л о в е к. Случаи чисто внешней характеристики сравнительно редки: *каланча* → человек высокого роста [*В доме восемь дробь один У заставы Ильича Жил высокий гражданин По прозванью «Каланча»* (Михалков)]. Обычно даже тогда, когда символ переноса отражает внешнее сходство, намечается тенденция к психологической характеристике. *Квашня* → неповоротливый, медлитель-

ный человек [*Пять минут сбегать, а ты полчаса ползешь! Квашня!* (Вересаев)]. *Колода* → неповоротливый, неуклюжий человек [*А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел* (Л. Толстой)]. *Кряж* → крепкий, коренастый, здоровый человек [*Ешь, Фомушка, ешь! Вишь, какой кряж вырос! Есть куда хлеб-соль класть* (Салтыков-Щедрин)]. Значительно чаще признак предмета используется для характеризации психического или нравственного качества человека: *кремень* → человек сильной воли, твердого характера (*Он далеко пойдет с такой волей.— Действительно, парень — кремень* (Саянов)]. *Кувалда* → грубая, неуклюжая или невоспитанная женщина [*Бабы фотьянские... ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских* (Мамин-Сибиряк)]. *Кукла* → а) пустая, бездушная женщина [*Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги?* (Чехов)]; б) человек, слепо действующий по воле другого [*Бояре видели в самозванце свою ряженую куклу* (Ключевский)]. *Кипяток* → вспыльчивый человек [*Егорша схватил его за рукав.— Да погоди ты, кипяток!* (Абрамов)]. *Кисель* → вялый, бесхарактерный человек [*Она, брат, молодчина! Я даже не ожидал! Думал, кисель-девка, а она что надо!* (Е. Мальцев)].

На следующем этапе метафоризации преодолевается граница, извечно разделяющая мир объектов реальной действительности и мир абстракций. И здесь тоже самым мощным источником метафоры становится сфера предметов — именно из нее черпаются коннотации для наименования таких абстрактных категорий, как физические явления, психические явления и отвлеченные понятия.

Предмет → физическое явление. *Базар* → шум, беспорядок (*базар в классе*; *прекратить базар*). *Бойня* → битва, побоище (*кровавая бойня*). *Кабак* → безобразие, беспорядок (*кабак на улице*; *устроить кабак*). *Каскад* → быстрое чередование чего-либо (*каскад ударов*; *каскад звуков*). *Карусель* → быстрая, стремительная смена чего-либо (*карусель дел*; *карусель событий*). *Каторга* → непосильно тяжелый труд, тяжелая жизнь (*жизнь превратилась в каторгу*). *Комок* → спазм (*комок в горле*).

Предмет → психическое явление. *Грязь* → что-либо низменное, безнравственное (*грязь жизни*; *душевная грязь*). *Клеймо* → знак, свидетельство чего-либо порочащего, позорящего (*клеймо позора*; *клеймо на всю жизнь*). *Клубок* → запутанное сцепление, переплетение (*клубок противоречий*; *клубок мыслей*). *Клочки* (*обрывки*) → разрозненные, вырванные из целого куски, части (*клочки сновидений*; *обрывки воспоминаний*). *Хомут* → тягостная обязанность, забота (*надеть на себя хомут*; *снова этот хомут*). *Шпилька* → язвительный намек, двусмысленное замечание (*шпильки в разговоре*).

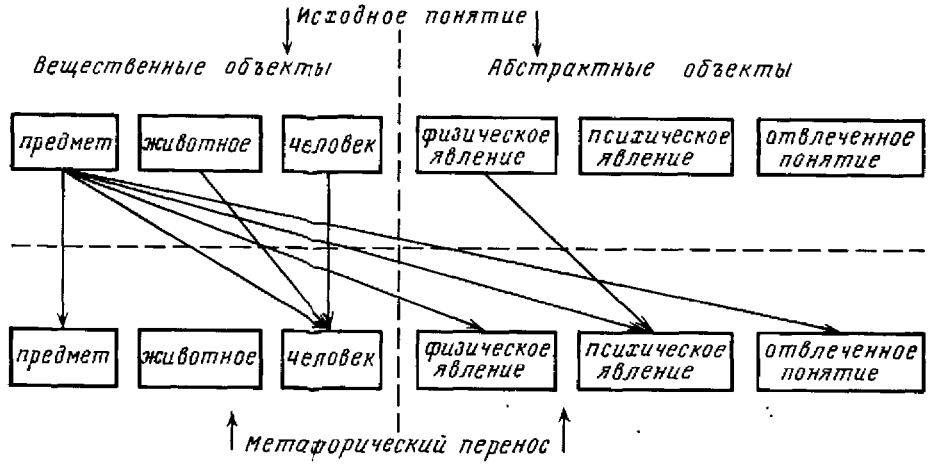
Предмет → отвлеченное понятие. *Груда* (*куча*, *гора*) → очень много (*груда дел*, *забот*; *куча новостей*). *Капля* (*крупица*, *крупинка*) → очень мало (*капля жалости*). *Изнанка* → скрытая отрицательная сторона (*изнанка жизни*; *изнанка факта*). *Канва* → основа, общие черты (*канва событий*, *канва романа*). *Каркас* → организующая, стержневая часть (*каркас сценария*). *Каша* → путаница, беспорядок (*каша в голове*; *сплошная каша*). *Козырь* → обстоятельство, факт, являющиеся преимуществом (*козырь в споре*; *козырь в борьбе*). *Тормоз* → препятствие, помеха (*тормоз в работе*). *Тупик* → а) безвыходное положение (*жизнь зашла в тупик*; *отношения в тупике*); б) состояние неразрешимых противоре-

чий (*мысль зашла в тупик*). *Цепь* → последовательный ряд (*цепь событий; цепь фактов*).

Возможен еще один тип переноса — в пределах абстрактных категорий: физическое явление → психическое явление. *Взлет* → активное проявление (*взлет творческой мысли; взлет фантазии*). *Взрыв* → внезапное бурное проявление (*взрыв смеха, негодования*). *Искра* (*проблеск*) → зачаток, признак (*искра любви, таланта; проблеск мысли, надежды*). *Комедия* — а) смешное событие, происшествие (*ну и комедия!*); б) притворство (*прекратите эту комедию*). *Крушение* → гибель, крах (*крушение надежд, планов*). *Пытка* → мучение (*жизнь — пытка*).

Итак, системный подход к языковой метафоре помог обнаружить следующие регулярные типы метафорического переноса: 1) предмет → предмет; 2) предмет → человек; 3) предмет → физическое явление; 4) предмет → психическое явление; 5) предмет → отвлеченное понятие; 6) животное → человек; 7) человек → человек; 8) физическое явление → психическое явление.

Каждая из выделенных семантических сфер является источником метафоризации и в то же время — как бы зеркально отраженная — ее объектом. При этом перенос совершается всегда в определенных, строго регламентированных направлениях (см. схему).



Таковы пути образования языковой метафоры. Такие типы переносов придают метафоре те свойства, которые и воспринимаются как «общеязыковые». Они воспроизводимы в процессе языкового общения и по своей регулярности могут быть причислены к семантическим моделям. По сути дела рассмотренные здесь типы метафорических переносов отражают сближение элементов действительности, характерное для коллективного языкового сознания. Другие типы переносов представляют индивидуальное языковое творчество и принадлежат сфере художественной (особенно поэтической) речи, например: животное → физическое явление [*Раненым медведем мороз дерет* (Асеев)]; животное → психическое явление [*Тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения* (Маяковский)]; человек → психическое явление [*Стих встает, как солдат* (Слуцкий)]. Более того, в художественной метафоре возможны переносы «справа—налево» и даже в направлении от абстрактных категорий к

конкретным, например: животное → предмет [*Мельница — бревенчатая птица* (Есенин)]; психическое явление → предмет [*Два крыла — как два огромных горя* (Заболоцкий)].

Интерпретированный с этих позиций материал дает основания для следующих выводов.

1. Языковая метафора, как и любая другая лексическая категория, подчинена определенным закономерностям, и эти закономерности носят системный характер. Система метафор в языке, подвижная и незамкнутая, как система лексики в целом предполагает дальнейшее дробление и установление внутрисистемных связей и отношений, таких, как объединение в тематические группы, в синонимические ряды и антонимические пары, в деривационные гнезда и т. д.

2. Между языковой и художественной метафорой существуют различия принципиального характера: языковая метафора образуется по строго регламентированным направлениям, только «слева—направо», от имени предмета к имени абстракции, при этом выбор источника метафоризации и символа переноса ограничен и связан достаточно устойчивыми нормами и закономерностями коллективного языкового сознания. Образование художественной метафоры свободно, не связано никакими канонами и совершается произвольно в любых направлениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Цицерон.* Об ораторе III // Античные теории языка и стиля. М.— Л., 1936. С. 216.
2. *Арутюнова Н. Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 288.
3. *Балли Ш.* Французская стилистика. М., 1961. С. 221.
4. *Арутюнова Н. Д.* Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 170.
5. *Касарес Х.* Введение в современную лексикографию. М., 1958. С. 124.
6. *Чейф У.* Значение и структура языка. М., 1975. С. 53.
7. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности // *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 430.
8. *Выготский Л. С.* Мышление и речь // *Выготский Л. С.* Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 194.
9. *Кацнельсон С. Д.* Язык поэзии и первобытно-образная речь // ИАН ОЛЯ. 1947. № 4. С. 310, 315.
10. *Рифтин А. П.* Категории видимого и невидимого мира в языке // Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1947. Вып. 10. С. 138.
11. Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (В 15-ти томах). М.—Л., 1958. С. 22.
12. *Телия В. Н.* Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981. С. 98, 152.
13. *Телия В. Н.* Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 193.
14. *Фельдман Н. И.* Об анализе смысловой структуры слова в двуязычных словарях. Раздел. 2. О различении переносных значений и образного употребления // Лексикографический сборник. Вып. 1. М., 1957.
15. *Ковтун Л. С.* Описание метафоризации значений в толковом словаре литературного языка // Современность и словари. Л., 1978.
16. *Скляревская Г. Н.* К вопросу о метафоре как объекте лексикографии // Современная русская лексикография. 1981. Л., 1983.
17. *Гак В. Г.* К проблеме общих семантических законов // Общее и романское языкознание. М., 1972. С. 151—152.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

МАТВЕЕВ А. К.

АРХАИЧЕСКАЯ РУССКАЯ ТОПОНИМИЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Север европейской части СССР и Урал не относятся к исконно русским землям: бассейн Северной Двины стал интенсивно осваиваться русскими с XI—XII вв., Северное Приуралье (бассейны Печоры и Камы) — с XV в., а Зауралье — еще позднее. Уже это обстоятельство сдерживало поиск русских топонимических древностей на территории всего северо-востока европейской части СССР. Напротив, исследователей привлекал здесь мощный пласт субстратных названий финно-угро-самодийского происхождения, который обеспечил необозримое поле деятельности для нескольких поколений топонимистов и до сих пор еще в значительной степени остается загадочным. Это также способствовало ослаблению внимания к русским элементам топонимии севера европейской части СССР (в дальнейшем — Севера) и Урала, считавшимся сравнительно новыми. Одновременно утвердился взгляд, в соответствии с которым русская и финно-угро-самодийская топонимия всегда находятся в одном определенном соотношении: топонимия аборигенов предшествует русским названиям.

Между тем русская топонимия Севера и Урала хронологически неоднородна и содержит многочисленные архаические элементы. Соотношение русской топонимии и названий аборигенов тоже не всегда можно свести к простой формуле: топонимия коренного населения — нижний пласт, русские географические названия — верхний.

Нельзя сказать, что архаические русские элементы в топонимии Севера совсем не привлекали внимания. Однако исследователей интересовала либо эволюция частных топонимических систем — Белозерского края, Заонежья, Пинежья, Тотемского уезда и т. д. [1—5], либо топонимия как исторический источник для изучения отдельных тематических групп русской лексики [6]. Что касается архаической русской топонимии Урала, то она вообще не была предметом исследования.

В статье рассматриваются некоторые теоретические и методические вопросы изучения архаических элементов русской топонимии всего северо-востока европейской части СССР, т. е. и Севера и Северного Урала (в широком смысле — географически Полярного, Приполярного и собственно Северного Урала), поскольку в формировании топонимических систем на этих территориях было много общего: Север — исторически Новгородское Заволочье — являлся базой для русских первопроходцев, осваивавших Урал в его северной части. Поэтому сначала характеризуются архаические русские элементы топонимии Севера. Это позволит многое понять в формировании топонимии Северного Урала и вместе с тем увидеть общее и различное в процессах, происходивших в топонимии двух смежных, но все-таки различных в историко-географическом отношении областей.

Прежде всего необходимо определить, что понимается под архаическими элементами русской топонимии. Как уже было сказано, в топонимии Севера широко представлены и русские, и субстратные (финно-угро-самодийские) названия, при этом субстратные топонимы, если не учитывать их происхождение, также должны рассматриваться как факт русского языка. В соответствии с существующей традицией все русские названия хронологически членятся на три группы: древнерусскими считаются топонимы, упомянутые в памятниках до XIV в. включительно, старорусскими — в документах XV—XVII вв. [7], а новорусскими — в еще более поздних источниках. В зависимости от времени усвоения [1] и субстратные топонимы тоже должны рассматриваться как древне-, старо- и новорусские. Древне- и старорусские топонимы, функционирующие и в настоящее время, или исчезнувшие, но засвидетельствованные в древне- и старорусских памятниках, квалифицируются как архаические. Так, исконно русское название *Орлецы* следует считать древнерусским, поскольку городок Орлец на Двине был основан в XIV в. (1342 г.), о чем имеется прямое указание в исторических документах, субстратный топоним *Тойма* тоже должен квалифицироваться как древнерусский, поскольку в форме *Тоима* он упоминается в Уставной грамоте 1136/ /1137 гг.

Следует, однако, иметь в виду, что топонимы могли возникнуть в русском языке или быть заимствованы русскими у коренного населения значительно раньше момента их фиксации в памятниках. Поэтому среди названий, определяемых по памятникам как старорусские, могут быть и древнерусские, а среди названий, определяемых как новорусские,— и древне- и старорусские. В этом случае уточнить время появления названия иногда можно, обратившись к фактам истории русского языка. Если же название вообще не фигурирует в памятниках, то о времени его возникновения можно судить только по результатам фонетического, словообразовательного или лексикологического анализа, в некоторых случаях помогающих выявить признаки архаичности.

Так, по мнению Г. Борека, названия с суф. *-ица* за редкими исключениями характерны только для территории заселения первоначальной Руси [9, с. 159]. На самом деле они широко распространены и на Севере как среди собственно русских, так и субстратных наименований, ср., например, *Болотница*, *Боровица*, *Гиблица*, *Зимница*, *Ольховица*, *Стрелица*, *Студеница* и *Волбица*, *Ихалица*, *Моткомица*, *Пажица*, *Пурновица*, *Ухтомица*, *Шидровица*. Суф. *-ица* справедливо считается древним [9, с. 165], а предположение о том, что названия с этим суффиксом на Севере являются архаическими (древне- или старорусскими), находит подтверждение в лингвогеографических данных: на Урале, заселяемом русскими с XV—XVI вв., названия на *-ица* еще изредка встречаются (гидронимы *Волосница*, *Сылвица* и некот. др.), но они почти не отмечены в Сибири, где массовая русская топонимия появляется только в XVII в.

Конечно, этот вывод относителен. Г. Борек правильно указывает, что в топонимии формант *-ица* долго сохранял свою продуктивность [9, с. 165], и факты подтверждают, что в некоторых случаях словообразовательная модель с суф. *-ица* могла действовать и в новорусский период. Так, название горы *Круглица* близ города Златоуста на Южном Урале возникло не раньше XVIII в., когда русские заселили эти места. Воз-

[1] О неодновременности процесса усвоения топонимии аборигенов русскими см. [8, с. 76—77].

можно, и на Севере некоторые названия на *-ица* являются сравнительно новыми, но архаический характер большинства из них не подлежит сомнению: на это указывают и многочисленные фиксации топонимов на *-ица* в древне- и старорусских источниках. Дифференцировать древне- и старорусские названия на *-ица* без учета свидетельств памятников, однако, невозможно.

Иногда древность названий подтверждается архаичностью соответствующих реалий и лексем, ныне забытых или функционирующих только как стилистические историзмы, ср. *смердъ* «крестьянин; подданный» (река *Смердья*, озеро *Смердье*, в грамотах XV в.— *Смердьи места*), *тиунъ* «управитель» (остров *Тиунец*, *Тиунский Камень*, в грамоте начала XVII в.— *Тиунский берег*, *робъ* «слуга; раб» при современных диалектно-просторечном *робить* и общерусском *раб* (поле *Робье*, болото *Робий Мох*, луг *Робово*). Причем противопоставление форм *робъ* и *рабъ* (>*раб*) показательно и как пример использования фонетического критерия для установления архаичности топонимов. Однако и этот прием в большинстве случаев не позволяет дифференцировать древне- и старорусские названия. В частности, слова *смердъ*, *тиунъ*, *робъ* (*роба* «служанка», «раба») зафиксированы как в древне-, так и в старорусских памятниках.

Еще сложнее доказать древность названия в тех случаях, когда в русских народных говорах функционируют соответствующие диалектные лексемы. Так, название реки *Леповатица*, если допустить его связь с древним прилагательным *лѣпый* «красивый; хороший» [2], должно быть причислено к весьма старым названиям и свидетельствовать о существовании некогда в русском языке слова *лѣповатый*, которое не отмечено в «Словаре русского языка XI—XVII вв.». Однако наличие в русских народных говорах слова *лепо* «красиво; хорошо», *лепота* «красивая внешность» и т. п. позволяет допустить, что в них может существовать (или существовало) незафиксированное слово *леповатый* со значением «довольно красивый» или близким к нему. И только древний суффикс *-ица* является дополнительным доводом в пользу архаичности гидронима *Леповатица*. Короче говоря, лишь в тех случаях, когда соответствующей лексемы нет в диалектных источниках и она обозначает устаревшую реалию, можно с уверенностью считать топоним архаическим, хотя и не представляя более или менее точно время его возникновения.

Процесс формирования русской топонимии на Севере значительно осложнялся тем, что между двумя стихиями — финно-угро-самодийской и русской — происходило интенсивное языковое взаимодействие. В процессе этого взаимодействия разрушалась топонимия коренного населения, которая в разных формах осваивалась русскими [8, 10]. Для формирования русской топонимии особенно важно было калькирование. Поскольку топонимия с обильным субстратом, как правило, содержит кальки, среди древне- и старорусских названий Севера есть, видимо, много калек, но доказать сам факт калькирования таких русских названий, как, например, озеро *Белое* или река *Черная*, почти всегда невозможно, если только мы не имеем дело с так называемыми метонимическими кальками [8, с. 80—81].

---

[2] В качестве этимона для этого топонима с учетом фонетического перехода *а* > *э* после мягкого согласного могут быть предложены также русские диалектные слова *ля́поватый* «в ляпках, пятнистый» и **ляпова́тый* (ср. *ляпова́то* «неумело»), но семантически они, особенно второе слово, менее удовлетворительны. В топонимической картотеке Севера, составленной экспедицией Уральского университета, названий с основой *ляповат-* нет.

В тех редких случаях, когда иноязычное название семантически и структурно тождественно русскому топониму, калькирование указывает на древность топонима: русск. *Белозеро* соответствует фин. *Valkeajärvi*, вепс. *Vâuktaŕ* «Белое озеро», и действительно русский топоним известен с IX в.

Единственным структурным признаком, по которому можно было бы установить калькированный характер того или иного русского топонима, является основосложение (ср. раннюю форму *Бѣлоозеро*), однако названия типа *Княжостровъ*, *Великокурья*, *Малокурья* (в памятниках XIV—XV вв.) могли возникать и на собственно русской почве [11], особенно под влиянием широко распространенных на Севере полукалек типа *Пертозеро* и полных калек типа *Белозеро*.

Если не учитывать калькирование, то с этимологической точки зрения все множество топонимов Севера может быть расчленено на три группы: 1) субстратные топонимы (*Мустюга*, *Онега*, *Пинега*, *Юг* и т. п.), 2) исконно русские топонимы (*Брусенец*, *Городишна*, *Золотица*, *Стрельна* и т. п.), 3) топонимы, принадлежность которых к первой или второй группе спорна. Возникновение последних обычно бывает связано с такими процессами, как переход названий из одного ряда в другой (по основам или по формантам) и народная этимология.

Показательно наименование крупного правого притока Онеги *Вóлошка* (*Волóшка*). Казалось бы, гидроним *Волошка* входит по основе в один ряд с такими наименованиями, как *Вологда*, *Волома*, *Волонга*, *Воломень*, *Волюга*, а по форманту восстанавливаемая форма **Волоша* (> *Волош-ка*) соответствует названиям типа *Коноша*, *Ундоша*, *Шоноша* и т. п. Но местное население употребляет и другую форму этого гидронима — *Вóлга*. Самое простое отнести название *Волга* к ряду *Волгозеро*, *Волгуда*, *Волгуша*, *Волгуж* и т. п., считая наименование *Волга* изначальным, совпадающим с наименованием великой русской реки и возможно генетически одного с ним происхождения. Однако все может обстоять сложнее, так как в памятниках XVII в. засвидетельствован географический термин *воложка* (< *Волга*), первоначально обозначавший рукав (приток) Волги или Камы. Этот термин иногда утрачивает связь со своим этимоном, деэтимологизируется и варьирует фонетически, семантически и структурно: перм. *вóлошка* «приток, рукав реки», ярослав. *волóша* «речка», арх. *волошá* «рукав; пролив, соединяющий две речки». Теперь остается только гадать, что могло произойти: перешло ли местное название *Волга* в *Воложка* > *Волошка* или русские перенесли на север географический термин *вóложка*, *вóлошка* и т. п., а вариант *Волга* был извлечен из *Воложка*. Кроме того, ничто не мешает восстановить исходную форму **Волоша* (или **Воложа*), восходящую к языку коренного населения, которая затем была осмыслена как русский географический термин, т. е. подверглась народной этимологии. Таким образом, взаимодействие собственно русской и субстратной топонимии ведет в этом случае к такому множеству решений, что все возможности трудно учесть.

Только с учетом народного осмысления можно рассматривать и очень трудный для интерпретации гидроним *Двина*. Как известно, было предпринято множество попыток объяснения этого названия и на индоевропейской (в частности, на балтийской), и на финно-угорской почве. Между тем, бесспорно одно: др.-исл. *Vína*, карельск. *Viena* и русск. *Двина* невозможно отделять друг от друга. Традиционно более древними словами считают карельское и древнеисландское, поэтому вполне возможно, что русск. *Двина* возникло на почве народной этимологии к слову *два*. Если

это так, то народно-этимологическая переработка *Viena* (*Vina*) > *Двина* произошла очень рано, так как гидроним *Двина* зафиксирован в древнерусских источниках. Авторы XVI—XVIII вв. уже были убеждены в том, что название *Двина* образовано от русского *два*, ср.: «Область Двина и река, возникшая от слияния рек Юга и Сухоны, получили имя Двины, ибо Двина по-русски значит два или по два» [12, с. 127], «самое название которой Двина говорит о том, что это двойная река» [13], «Двина, то есть река из двух рек начало свое имеющая» [14].

Но есть факты, позволяющие построить иную версию происхождения этого интересного слова. В свое время Б. А. Ларин опубликовал материалы Ричарда Джемса, в которых фигурируют старорусские словосочетания *vino dvina* «(двойное) вино» и *brate dvina* «единоутробный брат» [15, с. 125, 164]. В своих комментариях и Б. А. Ларин пишет: «Двина-река названа так потому, что возникает из слияния двух рек (Сухоны и Юга)» [15, с. 231].

Топонимическая экспедиция Уральского университета неоднократно фиксировала в различных районах Севера названия полей и лугов *Дви́нки*, *Дви́ны*, которые невозможно прямолинейно выводить из названия реки *Двина́* (местное *Дви́на*). В Кичменско-Городецком районе Вологодской области был зафиксирован также архаический апеллятив *двины́* «две полосы рядом» («если полосы короткие, возьмет да достанется две полосы рядом, вот и двины, слово-то ето старинное»). Индоевропейские связи этого диалектного слова уже установлены этимологами [16].

Отсюда, конечно, не следует, что русск. Двина восходит непосредственно к апеллятиву *двина* и что получено решающее доказательство славянского (или шире — индоевропейского) происхождения этого гидронима. Вместе с тем и не учитывать возможность славянской (индоевропейской) этимологии было бы преждевременно: восточные славяне могли довольно рано узнать о большой северной реке. Ненецкое название столь значительной реки, как Мезень, *Лободка-Яу* «Море у слободки» [17] наглядно показывает, что русские наименования в некоторых случаях могли усваиваться коренным населением: река получила название по городу Мезень, который ненцы именуют *Лободка* (< русск. *Слободка*), поскольку местные русские жители даже на рубеже XIX—XX вв. называли свой город *Большой Слободкой* [18].

Таким образом, есть два пути этимологизации гидронима (Северная) *Двина*: считать его славянским (индоевропейским), что подтверждается фонетическим развитием инициальной группы *dv* > *v*, закономерным для финно-угорских языков, или рассматривать как дославянское и неиндоевропейское, объясняя преобразование *v* > *dv*, незакономерное для славянских языков, с помощью народной этимологии к русск. *двина*, *двины*.

Предположение М. Фасмера о том, что название (Северная) *Двина* появилось в результате переноса гидронима (Западная) *Двина* [19], можно принять, рассматривая этот перенос как особый случай той же народно-этимологической адаптации неславянского гидронима: немотивированный перенос названия на такую значительную реку маловероятен. Однако в свете всего сказанного столь же допустимо, что эти два названия возникли независимо друг от друга, но восходят к одному общему славянскому (индоевропейскому) источнику. Возможности этимологического объяснения слова *Двина* на индоевропейской почве подробно рассматривает М. Фасмер [19].

Названия с такой сложной историей, как у топонимов *Волошка* и

Двина, на Севере довольно многочисленны, однако в большинстве случаев субстратные и русские топонимы различаются без труда. Но и среди неясных на первый взгляд наименований могут быть обнаружены названия, которые следует относить к древне- или старорусским. Так, название левой составляющей Северной Двины *Сýхона*, несмотря на явную близость к слову *сухой*, из-за ударения на первом слоге и необычного для исконно русских гидронимов Севера суффиксального оформления ассоциируется с субстратными наименованиями типа *Сóяна*, *Сямжена* и вынуждает думать о народной этимологии на русской почве. Однако еще М. Фасмер справедливо настаивал на славянском происхождении этого гидронима, который он выводил из **Суходъна* или непосредственно из др.-русск. *сухона* — «сухость, жар», зафиксированного в документе XIV в. [20, с. 814]. Вторая версия находит убедительное подтверждение в аналогичных топонимах Севера, прилагаемых к объектам, находящимся далеко от Сухоны: ручей *Сухонец* (басс. р. Устья), река *Сухона* (басс. р. Онега), луг *Сухоны* (низовья Северной Двины). По-видимому, в северно-русских говорах ранее существовало слово *сухона* со значением «сухое место» или близким к нему. Предлагаемая этимология согласуется и с физико-географическими характеристиками объекта: «нижняя часть Сухоны... так мелководна, что для глубоко-сидящих судов может служить только весною...» [21]. Полное отсутствие основы *сух-* в субстратной гидронимии Севера со своей стороны поддерживает версию о славянском происхождении наименования.

Таким образом, есть основания видеть в названии *Сухона* архаический русский гидроним с суф. *-на* [22]. На Севере обычны адъективные образования *Сухой* (ручей), *Сухая* (речка), *Сухое* (болото), *Сухона* — единственная и притом не очень распространенная субстантивная топонимическая модель, мотивированная прилагательным *сухой*. Утрата апеллятива повлияла и на судьбу топонима. Деэтимологизация обусловила формальное соотнесение этого названия с субстратными гидронимами на «гласный + *на*», имеющими ударение на первом слоге, и акцентологическую инновацию.

Этот пример свидетельствует, что поиск архаических русских топонимов на Севере должен охватывать и названия крупных рек (ср. выше о гидрониме *Двина*). Обычно на том единственном основании, что наименования значительных объектов чаще бывают более древними, их без раздумий относят к числу субстратных. Однако процесс формирования топонимических систем отличается большой сложностью: новое население первоначально знакомится с наиболее значительными объектами, и поэтому среди названий таких объектов могут оказаться относительно более новые. Этот вывод в общем согласуется с наблюдениями Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова о закреплении древних индоевропейских и иранских названий рек за соответственно мелкими и более крупными гидрообъектами [23]. Он расходится с традиционными представлениями [24] и еще раз подтверждает простую истину, что жизнь языка богаче навязываемых ему схем.

Несколько иную ситуацию находим на Северном Урале. Архаические русские названия здесь встречаются реже и хронологически могут быть квалифицированы только как старорусские. Известно, например, что *Соликамск* (первоначально *Соль Камская*) был основан в 1430 г., *Пустозерск* (*Пустозерский острог*, *Пустозерский городок*) — на рубеже XV—XVI вв., *Усть-Цилемская слобода* — в 1544 г. Как и на Севере, указания на дату происхождения топонимов в исторических документах об-

наружить можно не всегда, потому иногда помогает история языка, в частности, историческая лексикология. Однако на Урале дифференцирующую роль играют другие тематические группы. Так, например, печорские названия *Поганый Нос*, *Поганческая изба*, *Болвановский Нос*, *Пищальный бор* и т. п. скорее всего относятся к старорусским, поскольку они указывают на специфику восприятия русскими языческих верований аборигенов или на старинное оружие. Как уже было замечено, этот прием требует осторожности: слово *полковник* встречается в русских источниках XVII в. [20, с. 311; 25], но название мыс *Полковника* на берегу Карского моря возникло только в середине XIX в., когда в устье Кары побывала научная экспедиция под руководством полковника Э. К. Гофмана.

Наибольший интерес представляют на севере Урала прежде всего те русские названия, которые так или иначе связаны с деятельностью русских первопроходцев.

Хорошо известно, что через северную часть Урала пролегли первые пути в Сибирь. Таких путей на громадном протяжении Уральского Севера было несколько, и на каждом из них первопроходцев ожидал трудный волок через Уральские горы. Наиболее известными и важными в XV—XVI вв. были два печорских волока (усинско-собский и щугорский) и вишерско-лозьвинский волок, который стал особенно широко использоваться со второй половины XVI в. после падения Казани [26, с. 64—68]. В дальнейшем речь пойдет в основном о топонимии наиболее древних печорских «чрезкаменных» путей.

Хотя значение того или иного «чрезкаменного» пути со временем менялось в зависимости от исторических обстоятельств, тем не менее сохранились русские названия многих географических объектов, находящихся вдоль старинных «чрезкаменных» путей или близ них. Устойчивое употребление этих названий можно объяснить только их длительным функционированием как у русских, так и среди местного населения, находившегося в контакте с русскими. Таковы, например, гидронимы *Волоковка* (басс. Щугора), *Волочанка* (басс. Соби), упомянутая в «Книге Большому Чертежу» (1627 г.), *Залазная*, *Торговая*, *Пятидырка* (имеется в виду количество протоков, на которые расходится река в порогах) и т. п.

На Северном Урале, как и на Севере, происходили интенсивные языковые контакты. Однако топонимия коренного населения (ненцев, коми, манси, ханты) образует здесь функционирующий («живой») слой, поэтому для изучения трудных названий на Урале особое значение имеют параллельные финно-угро-самодийские топонимы, тем более что в ряде случаев появление русских названий и в этих местах явно связано с процессом калькирования. Так, кальками являются топонимы река *Щучья* (ненец. *Пыря Яха* «Щучья река»), гора *Молебный Камень* (манс. *Ялпың Нёр* «Святой Камень»), а также приведенное в «Книге Большому Чертежу» название гора *Князькова*. На этом последнем случае ввиду его фиксации в старорусском источнике XVII в. следует остановиться особо. Приведем контекст: «А от верху Усы до верху горы Князьковой 150 верст; а промеж тех рек и реки Оби... самоядь кочевая» [27]. Указание на кочевую самоядь (ненцев) позволяет искать источник предполагаемого калькирования в ненецком языке. Действительно, самая высокая гора в этой части Урала называется *Пайер* (ненец. *Пэ Ерв* «Хозяин Урала», «Владыка Урала»). Ср. у М. А. Кастрена: «Самоеды называют Урал Пае, т. е. камнем, а самую высокую вершину... Пае іеру — «Князь» или «Господин Урала» [28]. Остается добавить, что от верховья Усы до

Пайера по прямой линии 150 километров, т. е. данные «Книги Большому Чертежу» очень точны, и что в русском языке калькирование было дополнено переосмыслением: «Князь-Гора» стала Князьковой горой.

Обычно в качестве кальки рассматривается и старинное наименование Урала — *Камень* (манс. *Нёр*, хант. *Кев*, коми *Из* «Камень», «Урал», ненец. *Н'арка" Пэ"* «Большие Камни»), однако более вероятно, что исконно русское слово *камень* получило на Урале новое вторичное значение «каменная гора». Это было связано с тем, что русские познакомились с новыми для них реалиями — высокими каменными горами. Развитию такого значения со своей стороны могла способствовать семантика названий Урала в языках коренного населения.

В то же время надо отметить, что на Северном Урале крайне редко встречается столь обычное для калек Севера основосложение (ср. чуть ли не единственный пример — старорусское *Пустоозеро* > *Пустозеро* > *Пустозерск*). Это, видимо, связано с преобладанием здесь маргинального типа языкового контактирования, которое отразилось в заимствовании географических названий из функционирующих финно-угро-самодийских языков, но не имело таких серьезных последствий для формирования системы русских географических названий, как возникновение субстратной топонимии на Севере.

Есть на Северном Урале и примеры оригинальных русских моделей. Таково название реки *Паток*, притока Щугора, ср. русск. *патока*, русск. диалектн. *паточина* «источник, родник, текущий из болота или озерка», засвидетельствованное уже в исторических документах XV—XVI вв. Сам Щугор осмыслялся как основной *поток*, наиболее значительные притоки — *Большой* и *Малый Паток* — как побочные. Модель эта хорошо известна в русском языке и отражена, например, в таких парах слов, как *русло* — *парусло* «старица», *солнце* — *пасолнце* «побочное солнце», *облако* — *паоблако* «низкое облако от поднимающегося тумана» и т. д.

Первопроходцы называли не только реки, но и наиболее важные вершины: гору *Столп*, упоминаемую С. Герберштейном в связи с известным походом 1499—1500 гг. [12, с. 133], отождествляют с Тэл-Поз-Изом, самой значительной вершиной на берегу Щугора. Но доказательств этого пока нет. В других случаях нет уверенности в том, что русские названия гор являются старыми (*Сабля*, *Колокольня*, *Заячьи Горы*), поскольку соответствующие объекты удалены от «чрезкаменных» путей и ни в форме, ни в семантике названий не содержатся указания на их архаичность. Исключение представляет собою название *Полюдов Камень* (басс. камской Вишеры), так как *Полюд* — древнерусское имя. Известен, например, новгородский боярин *Полюд*, живший в XIII в. [29]. Фамилия *Полюдов* распространена и сейчас в Пермской области. Там же есть и несколько деревень с названием *Полюдово*. Личное имя *Полюд* связано с древнерусским словом *полюдие* «сбор дани», диалектным *полюдный* «общительный, обходительный» (о человеке). Поэтому надо думать, что *Полюдов Камень* — старорусский топоним.

Наличие русской топонимии на старинных путях к Уралу и через Урал позволяет понять такое своеобразное явление, как появление русских по происхождению топонимов в печорских и ижемских говорах коми языка. Дело в том, что первые поселения коми на нижней Печоре относятся к XVI [30], а на средней Печоре — к XVII столетию [31], тогда как русские стали использовать печорские «чрезкаменные» пути в северное Зауралье еще раньше (путешествие по Оби упоминается под 1364 г., поход П. Ф. Ушатого и С. Ф. Курбского состоялся в 1499—1500 гг.).

Интересны предания щугорских коми, которые приводит Б. В. Безсонов, путешествовавший по Щугору в начале XX в.: «Овин-парма называется так потому, что тут на середине реки торчит огромный камень, напоминающий видом своим овин. Откуда взялось это название, ...сказать трудно, но некоторый свет... проливает часто упоминаемое... при рассказе указание времени: „Это еще когда тут русские рыбу ловили или охотились“» [32, с. 117]. В другом месте Б. В. Безсонов пишет о названии порога *Молебный-кось* «Молебный порог», что тут молились русские рыбаки, чтобы благополучно пройти порог («опять русское название, остаток тех времен, когда здесь были русские люди») [32, с. 121].

Показательны и названия крупных притоков Щугора, явно имеющие русское происхождение, а затем усвоенные коми: *Большой Паток* (коми *Ыджыд Патӧк*), *Малый Паток* (коми *Ичӧт Патӧк*), *Глубник*, *Торговая* (коми *Тӧргӧвӧй*), *Волоковка*. Выше Волоковки у Щугора уже нет крупных притоков, а небольшие речки имеют коми или мансийские наименования, так как русские в верховья Щугора не поднимались. Что касается названий небольших речек, а также порогов ниже Волоковки, то и среди них очень много русских по происхождению (ручьи *Семидырка*, *Пятидырка*, *Дурной*, *Молебный*, *Большой* и т. п.), причем они часто выступают в коми оформлении (ручьи *Дурнӧй-Ёль*, *Мертвӧй-Ёль*, пороги *Молебнӧй-Кось*, *Рублевӧй-Кось* и т. д.). В целом топонимия Щугора содержит явный старорусский «субстрат» и является настоящим памятником русским первопроходцам: «Русские названия впадающих в р. Щугор речек... как будто указывают, что тут когда-то была какая-то дорога, хотя по Щугору в настоящее время не существует никаких поселений» [33].

Системный анализ названий усинско-собского волока дает несколько иные результаты. Этот путь рано освоили коми, которые заселили бассейн Усы. Поэтому среди наименований крупных притоков Усы много прозрачных коми гидронимов типа *Адзва* «Луговая вода» и *Лӧмва* «Черемуховая вода». Однако и здесь сохранились этимологически прозрачные старорусские наименования двух крупных притоков Усы *Большая Роговая* и *Малая Роговая*. Названия эти были даны за находки бивней мамонта, которые привлекли внимание первопроходцев, основавших на берегу Усы *Роговой городок* (нач. XVII в.). Коми формы *Ыджыд Рӧгӧвӧй* «Большая Роговая» и *Лӧк Рӧгӧвӧй* «Малая Роговая» (букв. «Плохая Роговая») явно вторичны. В целом же старорусская топонимия усинско-собского волока раньше и интенсивнее стала перерабатываться коми, чем наименования щугорского волока, и потому сохранилась хуже.

Таким образом, при анализе топонимии Северного Урала выявляется ряд старинных русских названий, частью калек, частью представляющих собой собственно русские словообразования.

Это в свою очередь позволяет предложить русскую этимологию и для некоторых загадочных названий рек, например, гидронима *Собь*.

Название *Собь* (левый приток Оби) можно связать с коми-зырянским глаголом *собны* «брести (по снегу, грязи, воде)», тем более что известна и форма *Собва* [34]. Вместе с тем ненецкое название этой реки *Пад Яха* «Котомочная река» позволяет построить и другую версию. Дело в том, что ненецкое слово *пад* «мешок, котомка», и русские диалектные слова *собь* «все свое, имущество, пожитки», *собенька* «котомка» тождественны по значению. Поэтому русское название *Собь* можно рассматривать в качестве кальки с ненецкого, допуская, что на русской почве произошли утрата географического термина (*Собь-река* > *Собь*) и дальнейшее семантическое освоение топонима, в частности, его осмысление как «Собст-

венная», «Своя» река. На первый взгляд, такая семантика нехарактерна для топонимии, в действительности же она обычна: в картотеке топонимической экспедиции Уральского университета отмечено болото *Свое* (в Архангельской и Костромской областях), можно вспомнить и *Собственный сад* (*садик*) в парках Павловска и Гатчины в окрестностях Ленинграда.

Русские этимологии могут быть предложены и для некоторых других «темных» названий Северного Урала (*Елец*, *Подчерем* и т. п.).

Естественно задать вопрос, почему на «чрезкаменных» путях Северного Урала возникали русские названия, а местная иноязычная топонимия ненецкого и обско-угорского происхождения почти не сохранилась? И почему эти русские названия закрепились в среде ижемских и печорских коми?

Дело, очевидно, в том, что первоначально русские осваивали печорские волоки в ходе военных походов в Югорскую землю. Условия конфронтации не способствовали сколько-нибудь систематическому заимствованию местных названий у коренного населения — Югры и Самояди. Напротив, коми заимствовали русские названия в процессе мирных контактов — в ходе совместного с русскими освоения Северного Урала, что и объясняет сложившуюся на «чрезкаменных» путях своеобразную топонимическую ситуацию.

Структурную и семантическую специфику как севернорусских, так и уральских топонимов не следует преувеличивать, тем не менее в определенных случаях она может быть использована для обнаружения архаических названий, не зафиксированных в памятниках письменности. Выявление корпуса таких названий на Севере и на «чрезкаменных» путях в Сибирь важно с историко-лингвистической точки зрения и вместе с тем подготавливает почву для обнаружения старорусских названий XVII в. на обширной территории Сибири, пути освоения которой русскими достаточно хорошо известны. В самых различных отношениях актуален и поиск гнезд русской топонимии, воспринятой местным нерусским населением в процессе ассимиляции отдельных групп русских первопроходцев или, как это было на Северном Урале, в результате изменения торговых путей и зон хозяйственной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кашина Н. П.* Диалектные и архаические черты в топонимии Белозерья // Системные отношения в лексике севернорусских говоров. Вологда, 1982.
2. *Витов М. В.* Севернорусская топонимия XV—XVIII вв.// ВЯ. 1967. № 4.
3. *Симина Г. Я.* Географические названия (По материалам письменных памятников и современной топонимики Пинежья). Л., 1980.
4. *Чайкина Ю. И.* Из истории топонимии и антропонимии Устюжского и Тотемского уездов (по материалам деловой письменности XVII—XVIII вв.) // Вопросы ономастики. Свердловск, 1982.
5. *Варникова Е. Н.* Из истории ойконимии Тотемского уезда // Системные отношения в лексике севернорусских говоров. Вологда, 1982.
6. *Житников В. Ф.* Древнерусская лексика подсечно-огневого земледелия в топонимике Архангельской и Вологодской областей // Вопросы топономастики. Вып. 2. Свердловск, 1965.
7. *Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1963. С. 32.
8. *Матвеев А. К.* Взаимодействие языков и методы топонимических исследований // ВЯ. 1972. № 3.
9. *Борек Г.* К проблеме восточнославянских топонимов на *-ица* // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы. М., 1979.

10. *Vasmer M.* Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung. Berlin, 1941. S. 22—25.
11. *Подольская Н. В.* Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ. М., 1983. С. 16—31.
12. *Герберштейн С.* Записки о Московитских делах. СПб., 1908.
13. *Идес И. и Бранд А.* Записки о русском посольстве в Китай (1692—1695). М., 1967. С. 54.
14. *Лепехин И. И.* Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. Ч. 4. СПб., 1805. С. 274.
15. *Ларин Б. А.* Русско-английский словарь Ричарда Джемса 1618—1619 годов. Л., 1959.
16. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 5. М., 1978. С. 189.
17. *Шренк А. И.* Путешествие к северо-востоку Европейской России. СПб., 1855. С. 1959.
18. *Случевский К. К.* По северу России. Т. 1. СПб., 1886. С. 366.
19. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1964. С. 488.
20. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971.
21. *Зубов Ю. М.* Поездка по Вологодской губернии. Вологда, 1911. С. 13.
22. *Варбот Ж. Ж.* Древнерусское именное словообразование. М., 1969. С. 75.
23. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Миграция племен — носителей индоевропейских диалектов с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ, 1981. № 2. С. 28.
24. *Агеева Р. А.* Происхождение имен рек и озер. М., 1985. С. 78—79.
25. *Сороколетов Ф. П.* История военной лексики в русском языке. Л., 1970. С. 260—262.
26. *Лебедев Д. М.* Очерки по истории географии в России XV—XVI веков. М., 1956. С. 64—68.
27. Книга Большому Чертежу. М. — Л., 1950. С. 162.
28. *Кастрен А.* Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири. М., 1860. С. 176.
29. *Веселовский С. Б.* Ономастикон. М., 1974. С. 253.
30. *Сахарова М. А., Сельков Н. Н.* Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 1976. С. 4.
31. *Сахарова М. А., Сельков Н. Н., Колегова Н. А.* Печорский диалект коми языка. Сыктывкар, 1976. С. 3.
32. *Безсонов Б. В.* Поездка по Вологодской губернии в Печорский край и будущим водным путем на Сибирь. СПб., 1909.
33. *Сибиряков А. М.* О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами. СПб., 1907. С. 120.
34. *Полунин Ф. А.* Географический лексикон Российского государства. М., 1773. С. 254.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

СПИВАК Д. Л.

ЛИНГВИСТИКА ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМА ТЕКСТА

Лингвистика измененных состояний сознания представляет собой новую отрасль отечественного языкознания, принципы построения и методы исследования которой перенимаются в настоящее время смежными отраслями наук о мышлении. Методологической доминантой их является изучение человека как целостной, внутренне единой научной проблемы, возникающей при сложном взаимодействии социальных, биологических и системно-информационных факторов [1]. Частью такого подхода стало теоретическое осмысление не только обычных, нормальных для данного социума условий существования человека, складывающихся из общественно-целесообразных экологических, информационных и поведенческих стереотипов, но и условий необычных, где эта система как-то нарушается. Углубление научно-технической революции, предполагающее массовое освоение новой техники, интенсификацию процессов производства, усиление информационных потоков приводит к расширению места необычных условий в общественно-полезной деятельности и обычной жизни людей. Таким образом, присущие пребыванию в необычных условиях особенности отражения объективной реальности могут стать актуальным фактором общественного сознания [2].

При попадании в необычные условия существования начинается длительный, сложный процесс перестройки (привыкания, адаптации), в конечном счете приводящий к восстановлению привычного состояния сознания. Адаптация является многоступенчатым процессом, представленным многими типами в зависимости от характера и степени нарушения исходных стереотипов [3, с. 53—54]. Все типы адаптации обеспечиваются не вполне обычными с точки зрения нормы (измененными) состояниями сознания, которые тем не менее являются единственно общественно-приемлемыми в данных условиях. Обобщение такого подхода приводит к концепции сознания как поля, континуума состояний, каждое из которых выступает как нормальное для определенного типа необычных условий существования, естественных и уместных для обеспечения соответствующего типа адаптации.

Являясь ведущей составляющей сознания, языковое мышление в полной мере определяется общественным бытием. Важным следствием из такого положения, принятым в языкознании, является сложная и опосредованная, однако закономерная связь законов и форм языкового мышления с характером объектов и отношений, детерминирующих структуру общественного сознания [4]. Естественным было бы ожидать и отражения измененных состояний сознания в структуре этих законов и форм.

На основании проведенного по специально разработанной программе массового обследования речи около полутора тысяч человек при всех типах измененных состояний сознания (это значительно превосходит охват

даже наиболее репрезентативного обследования в этой области, совместно предпринятого учеными пяти европейских стран и США [5]) было показано наличие в языке ряда отчетливо различающихся по лексико-грамматической структуре глубинных языковых слоев. Существование этих слоев, играющих важную роль в языковой деятельности — в неявном виде при обычных условиях и в явном виде при необычных условиях существования,— составляет предмет лингвистики измененных состояний сознания [6].

Вместе с тем присущие глубинным уровням языка универсалии, известные науке, охватывают единицы, не превышающие предложения. Этого достаточно для учета такой важной функции языка, как коммуникативная, но недостаточно для изучения сверхфразовых единств. Задачей настоящей статьи является разработка методов анализа текстовых структур, обусловленных измененными состояниями сознания.

Основу нашего исследования составит выведение определенной лингвистической концепции на основе последовательного анализа слоев языка, поочередно становящихся поверхностными по мере углубления измененного сознания. В систематической форме этот принцип используется лишь советским направлением лингвистики измененных состояний и психолингвистики [7]. Д. Блур объясняет тяготение к многоуровневым построениям особенностями историко-культурного характера, характерными лишь для нашей страны [8]. В общекультурном плане с Д. Блуром трудно согласиться,— впрочем, ведение дискуссии здесь потребовало бы выхода в область социальной психологии. В том же, что касается наук о мышлении, такой подход действительно является у нас общенаучной парадигмой. В самом деле, многостороннее изучение человека средствами ряда наук предполагает совмещение обнаруженных ими качественно различных принципов функционирования сознания, а целостность изучения требует установления порядка в этом сложном взаимодействии социальных и биологических закономерностей. Особое положение языка, стоящего на пересечении последних, обусловливает ведущую роль лингвистики во взаимном соотнесении составляющих комплекса наук о мышлении.

Почему же, несмотря на столь очевидные преимущества, многослойный подход не был принят в зарубежной науке о языке? Самый сжатый ответ на этот вопрос предполагает сопоставительное изучение основных принципов главных направлений лингвистики измененных состояний — советского и американского. Последнее будет рассмотрено на основе работ ведущего теоретика этого направления профессора Мэйнского университета К. Мартиндейла.

Исходной точкой всех исследований в этой области явилось большое количество накопленных наукой эмпирических наблюдений. По мере усиления действия на организм лекарственных средств или, скажем, алкоголя, физиологические параметры отчетливо проходят ряд стадий. Что касается речи, то ее спутанность и неясность обычно усиливается, что дало многим ученым основание говорить о возможности существования неких параллелей таким стадиям и в языке [9; 10, с. 332].

Дальнейшая разработка этого круга идей оказалась различной. Так, теория психоанализа, которой придерживались американские лингвисты, в принципе не допускает различения каких-либо ступеней языка и сознания. Как подчеркивал З. Фрейд, «...указание на ряд степеней сознания не содержит в себе ничего обязательного... Эти положения в известном отношении могут быть и содержательными, но практически они непригодны» [11]. От этого постулата фрейдизма американское направление

отказалось, однако вытекающее из него положение о ведущем значении для теории языка и внутреннем единстве всех отклонений от его нормы (от оговорок и детского языка до речи афатиков и шизофреников) было сохранено [10, с. 331—332, 350—352]. Напротив, советское направление опирается, как отмечал Л. А. Орбели, на присущий павловской традиции «принцип замещения нарушенной эволюционно молодой функции более старой, в обычных условиях заторможенной или упрятанной» (цит. по [3, с. 46]). Нет нужды доказывать, что в этом контексте различные проявления языка совершенно естественны и органично связаны с послойным воздействием биологических и социальных факторов. Кроме того, этот подход позволяет лингвисту сосредоточиться лишь на нормальных, действительно многослойных общественно-целесообразных состояниях.

Наиболее эффективным средством лексико-грамматического описания языка при измененном сознании американское направление считает лингвостатистику. Лексика просматривается здесь через численные характеристики склонности к употреблению слов, относимых психоанализом к глубинным слоям (*тень*, *толпа*, *глаз*, *пот*, *грязный*), а грамматика — через частоту относимых к этим слоям служебных слов и местоимений (*как*, *потому что*, *я*) [12].

Признавая важность лексико-семантического описания единиц, составляющих крупные подсистемы языка, современная теоретическая лингвистика подчеркивает необходимость выявления связей между ними, определяемых на каждом уровне сложным взаимоотношением типа, системы и нормы [13]. Непременным свойством процедуры выделения инвариантов языка является вскрытие многоплановых взаимоотношений между звучанием, значением и функцией [14]. Поэтому в теоретический арсенал советского направления был включен ряд методов одновременного анализа синтаксиса, морфологии и лексики.

Применение этого подхода позволило обнаружить интересную, не запланированную априори закономерность. Она состоит в том, что по мере углубления измененного сознания внешние вероятностно-информационные процессы языка протекают равномерно, монотонно, а внутренние, функциональные процессы — ступенчато, т. е. на время приостанавливаются, а затем сразу переходят на следующий уровень. Видимо, однонаправленные нарушения старой структуры должны стать достаточно частыми, чтобы их количество перешло в качество новой языковой структуры следующего слоя. (К внешним мы относим процессы типа роста числа глаголов с модальным значением или уменьшения средней длины предложения; к внутренним — процессы типа использования модального глагола с инфинитивом в составном глагольном сказуемом или роста числа номинативных односоставных предложений. Примеры разных типов ступенчатых переходов между слоями языка см. в [6, с. 26, 51; 15]). Функциональный подход и особенно синтаксические методы практически не используются американским направлением. Поэтому многочисленные, часто нетривиальные процессы, изученные представителями этого направления, оказались структурно однородными, так что речи о слоях сознания быть не может [16]. Сказанное позволяет утверждать, что обнаружением и обоснованием строения глубинных слоев языка советское направление обязано не случайным причинам, но прежде всего весьма глубоким, общим для ученых нашей страны общефилософским и теоретико-лингвистическим принципам [1].

[1] В ходе научной переписки проф. К. Мартиндейл определенно высказался в пользу плодотворности диалектико-эволюционного подхода к языку и роли синтаксических

Полученные результаты не исчерпывают возможностей послойного анализа. При лексико-грамматическом описании основных глубинных уровней русского языка нами были намечены контуры грамматики и словаря каждого из них. При этом выяснилось, что отдельные грамматические конструкции «нормального» языка сохраняют связь с тем из слоев сознания, на котором она образовалась при фило- и онтогенетическом развитии. Исследование переходов между слоями доказало, что при восприятии речи каждая конструкция путем последовательного перевода передается «своему» слою и лишь там обрабатывается. Следовательно, если построить речь из лексико-грамматических структур, принадлежащих исключительно определенному глубинному уровню языка, то и будет активизирована деятельность только этого уровня сознания.

Отсюда следует, что для сознания в принципе безразлично, под влиянием какого раздражителя (физического, речевого или какого-либо другого) осуществляется переход на некоторый глубинный слой. Как подчеркивал И. П. Павлов, «слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет и потому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражения» [17].

Где же могут оказаться полезными тексты, ориентированные на определенные слои сознания? Во-первых, это сфера массовой информации. Здесь важна проблема наиболее эффективного текста рекламы, лозунга или радиосообщения о приближающемся стихийном бедствии, где нужно передать сведения быстро и очень доходчиво, но не создавая паники [18]. Во-вторых, это ключевой для промышленности и транспорта труд операторов. Для него обычны исключительная интенсивность, перегруженность быстро меняющейся информацией и шумовым фоном, высокая ответственность. Для общения друг с другом или с ЭВМ операторы нуждаются в приспособленном для необычных условий варианте естественного языка. В-третьих, это интенсивное обучение языку, не только иностранному, но и языку межнационального общения, столь важному, скажем, для представителя национального меньшинства, прибывшего на крупную стройку.

Лингвисты уже приступили к решению некоторых из этих проблем. Так, ведущим коллективом, работающим в области инженерной лингвистики, смоделирован подъязык для общения оператора и машины «ТАНД» [19]. Другой группой ученых успешно внедрен в работу операторов радиоэлектронных и электроавтоматических средств подъязык «ЯЗЭД». Хотя оба эти подъязыка разрабатывались с различных позиций, в их построении можно найти много черт, определенно связанных с послойными структурами. Кроме того, послойный подход вошел на правах одной из теоретических предпосылок, например, в построенную казанскими лингвистами систему ускоренного обучения языку [20]. Все это говорит в пользу внедрения послойного подхода, тем более, что, как отмечалось в широкой печати, все три сферы входят в «социальный заказ» лингвистики [21].

Особую перспективность для практического применения лингвистики измененных состояний представляет психотерапия. Ее действенность целиком зависит от влияния на глубинные слои сознания пациента, и ин-

---

методов его исследования (письмо к автору от 12.III.1985). Если эти положения найдут дальнейшее развитие в научных публикациях возглавляемого им направления, отмеченные выше расхождения в основном останутся в прошлом.]

струмент для этого есть лишь один — слово врача. Усилиями поколений психотерапевтов и пациентов, действовавших методом проб и ошибок, здесь были «нащупаны» наиболее «эффективные» виды текстов, составляющих сейчас своеобразную ветвь филологических знаний, пока не привлекшую внимания лингвистов (ср. [22, 198—204]). В известной части этих исследований послойные структуры употребляются бессистемно, не более упорядоченно, чем в родственных микрожанрах (например, в колыбельных) или при описании сильных аффектов в поэзии [2]. Наряду с этим практика подсказала одну исключительно строгую форму организации текстов, на эффективности которой настаивают все психотерапевты. Речь идет о так называемых формулах самовнушения, достаточно известном, однако малоизученном лингвистами явлении, суть которого состоит в том, что на разных этапах аутогенной тренировки повторяется то же самое, но в разном, всегда упрощающемся грамматическом оформлении [„*Я очень хочу, чтобы мои руки* (*ноги и* т. д.) *стали тяжелыми* (*теплыми*)"] — „*Хочу, чтобы мои руки....*" „*мои руки...*" „*руки...*" (подробнее см. [22, с. 106—107]).

Сопоставив изменения, последовательно вносимые в формулы самовнушения при освоении его этапов, с изменениями, постепенно происходящими в структурах языка при прохождении слоев сознания [6, с. 38—43], можно говорить о принципиальном сходстве обоих процессов. Аналогичное сопоставление физиологических характеристик (ср. [22, с. 44—54, 110; 6, с. 30—31, 35]) позволяет считать это сходство доказанным. Таким образом, удается обнаружить, что существует небольшой класс основанных на послойности языка текстов. Сказанное дает возможность определить форму построения текстов, рассчитанных на целенаправленное и полное использование глубинных уровней языка и сознания в гуманных, общественно-полезных целях, как последовательность объединенных синтаксическим, морфологическим, фонетическим и семантическим параллелизмом предложений, каждое из которых основано на грамматических структурах определенного слоя языка. Для дальнейшего приложения и развития полученного определения необходимо выяснить степень его полноты, иначе говоря, ответить на вопрос: нужны ли еще какие-нибудь условия, чтобы оно выполнялось? Если таких дополнительных условий нет, то интересующие нас тексты — назовем их многослойными — закономерно появляются при слиянии общественно-принятой практики изменения сознания и риторики, т. е. являются типологической универсалией. Научный поиск в этой области облегчен тем, что этот процесс весьма богато документирован. Параллелизмы присущи любой литературе. Ценные наблюдения в области исторической и синхронной типологии параллелизма высказаны в трудах В. Ф. Шишмарева [23], А. Н. Веселовского [24], Д. С. Лихачева [25] и ряда научных коллективов [26]. Огромное разнообразие наблюдается и в исторически засвидетельствованных формах и методах изменения сознания, допущенных общественным мнением каждой

---

[2] Вспомним хотя бы «упоение в бою» в III песне пушкинской «Полтавы» («Бой барабанный, клики, скрежет, / Гром пушек, топот, ржанье, стон...») или отчаяние в знаменитом блоковском «Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет...». Присущие глубинным слоям цепочки номинативных предложений воспринимаются и, вероятно, были написаны вполне бессознательно. Впрочем, в одном случае описание промежуточного между сном и бодрствованием состояния А. С. Пушкин не только основывает на характерных для этого состояния структурах, но и озаглавливает: «Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы» [«Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня...» (пример указан Вяч. Вс. Ивановым)].

эпохи в свою культуру [3]. Надежной типологии здесь пока нет, однако присущий советской науке подлинно гуманный, целостный подход к проблеме человека во всей сложности его духовной жизни позволяет надеяться на скорые успехи в этой области.

Обратимся к анализу результатов работ недавно развитого в отечественной китаистике направления, основывающего свою интерпретацию текстов китайской классической философии на изучении параллелизмов. Исходной точкой работы ученых послужило то наблюдение, что высказав какую-либо мысль, автор древнего сочинения многократно, через равные промежутки текста, возвращался к ней почти в тех же словах. Рассмотрим такое построение на следующем содержательном примере: «Уважать — больших слуг-подданных (сановников). Как к частям тела относиться — к многочисленным слугам-подданным (мелким служилым). Как к детям относиться — к простому народу». Далее следует шесть далеких по смыслу и построению фраз, а затем читаем: «Если уважаются большие слуги-подданные, то в заблуждение введен не будешь. Если, как к частям тела, относиться к многочисленным слугам-подданным, то служилые в ответ проявят серьезное отношение к правилам поведения. Если, как к детям, относиться к простому народу, то все роды будут стимулированы». Еще через шесть не связанных с этим отрывком фраз читаем: «Полнота [штата] чиновников и возложение ответственности — вот чем стимулируются большие слуги-подданные. Вера, преданность и большое жалованье — вот чем стимулируются служилые. Соответствующими сезонам повинностями, легкими поборами — вот чем стимулируются все роды» (цит. по [28, с. 32—33]).

Первый из цитированных отрывков составлен тремя совершенно идентичными по грамматической структуре предложениями, в которые подставляются ключевые слова, описывающие главные объекты внимания автора — высший уровень общества в первой фразе, средний — во второй, и низший — в третьей. Во втором отрывке все это построение дословно повторяется, но каждое из простых предложений по очереди разворачивается в условный период. Новое усложнение тех же трех тем образует три параллельные фразы последнего отрывка. Выпущенные при цитировании отрывки поддаются совершенно аналогичному разложению, так что получающееся в итоге представление текста насквозь пронизано разнообразными параллелизмами, объединяющими и развивающими в строго определенном порядке сюжеты трактата.

Возможность такого, нелинейного, прочтения определенного класса текстов подтверждается совокупностью экстралингвистических свидетельств [29], а дополнительный анализ научной литературы позволяет утверждать, что именно в этой традиции изучение текстов сопровождалось выполнением детально разработанных дыхательных упражнений [30], позволяющих достигнуть ряда уровней сознания, и очень широким применением приводящих к тому же результату психофармакологических средств растительного происхождения ([31], указано Е. А. Торчиновым). Если учесть, что эти тексты не просто читались,— в них вживались деся-

[3] Хорошим примером служит история, может быть, самого полезного из измененных состояний — искусственно вызванного сна (наркоза) при хирургической операции (его языковые характеристики изучены ранее [6, с. 70]). Наркоз был открыт в эпоху эллинизма, разработан в десятках руководств — от Педания Диоскорида (I в.) до Теодорика Червийского (XIII в.). Около XVI в., однако, несмотря на страдания тысяч пациентов, наркоз был забыт так прочно, что в XVIII в. его пришлось изобретать заново [27].

тилетиями, по ним перестраивали внутреннюю жизнь,— то предположение, что здесь мы видим настоящие многослойные тексты, представляется не лишенным оснований.

Оставляя в стороне содержательные аналоги из возможно связанных с описанной традицией индийских [32, с. 287] и монгольских [26, с. 50 — 56] текстов, перейдем непосредственно к европейской многослойной традиции. На основании изучения обширной научной литературы предмета можно утверждать, что многослойные построения были известны эллинистической риторике и могли употребляться в небольших отрывках текста, посвященных описанию структуры личности или мира. По-видимому, единственным средством изменения сознания служила сложная дыхательная техника, применяемая при фонации текстов, освоение которой было непременной частью риторского образования.

В дальнейшем многослойная традиция получила развитие в латинской средневековой литературе и даже играла ведущую роль в риториках и поэмах таких видных теоретиков литературы и поэтов своего времени, как Хильдеберт Лаварденский, Матфей Вандомский, Джофруа Вэнсофский. Общее для них загадочное стремление пронизать разнообразными параллелизмами едва ли не весь текст уже привлекло внимание таких крупных медиевистов, как Э. Курциус, Ф. Рэби, Э. Фараль [32, с. 282—286; 33]. Известное развитие получила многослойная традиция и в славянских литературах, в основном в сочинениях таких мастеров «плетения словес» XIV—XV вв., как Евфимий Тырновский, Киприан и Епифаний Премудрый. Условия для научного анализа здесь особенно благоприятны, поскольку эти авторы придерживались исихазма [34], предписывавшего вне всякого сомнения самую разработанную в Европе того времени технику изменения сознания. Кроме того, тексты часто предварялись выполненным автором плетеным орнаментом, который, как обнаружено в отечественной славистике, служил читателю наглядным пособием для освоения сложной внутренней структуры «плетеного» текста [35]. (Примеры текстов и более подробное обсуждение см. в [36, 37].) Разумеется, что в пределах каждой литературной традиции многослойное прочтение входило в присущую ее текстам иерархическую структуру интерпретаций, полнота восприятия которой зависела от степени подготовленности читателя, безусловно уступая таким аспектам, как аллегорический (или, с другой стороны, метрический).

На основании сказанного представляется возможным утверждать, что изучение языкового мышления и сознания в целом по данным текстов вполне возможно не только в синхронном, но и в диахроническом плане, а результаты, получаемые средствами лингвистики измененных состояний органично соответствуют общим принципам и тенденциям развития отечественной науки о языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Человек как комплексная проблема (Материалы Всесоюзной конференции) // ВФ. 1983. № 12. С. 107.
2. *Лебедев В. И.* Особенности психической деятельности в измененных условиях существования: Автореф. дис. . . докт. мед наук. М., 1983. С. 34—38.
3. *Медведев В. И.* Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов Л., 1982.
4. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления М., 1971. С. 85.
5. *Dittrich A. et al.* Internationale Studie über veränderte Wachbewusstseinszustände (wissenschaftlicher Schlussbericht zum Nationalfondsprojekt № 1. 958-0.79). Zürich, 1982. S. 1.
6. *Спивак Д. Л.* Лингвистика измененных состояний сознания. Л., 1986.

7. *Spivak D. L.* Artificially induced altered states of consciousness (observations during insulin therapy) and their linguistic correlates // Human physiology. 1980. № 1—2.
8. *Bloor D.* The regulatory function of language. An analysis and contribution to the current controversy over the Soviet theory.— In: Psycholinguistics: developmental and pathological, ed. by Morton J. et al. Ithaca (New York), 1977. P. 84.
9. *Трауготт Н. Н.* О нарушениях взаимодействия сигнальных систем. М.— Л., 1957. С. 9.
10. *Martindale C.* The grammar of altered states of consciousness: a semiotic interpretation of aspects of psychoanalytic theory // Psychoanalysis and contemporary science. 1975. V. 4.
11. *Фрейд З. Я.* и Оно // Хрестоматия по истории психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х годов — середина 30-х годов XX в.) / Под ред. Гальперина П. Я., Ждан А. Н. М., 1980. С. 187.
12. *Martindale C.* Syntactic and semantic correlates of verbal tics in Gilles de la Tourette's syndrome: a quantitative case study // Brain and language. 1977. № 4. P. 235—237.
13. *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976. С. 23—24, 65.
14. *Солнцев В. М.* Вариативность как общее свойство языковой системы // ВЯ. 1984. № 2. С. 37—39.
15. *Spivak D. L.* Linguistic typology of artificially induced states of altered consciousness. I—II // Human physiology. 1983. № 1.
16. *Martindale C. et al.* The effects of psilocybin on primary process content in language// Confinia psychiatrica. 1977. № 20. P. 200.
17. *Павлов И. П.* Лекции о работе больших полушарий головного мозга // *Павлов И. П.* Полн. собр. соч. Т. IV. М.—Л., 1951. С. 429.
18. Современная идеологическая борьба и проблемы языка / Отв. ред. Дешериев Ю. Д. М., 1984. С. 143—144.
19. *Пиотровский Р. Г.* Инженерная лингвистика и теория языка. Л., 1979. С. 90—98.
20. Научные основы организации учебного процесса при ускоренном автоматизированном обучении иностранному языку. Ч. I. Казань, 1985. С. 13—14.
21. *Степанов Г. В.* Стихия языка в стихии споров // Лит. газета. 1984. 27 июня.
22. *Панов А. Г. и др.* Аутогенная тренировка. Л., 1973.
23. *Шишмарев В. Ф.* Этюды по истории поэтического стиля и форм / *Шишмарев В. Ф.* Избранные статьи. М.— Л., 1965. С. 15—177.
24. *Веселовский А. Н.* Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля. СПб., 1898. С. 9—20, 56.
25. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 169—176.
26. Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. М., 1978. С. 81, 130—139.
27. *Ellis E.* Ancient anodynes. L., 1946. P. 64, 137—140.
28. *Спирин В. С.* Построение древнекитайских текстов. М., 1976.
29. *Кобзев А. И.* О категориях традиционной китайской философии // Народы Азии и Африки. 1982. № 1. С. 47—58.
30. *Gruman G. A.* History of ideas about the prolongation of life // Transactions of the American Philosophical Society. 1966. V. 56. Pt. 9. P. 39—43.
31. *Needham J.* Clerks and craftsmen in China and the West. Cambridge, 1970. P. 316—339, 413.
32. *Curtius E.* European literature and the Latin Middle Ages. Princeton, 1973.
33. *Raby F. A.* History of secular Latin poetry in the Middle Ages. V. I. Oxford, 1934. P. 78, 326—327.
34. *Лихачев Д. С.* Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. М., 1958. С. 45.
35. *Коновалова О. Ф.* «Плетение словес» и плетеный орнамент конца XIV в. (к вопросу о соотношении) // ТОДРЛ. 1966. № 22. С. 101—111.
36. *Спивак Д. Л.* Многослойный текст (цзин) как типологическая универсалия // XVI научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1985. С. 225—230.
37. *Спивак Д. Л.* Типологические характеристики каноничных текстов (цзин) // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока: Тез. докл. XII научн. конф. Ч. II. М., 1986. С. 377—383.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ЖУКОВА Т. В.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ В ПАРАДИГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ СЛОВ С НАИБОЛЕЕ ОБЩИМИ ЛЕКСИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

Термин «наиболее общие лексические значения» введен в отечественную лингвистику Д. Н. Шмелевым для значений таких слов, как *существовать*, *делать*, *перемещаться*, *живой*, *движение*, *вещество* и т. п. [1, с. 154]. Им же обоснована необходимость изучения специфики данного типа семантики, в частности в парадигматическом аспекте, для создания типологии лексических значений [1, с. 143—155].

Вопрос о различных типах лексических значений впервые в общем плане, по свидетельству Д. Н. Шмелева [1, с. 137], был поставлен В. В. Виноградовым [2]. Д. Н. Шмелев же впервые в лингвистике дал истолкование учения В. В. Виноградова о типах лексических значений, указав, что В. В. Виноградов при разграничении типов лексических значений, помимо отражения словом действительности, «исходил не только из особенностей сочетаемости различных групп слов, т. е. синтагматических отношений», как принято в науке считать, «но и из парадигматических связей, определяющих сферу употребления каждого отдельного слова. Так, им были выделены прямые (или основные) номинативные, производно-номинативные и экспрессивно-синонимические значения слов» ([1, с. 137]; см. также [3]). Однако и после выхода работ Д. Н. Шмелева традиция истолкования теории лексических значений В. В. Виноградова как имеющей только два параметра — отношение к обозначаемому предмету действительности и синтагматические связи слов — продолжается. Представляется целесообразным сопоставить в этом плане две трактовки теории лексических значений В. В. Виноградова — Д. Н. Шмелева и Н. Д. Арутюновой. По мнению последней, «суть концепции В. В. Виноградова состоит в двоякой классификации значений: по принципу отношения к обозначаемому объекту действительности (прямое номинативное — производное номинативное — экспрессивно-стилистическое значения) и по признаку синтагматического поведения в рамках словосочетания и предложения (свободное, фразеологически связанное, функционально-синтаксически ограниченное и конструктивно-обусловленное значения)» [4].

Показательно, что рассматривая один и тот же ряд значений: прямое номинативное — производное номинативное и экспрессивно-стилистическое значения,— ученые относят его к разным параметрам классификации В. В. Виноградова. Д. Н. Шмелев пишет о парадигматическом аспекте, Н. Д. Арутюнова — об отношении к обозначаемому объекту действительности.

Представляется, что оба ряда классификации лексических значений В. В. Виноградова — 1) прямые (или основные) номинативные, производно-номинативные, экспрессивно-синонимические и 2) свободные, фразео-

логически связанные, функционально-синтаксически ограниченные, конструктивно обусловленные значения отражают одновременно два аспекта исследования семантики лексических единиц: внутрисистемные отношения между словами и — как результат названного аспекта изучения — отношение лексических значений слов к обозначаемому объекту действительности, так как парадигматические и синтагматические связи между лексическими единицами в конечном счете отражают внеязыковую действительность. Поэтому естественно, что выделенные В. В. Виноградовым ряды значений допускают истолкование как с точки зрения внутрисистемных отношений между словами, так и с точки зрения соотношения языковых единиц с внеязыковой действительностью. Однако, думается, более последователен в понимании концепции В. В. Виноградова Д. Н. Шмелев, рассматривающий оба ряда значений с одной и той же точки зрения, а именно в аспекте внутрисистемных отношений между языковыми единицами. Н. Д. Арутюнова же, по нашему мнению, при истолковании принципов классификации лексических значений В. В. Виноградова противопоставляет друг другу разнородные планы изучения лексической семантики, присутствующие в классификации В. В. Виноградова. Это противопоставление заключается в том, что первый ряд значений (прямое номинативное — производное номинативное — экспрессивно-стилистическое значения) соотносится ею непосредственно с внеязыковой действительностью, а второй ряд (свободное, фразеологически связанное, функционально-синтаксически ограниченное и конструктивно-обусловленное значения) — с внутриязыковыми отношениями между значениями.

Развивая вопрос о парадигматической обусловленности лексических значений, Д. Н. Шмелев утверждает, что основой парадигматической типологии лексических значений являются отношения, существующие между членами различных лексико-семантических парадигм, и осуществляет парадигматическую классификацию лексических значений на этой основе [1] [1]. Вместе с тем он отмечает, что классификация лексических значений не может приобрести более или менее завершенного вида без учета еще целого ряда парадигматических признаков [1, с. 143] [2]. Таковыми являются, в частности, дифференциальные семантические признаки у различающихся по «конкретности» групп слов, а следовательно, пределы их реальной парадигматической сопоставленности. К лексическим группам, подлежащим истолкованию с учетом названного признака, Д. Н. Шмелев относит слова с наиболее общими лексическими значениями [1, с. 145] [3].

Существующие определения слов с наиболее общими лексическими значениями в плане парадигматических отношений разнообразны с точки зрения используемых концепций, а также адекватности этих последних исследуемому материалу.

Ю. Д. Апресян рассматривает слова с интересующей нас семантикой при разработке общих принципов дистрибутивно-трансформационной методики компонентного анализа [5] [4]. Как известно, суть этой методики заключается в том, что использование дистрибутивных и трансформационных операций дает исследователю возможность построить иерархическую

[1] См. главу, посвященную парадигматическим отношениям в лексике.

[2] В данном случае имеется в виду классификация вообще, а не только парадигматическая.

[3] Ср. также: «Исследование в этом плане разных групп лексики... может дать важный материал для более полной классификации лексических значений слов» [1, с. 145].

[4] Автор не употребляет особого термина для определения лексических значений этого типа слов.

систему классов эквивалентных лексем и тем самым в итоге произвести компонентный анализ значений лексем, так как в ходе построения иерархии значения лексем автоматически разлагаются на составляющие семантические компоненты. Все семы, определяющие тот или иной класс, могут быть приписаны любой входящей в него лексеме. При этом определения лексем не будут исчерпывающими, т. е. не позволят отличать друг от друга две лексемы одного и того же конечного класса. Исследователь получает значение с точностью до класса (может быть, с точностью до синонимически-антонимического ряда), но не получает его с точностью до слова.

Однако, как показывает исследование Ю. Д. Апресяна, существуют лексемы типа *делать*, *иметь*, *брать*, *давать*, *двигаться*, *действовать* и т. п., содержание которых будет исчерпано набором семантических компонентов, характеризующих класс иерархии [5, с. 159—161] [5].

Итак, Ю. Д. Апресян получает определение наиболее общих лексических значений на уровне выделения лексико-семантических групп слов, так как характеристика класса эквивалентных лексем методом компонентного анализа является одновременно определением наиболее общего лексического значения.

Иное парадигматическое определение наиболее общих лексических значений дает Д. Н. Шмелев. Оно состоит в противопоставлении значений внутри уже выделенной лексико-семантической группы слов. По свидетельству Д. Н. Шмелева, содержание слов с наиболее общими лексическими значениями определяется «не дифференциальными в строгом смысле признаками; ср., значения слов *существовать*, *делать*, *перемещаться*, *живой*, *движение*, *вещество* и т. п. ...самые эти значения часто „совпадают" с семантическими элементами, выделяемыми в других, более сложных значениях (*бежать*, *идти*, *ползти*... — это „перемещаться определенным способом"» [1, с. 154—155; разрядка наша.— *Ж. Т.*].

Такого рода противопоставление указывает на отсутствие в наиболее общих лексических значениях дифференциальных семантических компонентов, на исчерпываемость этих значений одним различительным признаком, который является общим для всей группы значений. Д. Н. Шмелев выделяет данный признак в особый тип семантических признаков: «Значение слова *вещество* для нас столь же неразложимо на семантические элементы, так и значение слова *береза*, однако ясно, что эта „неразложимость" совсем иного рода, она обусловлена не отягощенностью слова индивидуальными, „предметными" признаками, а напротив, полным отсутствием таких признаков, преобладающей сигнификативной функцией слова. Поэтому, наряду с интегральными и дифференциальными семантическими признаками, есть основания различать категориальные семантические признаки, играющие совершенно особую роль в семантической организации лексики» [1, с. 155]. Представляется, что «набор» семантических признаков Ю. Д. Апресяна, характеризующих класс иерархии, соответствует категориальному признаку Д. Н. Шмелева. Ср. определение Д. Н. Шмелевым, например, такого семантического элемента, как «перемещаться определенным способом» [1, с. 154—155], и семантические компоненты Ю. Д. Апресяна, характеризующие класс иерархии, «действие», и «направленность», «объектная неориентированность» и др. [5, с. 161].

[5] Представляется важным отметить, что Ю. Д. Апресян подвергает компонентному анализу однозначные лексемы, т. е. если речь идет о многозначном слове, то отдельные его значения.

Компонентный анализ глаголов с наиболее общими лексическими значениями, адекватных объекту исследования, дан также О. Н. Селиверстовой для семантической группы *иметь*, *получать*, *принять*, *дать*, *взять*, а также конструкции *У меня есть* [6].

Если Ю. Д. Апресян определяет наиболее общее лексическое значение методом компонентного анализа на уровне выделения лексико-семантической группы, Д. Н. Шмелев — на уровне компонентного анализа значения внутри лексико-семантической группы, то О. Н. Селиверстова определяет данное значение при помощи того же метода на уровне разграничения значений полисемантического слова.

Как отдельные глаголы рассматриваемой О. Н. Селиверстовой группы, так и вся группа в целом характеризуется спецификой, которая обусловливает и особую методику компонентного анализа. Семантика данных глаголов позволяет найти «то общее, что стоит за всеми контекстными вариантами[6] этих глаголов, установить их собственный вклад в контекст» [6, с. 30; разрядка наша.— *Ж. Т.*].

Для всех значений глагола *иметь* и для конструкции «*У* X (*есть*) Y» и «X *имеет* Y» таким общим является информация «о наличии Y в том или ином пространстве, входящем в „существование" X» [6, с. 39]. Для всех же значений каждого из остальных анализируемых глаголов общим является признак включения Y в то или иное пространство, входящее в «существование» X [6, с. 39].

Как видим, общая информация, выделенная автором является общей не только для всех значений отдельных глаголов, но и для семантики всей группы анализируемых многозначных глаголов, т. е. инвариантна как на уровне многозначного слова, так и на уровне группы многозначных слов. Именно наличие такого рода общей информации, как было отмечено выше, и обусловливает специфический характер компонентного анализа слов с наиболее общей лексической семантикой, рассматриваемых О. Н. Селиверстовой.

Здесь особенно важно отметить, что, как представляется, О. Н. Селиверстова пользуется семантическим инвариантом, т. е. «тем общим, что стоит за всеми контекстными вариантами» [6, с. 30], привлекаемых для анализа глаголов как рабочим приемом, диктуемым спецификой лексической семантики выбранной группы словесных знаков. Ср., например, такое положение автора: «Хотя для удобства изложения мы ввели термин „существование X (Ex_3)", различные пространства, в которые может входить Y, не образуют единства» [6, с. 69; разрядка наша.— *Ж. Т.*]. В противном случае выделение семантического инварианта как в семантике многозначного слова, так и в пределах семантической группы слов было бы методологической ошибкой. Ср. положение О. Н. Трубачева: «Однако наряду с фикцией как рабочим приемом мы встречаемся и с фикцией как методологическим заблуждением. Такова, как нам кажется, идея инварианта в синхронной семантике и словообразовании» [7, с. 165]. Семантическим инвариантом на уровне рабочей фикции пользуются и при исследовании других областей языка. Например, в синхронном словообразовании данным понятием оперирует Э. Ф. Оливериус [8].

[6] Ср.: «Слово полисемантично или многовариантно, если информация, вносимая лексемой этого слова в разных контекстах, неодинакова. В настоящей работе мы не можем сформулировать в окончательном виде критерий, который позволял бы разграничивать отдельное значение и вариант значения...» [6, с. 26].

На первом этапе компонентный анализ проводится О. Н. Селиверстовой на уровне, инвариантном для многозначных слов, т. е. дифференциальные признаки различают между собой многозначные слова как целостные языковые единицы. Как отмечает автор, «значение выделенных глаголов, однако, не исчерпывается признаком „включение" Y в „существование" X. В значение каждого из этих г л а г о л о в входят и другие компоненты, которые ... устанавливают их различия по отношению друг к другу... Другие различия между анализируемыми г л а г о л а м и... чаще всего связаны с тем, определяется ли включение действием денотата подлежащего или же действием некоторой внешней по отношению к нему силы, а также направленностью включения» [6, с. 71—72; разрядка наша.— *Ж. Т.*]. Выявленные ею различия являются дифференциальными признаками на уровне многозначных слов в целом. Приведем одно из толкований О. Н. Селиверстовой: «Глаголы *взять*, *принять*, *дать* вносят информацию о том, что действие денотата подлежащего определяет включение Y в „существование" X-а. Напротив, глагол *получить* сообщает, что определяющим является действие некоторой внешней по отношению к денотату подлежащего силы» [6, с. 72].

Полученные на первом этапе компонентного анализа семантические характеристики многозначных глаголов как целостных единиц дают автору возможность перейти ко второму его этапу, цель которого состоит в выявлении значений полисемантических слов. Дифференциальными признаками в этом случае являются виды пространства, о нахождении в которых могут сообщать анализируемые глаголы, а также характер связи между X (подлежащим) и элементами пространства [6, с. 37]. Так, у глагола *иметь* на основе указанных дифференциальных признаков выделяются, например, среди других значений (контекстных вариантов) такие: «информация о наличии действия, осуществляемого X-ом или результата, продукта действия», «информация о наличии условия, объекта, которые X может использовать при осуществлении действий (информация о наличии элемента, „программирующего" действия X-а)» [6, с. 38], а у глагола *принять* — «информация о наличии действия или его результата в сфере „существования" производителя действия» [6, с. 83]; «информация о наличии объекта, одно из свойств которого есть отношение к другому объекту» [6, с. 106].

На этом компонентный анализ как таковой заканчивается. Разложение выделенных значений на дифференциальные семантические признаки О. Н. Селиверстовой не производится. Это согласуется с результатами исследований Ю. Д. Апресяна и Д. Н. Шмелева, в соответствии с которыми семантика исследуемых слов неразложима на дифференциальные признаки в общепринятом смысле.

До сих пор речь шла о методиках компонентного анализа, адекватных, с нашей точки зрения, исследуемому материалу при всем разнообразии их применения к словам с наиболее общими лексическими значениями. Представляется, что рассматриваемые далее методики компонентного анализа не являются адекватными интересующему нас виду лексического значения.

В науке существует мнение о наличии в составе наиболее общих значений, кроме архисем (общих сем родового значения) [7], потенциальных дифференциальных сем [11 с. 6] [8].

[7] Термин Б. Потье [9]. В отечественную лингвистику данный термин в указанном смысле ввел В. Г. Гак [10, с. 370].

[8] Термин «потенциальные семы» принадлежит В. Г. Гаку, который потенциальными называет семы, «отражающие побочные характеристики обозначаемого объекта» [10, с. 371].

Вопрос о правомерности выделения потенциальных (в другой терминологии — латентных [12, с. 264] или ассоциативных [13—15]) признаков в лексической семантике слова в науке однозначно не решен. Такого рода семы как компоненты значения выделяются В. Г. Гаком, В. Н. Телией и др. [10, с. 371; 12, с. 264]. По мнению же О. Н. Селиверстовой, ассоциативные признаки не входят в языковое значение, а только связаны с ним по ассоциации [6, с. 130].

Думается, что вопрос о существовании потенциальных сем как компонентов значения должен решаться в связи с вопросом об их актуализации, так как при актуализации может быть выявлена реальность языковой значимости.

В. Г. Гак считает, что в зависимости от ситуации любая из сем, находившаяся ранее в латентном состоянии, может актуализоваться. Так, по В. Г. Гаку, в высказывании *Сегодня мальчик впервые самостоятельно пришел из школы* в семантике глагола пришел актуализуется сема «самостоятельность действия» [10, с. 371]. С нашей точки зрения, наличие в предложении лексемы *самостоятельно* не дает возможности с полной уверенностью утверждать, что смысл «самостоятельность действия», передается глаголом, а не лексическим контекстом. Еще один пример В. Г. Гака. Во фразе *Сегодня он приехал из школы, а не пришел*, по его мнению, на первый план в глаголе пришел выходит сема «способ передвижения» [10, 371]. Действительно, данный смысл является основным в сообщении. Однако это может быть объяснено и лексическим контекстом, а именно противопоставлением глаголов.

В. Г. Гак выделяет потенциальные семы в лексическом значении слова вообще. Рассмотрим теперь существующую в науке методику выделения потенциальных сем в интересующих нас наиболее общих лексических значениях. Автор этой методики Т. С. Амелькина при выделении потенциальных сем в значениях глагола *делать* пользуется методом обратного перевода [11]. Она отмечает, что глагольной лексеме *делать*, например, в значении обобщенного действия при переводе на английский язык обычно ставится в соответствие глагольная лексема *to do*, также несущая семантический признак «действовать вообще». Однако, продолжает автор, помимо «глагольной» лексемы *to do*, глагольной лексеме *делать* в рассматриваемом значении могут ставиться в соответствие и другие английские глагольные лексемы, которые, кроме семантического признака «действовать вообще», несут еще и дополнительные дифференциальные семантические признаки, что дает возможность выявить в составе семемы обобщенного действия глагольной лексемы *делать* ее потенциальные дифференциальные признаки. Рассмотрим примеры Т. С. Амелькиной: *Вот бургомистр — он все сделает* и английское соответствие: *The Burgermester here will attend to it* [11, с. 7].

При переводе на английский язык вводится глагольная лексема *to attend*, которая при обратном переводе на русский язык дает глагольную лексему *заботиться, беспокоиться*, в результате чего в составе семемы обобщенного действия выделяется потенциальная сема «действовать, проявляя внимание, заботу». И второй пример. При переводе на английский язык русского. *Погоди. Не горячись! Можно все сделать тихо, по-хорошему!* вводится глагол *to arrange*, который при обратном переводе на русский язык дает глагольные лексемы *улаживать, устраивать, регулировать*, в результате чего в составе той же семемы обобщенного действия выделяется потенциальная сема «действовать для устранения спорных вопросов» [11, с. 8].

Однако, как нам представляется, английские глаголы *to attend* и *to arrange* являются переводами русских сочетаний *все сделать* и *сделать тихо, по-хорошему* соответственно, а не глаголов, входящих в эти сочетания. Если бы переводились на английский язык глаголы, а не сочетания, то при обратном переводе мы получили бы те же русские глаголы, что и в первоначальном русском тексте. Поэтому так называемые потенциальные семы, выявленные методом обратного перевода, являются по сути описанием внеязыковой ситуации, а в языке — лексического контекста и не входят в значение глагола как его компоненты. Видеть здесь разные потенциальные семы только потому, что в разных лексических контекстах нужны разные переводы,— это все равно, что различать в английском языке разные значения множественного числа из-за того, что *stone-s* «камн-и», а *island-s* «остров-а».

В данном случае перед нами определение изучаемого объекта не по его природным свойствам, а по методике, по единицам методического анализа. Предостережение против такого рода опасности мы находим, например, у А. А. Уфимцевой и О. Н. Трубачева [16, с. 32—33; 7, с. 158]. Так, А. А. Уфимцева среди областей исследования, распространение на которые методики компонентного анализа приводит фактически к подмене природных свойств семантики естественных языков метаязыковой семантикой, единиц языка — единицами описания, называет и семантическую синтагматику [16, с. 33].

Приведенные примеры выделения потенциальных сем показывают, что положительное решение вопроса о потенциальных семах как реальных компонентах наиболее общего лексического значения при существующей в науке аргументации невозможно.

Не представляется адекватным и определение в парадигматическом аспекте наиболее общих лексических значений на основе критерия взаимозаменимости слов в том смысле, в котором его использует Т. И. Новоселова [17, с. 73]. Автор выделяет внутри группы глаголов созидания целый ряд глаголов с обобщенным значением созидания: *производить, создавать, выпускать, вырабатывать, делать, изготовлять, выполнять, выделывать, готовить, мастерить, сооружать, устраивать* [17, с. 71]. По ее мнению, все они имеют обобщенное значение, так как состоят только из одного признака «цель действия» («создавать»). Подтверждением этого является их взаимозаменимость «с точки зрения способности обозначать одни и те же процессы. Они оказываются противопоставленными не по собственно смысловым признакам, а по возможности употребляться в различных условиях, ситуациях. Подобные глаголы образуют „стилистическую парадигму“» [17, с. 73; разрядка наша.— *Ж. Т.*] [9].

Однако способность обозначать одни и те же процессы не может быть свидетельством одинакового значения слов. Возможность наименования различными словами одного и того же явления действительности, по Д. Н. Шмелеву, может быть обусловлена следующими причинами: сами явления действительности обычно могут быть охарактеризованы с разных сторон; различие в наименовании того же предмета или явления бывает вызвано и различным его истолкованием; субъективные различия в оценке фактов также являются причиной применения к этим фактам разнородных наименований [1, с. 116—117]. Ср. также мнение по этому поводу Н. Д. Арутюновой: «Возможность по-разному именовать один

[9] О понятии «стилистическая парадигма» см. [18].

и тот же объект проистекает из возможности по-разному его о б о з н а ч и т ь, являющейся следствием множественности суждений, которые могут быть вынесены об одном объекте (лице или предмете)...» [19]. Д а и сама Т. И. Новоселова тот же критерий способности обозначать одни и те же процессы использует для объяснения функционирования глаголов с обобщенным значением созидания, по ее выражению, вместо конкретных глаголов созидания [20, с. 78].

Что же касается противопоставленности значений рассматриваемых глаголов, то основное различие между этими значениями, как кажется, заключается не в стилистике, а именно в смысловых дифференциальных признаках. Доказательством этого является невозможность взаимозамены рассматриваемых глаголов при определении значения слова. Ср. определение понятия взаимозаменяемости как основания, на котором зиждется понятие синонимии, Д. Н. Шмелевым: «Для того чтобы понятие взаимозаменимости приобрело более четкие очертания, необходимо определить его в связи с некоторыми собственно языковыми факторами, не зависящими от произвола говорящего и многообразия конкретных речевых ситуаций. Взаимозаменимость должна пониматься в таком случае не как в о з м о ж н о с т ь замены одного слова другим, а как н е о б х о д и м о с т ь такой замены, но, понятно, не в конкретных речевых высказываниях, где такого рода необходимости быть не может, а при определении значения самого слова» [1, с. 118].

При определении значений слов нет необходимости взаимозамены глаголов *выпускать* и *мастерить*, *изготовлять* и *выделывать*, *выполнять* и *сооружать*, *создавать* и *устраивать*. Или же объединим попарно с той же целью глаголы, имеющие, по свидетельству Т. И. Новоселовой, одинаковую стилистическую окраску, чтобы возможность взаимозамены не исключалась стилистической окраской (хотя в случаях толкования стилистически окрашенных слов в словарях употребляются стилистические пометы): *устраивать* и *делать*, *мастерить* и *изготовлять* или *выполнять* и *создавать*, *выполнять* и *вырабатывать*, *выполнять* и *производить*.

Этим, по-видимому, обусловлено и противоречие в работе [17], где автор вынужден признать, что «парадигматические отношения глаголов созидания с обобщенным значением н е и с ч е р п ы в а ю т с я п р о т и в о п о с т а в л е н н о с т ь ю в с т и л и с т и ч е с к о м п л а н е. Дифференциация некоторых из них идет в разных направлениях. Так, глаголы *создавать* и *выполнять* отличаются не только стилистическим оттенком, но и тем о с о б ы м к о м п о н е н т о м, к о т о р ы й п о д ч е р к и в а е т т в о р ч е с к и й х а р а к т е р называемых ими действий. Действия, обозначаемые этими глаголами, приводят чаще всего к возникновению чего-то важного, существенного в каком-то отношении» [17; разрядка наша.— *Ж. Т.*].

Представляется, что глаголы, значения которых Т. И. Новоселова определяет как обобщенное значение созидания, являются смысловыми синонимами с разной степенью синонимичности, и уже вторично некоторые из них различаются и стилистически. Необходимость понятия степени синонимичности вытекает из рассмотрения синонимии «...с точки зрения позиционной обусловленности значения, а соответственно — нейтрализации в определенных позициях противопоставления значений» [1, с. 118—119]. Степень синонимичности зависит от количества позиций нейтрализации противопоставления слов. Данное понимание явления синонимии ввел в науку Д. Н. Шмелев [1] [10].

[10] Глава, посвященная парадигматическим отношениям в лексике.

Таким образом, значения глаголов, характеризуемых как глаголы с обобщенным значением созидания, не исчерпываются одним смысловым признаком «создавать». По-видимому, нельзя говорить, что все они имеют одинаковое обобщенное значение созидания. Обобщенность значений рассматриваемых Т. И. Новоселовой глаголов созидания выявляется при сравнении их со значениями более конкретных глаголов созидания. Глаголы с обобщенными значениями могут употребляться для обозначения тех же действий, что и конкретные глаголы типа *строить*, *клеить*, *шить*, *плести*. По нашему мнению, следствием обобщенности значений глаголов является именно возможность их употребления для обозначения тех же действий, которые обозначаются конкретными глаголами созидания, а не их функционирование вместо самых различных глаголов созидания, как считает Т. И. Новоселова [20, с. 78].

Проблема «заместительства» как имеющая принципиальное значение для выявления специфики слов с наиболее общими лексическими значениями должна быть предметом специального рассмотрения.

Рассмотрение различных парадигматических определений наиболее общих лексических значений позволяет сделать следующий вывод. Наиболее общие лексические значения не содержат дифференциальных признаков в общепринятом смысле и являются чисто понятийными. Разные авторы определяют это содержание по-разному в зависимости от подхода к исследуемому материалу. Это компоненты, характеризующие класс иерархии, Ю. Д. Апресяна, категориальные признаки Д. Н. Шмелева, признаки, служащие для группового противопоставления, О. Н. Селиверстовой. С нашей точки зрения, приведенные определения относятся к одной и той же языковой действительности. Однако данное предположение требует доказательств. Дело в том, что если Ю. Д. Апресян, В. Г. Гак выделяют эти особые в отличие от дифференциальных признаки в значении любой лексической единицы, то, по Д. Н. Шмелеву, не все лексические единицы обладают категориальными, в его терминологии, признаками.

Если попытаться выделить возможные, согласно Д. Н. Шмелеву, виды слов по семантическому содержанию, с учетом того, что он выделяет три типа семантических признаков [1, с. 155], то мы, как представляется, получим: 1) слова, лексическое содержание которых состоит только из интегральных признаков. Д. Н. Шмелев называет их денотативами. «Отличие денотативов от единиц других семантических типов заключается... в том, что первым свойственны только интегральные элементы значения...» [1, с. 154]. Это такие слова, как *сосна*, *дуб*; 2) слова, лексическое содержание которых состоит из интегральных и дифференциальных признаков. «Устанавливая парадигматические отношения между ... словами *река*, *ручей*, *канал*, *озеро* и т. д., мы выделяем, естественно, в значениях этих слов не только дифференциальные элементы, но также и то общее, что их объединяет, а именно, компонент „водоем", который ... должен рассматриваться как нерасчлененный интегральный признак» [1, с. 154; разрядка наша.— *Ж. Т.*]; 3) слова, лексическое содержание которых состоит из категориальных и дифференциальных признаков. Это такие слова, как *бежать*, *идти*, *ползти* — «перемещаться определенным способом» [1, с. 154—155] (категориальный признак «перемещаться», дифференциальный — «определенным способом»); 4) слова, лексическая семантика которых состоит только из категориальных признаков. Эти слова с наиболее общими значениями [1, с. 154—155].

На наш взгляд, однако, первые два вида лексических значений, выделенные Д. Н. Шмелевым, также включают категориальные признаки.

В значение денотативов типа *сосна*, *дуб* входит признак «дерево», типа *река*, *ручей*, *озеро* — «водоем», об этом свидетельствует и высказывание автора о том, что объединение слов типа названий растений, животных, одежды, обуви, механизмов происходит на основе наличия у них «общего р о д о в о г о признака („растение", „животное", „орудие для...", „минерал" и т. п.)» [1, с. 150—151]. Д. Н. Шмелев определяет такого рода признаки как интегральные: ср., определение им признака «водоем» [1, с. 154]. Однако признанию признака «водоем» интегральным противоречит определение интегральных признаков самим Д. Н. Шмелевым как индивидуальных, «предметных» [1, с. 150, 153—154]. Один и тот же признак по отношению к одним и тем же словам (в приведенном примере *река*, *ручей*, *канал*, *озеро*) не может быть одновременно общим, родовым и индивидуальным, «предметным». Представляется целесообразным отличать комплекс нерасчлененных, интегральных признаков, образующих значение, например, слова *дерево* наряду с признаком «растение», от категориального признака «дерево», входящего наряду с нерасчлененными интегральными признаками в значение, например, слова *береза*. Наличие в языке категориальных признаков разной степени обобщенности (в данном случае «растение» и «дерево») подтверждается выделением В. Г. Гаком в значениях слов наряду с дифференциальными семами признаков, отражающих семантические категории разного уровня абстракции. Так, например, в значении глагола *приходить* им выделяются такие категориальные признаки (в его терминологии «архисемы»), как, с одной стороны, «действие», а с другой — «направление движения», «способ передвижения» [10, с. 370].

Итак, в значениях всех без исключения слов есть категориальные признаки. Подтверждает данное положение и следующее высказывание самого Д. Н. Шмелева: «При необходимости в е с ь словарный состав языка может быть представлен разбитым на определенные классы, образуемые пересечением именно категориальных признаков. При этом интегральные признаки будут балластом, который наслаивается на отдельные единицы полученных классов и подклассов лексики...» [1, с. 155; разрядка наша.— *Ж. Т.*].

Таким образом, нам представляются адекватными исследуемому материалу определения в парадигматическом аспекте слов с наиболее общими лексическими значениями Ю. Д. Апресяна (на уровне выделения лексико-семантических групп), Д. Н. Шмелева (на уровне компонентного анализа семантики слов внутри уже выделенной лексико-семантической группы), а также компонентный анализ на уровне разграничения значений полисемантического слова О. Н. Селиверстовой.

Думается также, что семантические признаки Ю. Д. Апресяна, характеризующие класс иерархии, категориальные признаки Д. Н. Шмелева и признаки, служащие для группового противопоставления слов, О. Н. Селиверстовой соответствуют друг другу и относятся к одним и тем же языковым единицам, а именно — словам с особым типом лексического значения (ср. положение Д. Н. Шмелева о полном отсутствии дифференциальных признаков у интересующих нас слов, преобладающей у них сигнификативной функции [1, с. 155]).

Специфика семантики слов с наиболее общими лексическими значениями, отмеченная в парадигматическом аспекте, дает основание говорить о возможности их выделения в особый разряд лексики при дальнейшей разработке парадигматической типологии лексических значений, а также при дальнейшем уточнении и дифференциации типов, намеченных в классификации лексических значений В. В. Виноградова.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
2. *Виноградов В. В.* Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953. № 5. С. 12—16.
3. *Шмелев Д. Н.* О типах лексических значений слова // Проблемы современной филологии. М., 1965.
4. *Арутюнова Н. Д.* К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 156.
5. *Апресян Ю. Д.* О понятиях и методах структурной лексикологии // Проблемы структурной лингвистики. М., 1962.
6. *Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
7. *Трубачев О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
8. *Oliverius Z. F.* Семантические правила порождения и интерпретации русских слов // Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistu. Varšava, 1973. Praha, 1973.
9. *Pottier B.* La définition sémantique dans les dictionnaires // Travaux de linguistique et de littérature. III. I. Strastourg, 1965.
10. *Гак В. Г.* К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
11. *Амелькина Т. С.* Слово в лексической системе языка (глагол «делать» в сопоставлении с английскими эквивалентами): Дис. ... уч. ст. канд. филол. наук. Воронеж, 1973.
12. *Телия В. Н.* Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологическая сочетаемость // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
13. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1969. С. 15.
14. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. С. 8.
15. *Селиверстова О. Н.* Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. С. 130.
16. *Уфимцева А. А.* Семантический аспект языковых знаков // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
17. *Новоселова Т. И.* Семантические признаки глаголов созидания. // Научн. тр. Новосибирского пед. ин-та. 1974. Вып. 109.
18. *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964. С. 137.
19. *Арутюнова Н. Д.* Номинация и текст // Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. С. 307—308.
20. *Новоселова Т. И.* Лексико-семантическая группа глаголов созидания в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1972.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КОВАЛЬ А. И.

О СУБСТАНТИВИЗАЦИИ И ПРОНОМИНАЛИЗАЦИИ В СВЕТЕ ДАННЫХ ЯЗЫКА С МНОГОКЛАССНОЙ СИСТЕМОЙ

0. Грамматически оформленные группировки имен существительных — одна из наиболее заметных и часто встречающихся структурных черт огромного числа языков, принадлежащих различным языковым семьям. Для обозначения таких группировок чаще других используют два термина — именные (согласовательные) классы и роды, причем одним из параметров, позволяющим эти термины типологически разграничивать, является количество грамматически оформленных субстантивных групп, свойственное данной языковой системе. Языки с малым числом субстантивных групп (две-три) обычно называют языками, имеющими род (или родовыми языками), а языки с бо́льшими наборами групп — языками с именными классами (или классными языками). Количество именных классов, образующих единую систему, может значительно варьировать от языка к языку. Те системы, которые включают более одного-двух десятков именных классов, могут быть обозначены как многоклассные или, в другой терминологии, громоздкие.

Специфика многоклассной системы рассматривается в этой статье на материале западноафриканского языка фула (аутолингвоним: *пулар-фульфульде*), принадлежащего западно-атлантической ветви нигеро-конголезской семьи языков. Среди африканских языков с именными классами (а возможно, и вообще среди классно-родовых языков) язык фула выделяется, по-видимому, максимально широким развитием системы классов. Даже в пределах одного диалекта может функционировать система, включающая до 25 именных (согласовательных) классов. Общая (наддиалектная) система по числу классов несколько больше, но вообще диалектные системы обнаруживают значительное сходство между собой, а различаются лишь частностями. Такая громоздкая классная система создает почву для развития некоторых специфичных черт в поведении грамматического показателя класса.

В фокусе внимания в настоящих заметках находятся те особенности функционирования классных показателей, которые позволяют по-новому взглянуть, в том числе и с типолого-теоретических позиций, на широко известные процессы субстантивации и прономинализации. Оба эти процесса — как субстантивация, так и прономинализация — манифестируются в фула через грамматический показатель класса. В одних случаях показатель класса выступает как морфема, регулярно занимающая суффиксальную позицию (например, в существительных и их атрибутах), в других случаях — выступает как особая словоформа (местоимение или артикль).

Разный морфологический статус грамматического показателя виден из следующих фразовых примеров (данные диалекта масина). (Класс NDI) *Pati soodu ndii ngaari pooyundi*, *ndi* (*yo*) *nayeeri* «Не покупай этого

худого быка, он (есть) старый»; (Класс КО) *Mi nàbii hùdo koo, ko(yo) yoorko* «Я принес траву (определенную), она (есть) сухая».

В контексте с существительными *ngaa-ri* «бык» и *hud-o* «трава», принадлежащими различным именным классам (NDI и КО, соответственно), употреблены формы, содержащие показатели этих классов — причастия *pooyu-ndi* (NDI), *yoor-ko* (КО), прилагательное *nayee-ri* (NDI), указательное местоимение *ndii* (NDI) субъектные анафорические местоимения *ndi* (NDI), *ko* (КО), артикль *koo* (КО) (употребление различных алломорфов показателя класса регулируется определенными, достаточно сложными морфонологическими правилами).

Общий набор грамматических показателей классов, естественно, соответствует числу классов в данной системе. Именно показатель класса является той морфологической единицей, через употребление которой достигается формальное выражение согласования с существительным, контролирующим синтаксическую связь. Нужно специально оговориться, что термин «согласование» в данном случае имеет более широкий смысл, чем это часто принято в употреблении. Если оставить в стороне случаи глагольного согласования, то наиболее общепринятое понимание согласования распространяется обычно лишь на атрибутивный тип синтаксической связи, реализующейся в синтагме, где формальные характеристики зависимого элемента определяются характеристиками вершинного элемента — существительного (например, в атрибутивных синтагмах «существительное + прилагательное») [1]. В случае развитой классной системы удобно в согласование включать также и анафорический тип связи, когда формальные свойства анафорической формы (например, субъектного или объектного местоимения) также определяются в зависимости от грамматической характеристики существительного-антецедента.

Ниже мы покажем, что правомерность такого объединения — атрибутивной и анафорической связи в общих рамках согласования — подкрепляется сходством поведения классного показателя в том и другом случаях.

1. При рассмотрении типа атрибутивной связи встает один важный вопрос, не имеющий в теоретическом языкознании однозначного решения, а именно — вопрос о содержательном соотношении категориального грамматического значения, выражаемого обоими участниками атрибутивной связи — контролирующим вершинным элементом, согласующим, т. е. существительным, с одной стороны, и зависимым элементом, атрибутом, с другой. Можно ли считать, что, например, в синтагме *скорый поезд* зависимый атрибут *скорый* содержит то же грамматическое значение, что и вершинный член — существительное *поезд*? В ответе на этот вопрос мнения лингвистов не совпадают. Одни авторы полагают, что категориальное значение присуще лишь согласующему, вершинному члену, в согласуемом же, зависимом члене оно преобразуется в категорию, имеющую лишь формально-синтаксическую значимость. Эта точка зрения отражена, например, в книге С. Д. Кацнельсона «Типология языка и речевое мышление», где формулируется, что категориальное значение, будучи содержанием согласующих, служит лишь предпосылкой для

[1] На подобном узком понимании согласования (в роде) настаивает автор недавней типологической работы [1], где и «местоименная соотнесенность, и артикль, и ряд других средств выражения категории рода» [1, с. 15] объявляются не имеющими отношения к согласованию.

согласования, в согласуемых же формах оно «деградирует до уровня компонента синтаксической формы» [2]. У других авторов этот вопрос решается принципиально иначе. Например, у А. А. Зализняка принимается, что «грамматическое значение прилагательного п о в т о р я е т грамматическое значение подчиняющего существительного» [3]. Решение, что зависимый член повторяет, копирует грамматическое значение согласующего, поддерживается тем фактом, что при субстантивации грамматические характеристики прилагательного «автоматически превращаются в одноименные характеристики существительного» [3].

Именно последняя точка зрения убедительно подтверждается данными языков с многоклассной системой.

В словаре фула мы обнаруживаем огромное количество лексических единиц, представляющих собой субстантивированные формы: они имеют формальную структуру атрибутивных форм — прилагательных («первообразных» или отыменных) и особенно часто причастий, — но могут быть введены в словарь как существительные, поскольку для них характерно автономное, а не только синтаксически связанное (атрибутивное) употребление. Хорошим примером могут служить разнообразные наименования коров по признакам масти, возраста и других свойств (диалект футаджаллон): *ran-e* «корова белой масти» (адъект. корень *dan-/ran-* «белый»), *bey-nge* «дойная корова» (от глагольной основы «давать приплод»), *huunoo-we* «корова, имеющая обыкновение мычать» (от глагола «мычать»), *didii-we* «двухлетняя телка» (от основы числительного «два») и многие другие подобные.

Как можно заметить, такой ряд представляет собой список существительных, обозначающих понятия, видовые по отношению к родовому *nag-ge* (класс NGE) «корова». С точки зрения их формально-смысловой структуры все эти слова состоят из основы (адъективной, глагольной и т. д.), специфицирующей какой-то конкретный признак (масть, возраст, свойство или способ поведения и т. д.), и суффиксального показателя класса NGE (здесь представлены его регулярные алломорфы), зависящего от классной принадлежности «родового» слова *nagge*. Классная принадлежность этого «родового» слова служит ключом, выявляющим классную мотивированность данного ряда субстантиватов; поэтому для подобных моделей было предложено такое «родовое» слово называть «ключевым словом», а подобный тип субстантивации — субстантивацией по ключевому слову [4].

Как можно интерпретировать процесс субстантивации по ключевому слову?

Если мы сопоставим, скажем, субстантивированную форму *ran-e* с именной атрибутивной группой, восполняющей ключевое слово, — *nagge ran-e* «белая корова», — то мы видим, что при элизии вершинного члена *nagge* его грамматические категориальные свойства передаются подчиненному, и теперь зависимый член группы начинает вести себя, как ее ядро. Субстантивированная форма, будучи включена в текст, автономна в том смысле, что она синтаксически не зависит от какого-либо существительного и сама обладает синтаксическими свойствами существительного — выполняет во фразе функции существительного, характеризуется сочетаемостью, свойственной существительному. Ср.: *mi soodi ran-e* «я купил белую-корову» и *mi soodi nag-ge* «я купил корову». Конкретная сочетаемость субстантиватов такого типа — та же, что и у любого другого существительного данного класса, ср. в диалекте масина: *ngee ran-e* (*yo*) *lobb-e*

«эта белая корова (есть) хорошая» и *ngee nag-ge* (*yo*) *lobb-ė* «эта корова (есть) хорошая». Субстантиват, в частности, может сопровождаться согласованным атрибутом, ср.: *mi soodi ran-e lobb-e* «я купил хорошую белую-корову» и *mi soodi nag-ge lobb-e* «я купил хорошую корову». Итак, *rane* — это теперь тоже существительное класса NGE, но с особой деривационной историей.

Однако здесь необходимо сделать еще одно, не менее важное наблюдение: с точки зрения своей семантики субстантивированные формы имеют ту особенность, что они включили в себя не только грамматическое, но и л е к с и ч е с к о е значение элидированного ключевого слова. В нашем примере это хорошо видно хотя бы по русским эквивалентам, где мы не можем передать лексического значения субстантиватов, не прибегая к слову «корова»,— т. е. к лексическому значению ключевого *nagge*.

Тем самым в субстантивации по ключевому слову мы обнаруживаем проявление стандартного речевого процесса конденсации смысла (или семантической конденсации), связанного с поисками более экономного способа номинации. Это свойство субстантивированных форм было отмечено, вообще, еще А. М. Пешковским, давшим настолько тонкий и глубокий анализ субстантивации, что он до сих пор требует все новых и новых обращений к наблюдениям этого ученого. А. М. Пешковский писал, что субстантивированное прилагательное «с л о в а р н о как бы вбирает в себя исчезнувшее существительное и начинает обозначать уже не только то, что оно обозначало раньше, когда было прилагательным, а еще и то, что обозначало это существительное». И далее: «При субстантивации прилагательного значение последнего суживается, и этим сужением и объясняется ненадобность для грамматической мысли существительного» [5, с. 161—162].

Это кажется удивительно верным по отношению к нашему материалу. Ведь поскольку лексическое значение ключевого слова уже по существу учтено в субстантивированной форме (через посредство классного показателя), то «восстановленное» словосочетание имеет в глазах носителя языка характер избыточного, неэкономного, плеонастического способа номинации (нечто вроде *nagge ran-e* «корова белая-корова»).

С другой стороны, проведенный под этим углом зрения анализ субстантиватов выявляет одну нетривиальную функциональную особенность морфологического классного показателя, используемого в субстантивированных формах. Если в атрибутивной синтагме классный суффикс с о о т н о с и т определение с вершинным существительным, то в случае субстантивации определения эта единица еще и з а м е щ а е т собою элидированное ключевое существительное. Следовательно, при субстантивации отмечается совпадение атрибутивной и анафорической функций показателя класса.

Словарь фула изобилует такими небольшими лексическими подсистемами, представляющими собой коллекции субстантивированных атрибутов, через показатель соотносящихся с ключевым словом-понятием. Так оформляются, например, названия сортов сельскохозяйственных культур (ср. фута-джаллонское *yaaw-ko* «скороспелый рис», собств. «быстрый — КО», *wum-o* «неочищенный рис», собств. «слепой + КО» при ключевом *maaro* «рис», класс КО), разновидностей орудий (к примеру, названия разновидностей палок по их виду или функциональному назначению, оформленных по классу NDU при ключевом *sawru nduu*), видов построек или животных по их отличительному признаку и т. п.

Каким образом такие формы анализируются слушающим, позволяя ему

соотносить каждую данную форму с ее референтом (денотатом)? Первоочередную роль здесь, конечно, играет общность апперцепции говорящего и слушающего, совпадение их предшествующего индивидуального опыта, что подкрепляется, с одной стороны, присутствием в субстантивированной форме классного показателя и, с другой стороны, контекстом. Но именно морфологический показатель класса является тем формальным элементом, который способствует успешной рестрикции, сужая множество возможных референтов до одного класса. В этом отношении фульская форма *ran-e* и ее русский эквивалент *бел-ая* отнюдь не идентичны, поскольку флексия *-ая* русской формы производит весьма слабую рестрикцию: множество возможных референтов включает огромную массу существительных женского рода. Суффикс же класса NGE сильно рестриктивен,— ведь класс NGE в фула включает всего несколько слов (не считая значительного числа субстантиватов), причем *nagge* «корова» — почти единственное слово этого класса, способное выступать в функции ключевого при субстантивации.

По поводу референциальной соотносимости субстантивированных форм А. М. Пешковский писал: «Можно сказать, что в прилагательном есть намек на предмет, и если предмет настолько известен, что одного намека достаточно, или если, напротив, он неизвестен, но говорящий и не хочет сделать его известным, а хочет только намекнуть на него, существительное опускается» [5, с. 155]. Так вот, при наличии системы, подразбивающей существительные на столь дробные множества, как в фула, этот «намек» на существительное намного сильнее, чем при трехродовой системе, как в русском (тем более, что в рамках каждого класса число слов, претендующих на роль ключевых, ограничено).

Отдавая должное «рестриктивной силе» суффиксального классного показателя, не следует, однако, недооценивать и роли лингвистического контекста — как морфологического, так и синтаксического. Значение м о р ф о л о г и ч е с к о г о контекста очевидно в случаях, когда субстантивированная форма включает корень с «необщим», специфическим значением. Например, адъективный корень *caaj-/saaj-* обозначает масть лошадей и коров, имеющих белые отметины — белые подпалины, белые ноги, белую звезду во лбу [2]. Узкая лексико-морфологическая сочетаемость этого корня позволяет без труда определить значение не только формы *saaje* NGE «корова с белыми отметинами», но и форм *caaju* NGU «конь с белыми отметинами», *caajiri* NDI «бык с белыми отметинами» [3]. Хотя в классах NGU и NDI имеется множество существительных (в том числе и неодушевленных), здесь верной рестрикции способствует морфологический контекст.

С и н т а к с и ч е с к и й контекст может иметь решающее значение в более сложных случаях, когда морфологические компоненты субстантивата характеризуются в семантическом отношении высоким уровнем свободы сочетаемости. К примеру, взятая вне контекста форма *ool-i* состоит из адъективного корня *ool-* «желтый» и показателя класса множест-

[2] Исходное значение корня, по-видимому, требует уточнения, поскольку истолкования разных употреблений не совсем совпадают,— например, высказываются разные мнения о локализации отметин на теле животного.

[3] Данные примеры показывают, что, строго говоря, суффиксальный показатель не является единственным средством маркировки класса в именной форме; тем же целям служат и чередования начальных согласных корня (здесь *s/c*). Разрабатываемая в статье тематика, однако, не требует с необходимостью вхождения в морфонологические детали, тем более, что ступень начального корневого согласного в определенном смысле дублирует информацию, сообщаемую классным суффиксом.

венного числа 'DI (алломорф-i). Употребленная в атрибутивной синтагме, она может связываться с любым существительным класса 'DI: *dawaadi ooli* «желтые собаки», *kudi ooli* «желтые травы», *na'i ooli* «желтоватой, палевой масти коровы» и т. д. Однако в контексте *kosam ooli* букв. «молоко палевых» субстантивированная форма отождествляется только с коровами. (В фульбском пастушеском эпосе *kosam ooli* составляет формулу-концепт, символизирующий избранничество и толкающий героев на борьбу за престижное право питаться молоком коров одной-единственной масти [6].)

Вообще, конечно, большая часть субстантиватов в фула лексикализована, и они закреплены в словаре как автономные существительные. Однако они не просто запоминаются носителями языка. Поскольку модель субстантивации такого типа сохраняет живой и продуктивный характер, она потенциально способна порождать новообразования и, в частности, используется как художественное средство в поэтических текстах, в текстах, построенных на канонических началах (в религиозных, ритуальных и т. п.). Примером может служить следующий отрывок из стихотворной проповеди (диалект масина):

Dewtere ka Allah kaa yottike en
Wii en ndewen ***lobbol*** *Laamdo*

«До нас дошла Книга / речи/ Аллаха
И указала нам следовать **доброй стезей** Господа».

Русским словам *добрая стезя* в оригинале соответствует слово *lobbol*, представляющее собой субстантивированно употребленное прилагательное «добрый, хороший, благой» с показателем класса NGOL (здесь алломорф *-ol*), отсылающим к элидированному существительному *laawol* (NGOL) «путь, дорога, стезя». Форма *lobbol* в этом значении узуально не закреплена в словаре, однако известное всем общее каноническое содержание подобного рода текстов способствует тому, что рестрикция, приводящая к правильному референту, однозначно осуществляется любым слушающим (при попутном художественном эффекте недоговоренности). Для индивида же, незнакомого близко с текстами этого жанра, такое словоупотребление выглядит неожиданным — букв. «следовать доброй (?) Господа».

Следовательно, художественно-поэтическое использование приема окказиональной субстантивации опирается не только и не столько на ближайший лингвистический контекст, сколько на контекст жанровый, с его устоявшимися смысловыми ассоциациями.

Яркие примеры употреблений такого рода встречаем в текстах сказок, этого широко популярного в Африке повествовательного жанра. Всем и каждому знакомы свойства и повадки сказочных героев — животных, и рассказчик при изложении новой для аудитории фабулы опирается на это знание, редуцирует текст до предела, опуская все тривиальное (т. е. заведомо актуализованное в момент рассказа в сознании слушающих) и достигая тем самым и большего лаконизма, и большей экспрессивности. Так, сказка о побитой гиене завершается следующей тирадой: *huuyi deppuru, caggal huncii* ***gootal****, suppike ladde. Ana annda — fowru yaarataa* ***tati****, so wanaa so wuldaama* «Взвыла вислозадая, а потом подняла одну (т. е. поджала ногу) и помчалась к лесу. А ведь известно — гиена не побежит на трех, пока не припечет». Неупотребленные субстантивные формы *koyngal* NGAL «нога» и *koyde* 'DE «ноги» отразились лишь в «напоминающих»

о них формах числительных *goot-al* «один» и *tat-i*[4] «три», содержащих суффиксы соответствующих классов (ср. данное О. Есперсеном определение бантуских согласовательных префиксов как «своего рода „напоминателей" во всех подчиненных словах, относящихся к данному существительному» [7]).

Интересно отметить, что «намек на предмет», содержащийся в классном показателе, используется как особый прием в загадках фульбе. Загадка, как известно, вообще обычно построена на сужении круга возможных референтов по их признакам; в данном случае используется еще и дополнительное средство более строгой рестрикции — до одного именного класса, например (камерунский диалект адамауа): *Dammuki juuta yenaande* «/Сам/ короткий, /да/ могила /от него/ глубокая», собств. «короткий длинен могилой». Исходя из русского текста, практически невозможно угадать, что ответом является «нож» (кинжал). Однако фульская форма *dammu-ki* «короткий» уже содержит элемент подсказки ответа: показатель класса KI позволяет отгадывающему сосредоточить свои поиски среди имен класса KI, куда среди прочих входит и слово *labi ki* «нож».

Другие примеры загадок с «подсказкой» классного показателя [8, 9]: *Man-nga teppere unordu.* — *Nyiiwa* (класс NGA) «Большой, пятка пестом.— Слон». *'Balee-jam, suudu ngabbu.*— *Ndiyam* (класс 'DAM) «Черная, дом бегемота.— Вода».

И напротив, если признаки, формирующие загадку, кажутся загадывающему слишком сильно способствующими отгадке, он может ее у с л о ж н и т ь, используя тот же механизм классного оформления атрибута. В таком случае употребляется суффикс какого-либо из «лексически открытых» классов — нейтрально-среднего класса 'DUM, аугментативного или диминутивного класса. Тем самым загадке сообщается характер рестриктивной ослабленности; например, первая из приведенных загадок приобретает вид: *Dammu-dum juuta yenaande* «/Нечто/ короткое длинно могилой» [8, с. 19].

И, наконец, оформление атрибута «чужеродным» классным суффиксом может создавать д е з о р и е н т а ц и ю, предумышленно уводя аудиторию от правильных поисков. Так, нередко в загадке используются формы класса О, при субстантивированном употреблении регулярно принимающие значение «человек, личность» вразрез с классной принадлежностью слова-отгадки: *Maay-do baari geet-o* «Мертвый /человек, мертвец/ прислонился к живому» (отгадка «сухое дерево и живое» содержит существительное класса NGAL — *Legg-al joor-ngal baari legg-al kec-al*). Подобные приемы позволяют вести и более сложную и тонкую вербальную игру, как, например, в загадке *Hurii-ndu yahaa-ndu* «Кровлей крыта, /а/ ходить может»: здесь оба причастия оформлены по классу NDU, что, с одной стороны, дезориентирует, наводя на мысль о слове-понятии *suudu* «хижина» (одно из ключевых слов класса NDU), и, с другой стороны,— ориентирует в сторону нужной рестрикции, поскольку к этому же классу NDU принадлежит и ключевое «птица». Отгадкой же является *gertogal* «курица», слово класса NGAL (в основе загадки лежит сходство куриного оперенья с куполообразной травяной кровлей).

Следует отметить, что русские эквиваленты не могут точно передать степеней усложнения загадок и вообще тонкостей описываемых языковых

---

[4] Нерегулярный для класса DE алломорф *-i* используется только при согласовании числительных, где классный аффикс идентичен для двух плюральных классов — DE и DI, ср. *koy- de* (DE) *tat-i* «три ноги» и *na'-i* (DI) *tat-i* «три коровы».

приемов, и не могут именно потому, что малоклассная родовая система не обеспечивает тех разнообразных семантических отсылок, которые доступны громоздкой многоклассной.

2. Остановимся на особенностях поведения анафорических классных местоимений. Они также способны к автономному (в отрыве от соотносительного существительного) употреблению, но поскольку местоимения, в отличие от классного суффикса в субстантиватах, лишены морфологического контекста (местоимения в общем случае образуют самостоятельную словоформу), их автономное, «безантецедентное» (если под антецедентом понимать чисто текстовой коррелят) введение в текст представляется на первый взгляд более странным и неожиданным.

Вообще в фула анафорическое местоимение употребляется в соответствии с общими правилами прономинализации — оно замещает ранее употребленное в тексте существительное. Ср., в дополнение к самым первым фразовым примерам настоящей статьи (диалект масина): *Aamadu e Amnata naddi **dewgal**. **Ngal** hawrani be* «Амаду и Амната вступили /в/ **брак. Он** оказался удачным для **них**». Здесь анафорическое местоимение класса NGAL (*ngal*) замещает ранее употребленное существительное этого класса *dewgal*. Сущность прономинализации состоит в замене полной лексемы,— если она уже не передает новой информации,— на нелексическую единицу — местоимение. У. Чейф, например, определяет прономинализацию как «стирание лексической единицы»: «Если существительное передает старую информацию, говорящему незачем повторять его полностью» [10]. Приведенный пример иллюстрирует это утверждение.

Однако в текстах фула мы достаточно регулярно встречаемся с такими случаями, когда анафорическое классное местоимение употребляется в тексте при отсутствии кореферентной полной лексемы (т. е. существительного, контролирующего согласование). Подобные явления мы обнаруживаем в художественно-поэтических текстах. Ср., например, употребление того же анафорического местоимения *ngal* в тексте ритуального песнопения Lootori [11], исполняемого при обряде омовения в канун Нового года (ранним утром в первый день первого лунного месяца haaram) (этот и все последующие примеры из диалекта масина):

Walaa ko watta be kawra
So naa so biddo malaama
*Ngada tenyina **ngal** mabbe* [11, с. 134]

«Ничто так / прочно / не свяжет их (т. е. мужчину и женщину)
Как благословенный сын
/ Чье рождение / упрочит их **брак**».

Слова *tenyina ngal mabbe* букв. «упрочит его их» кажутся совершенно неосмысленными, если не знать, что местоимение *ngal* имеет своим имплицитным антецедентом существительное *dewgal* «брак». В тексте «Омовения» полная лексема *dewgal* вообще ни разу не употребляется, но в данном случае рестрикция, позволяющая определить истинный референт среди существительных класса NGAL, подкрепляется контекстом и самим жанром песнопения, содержание которого вполне традиционно и общеизвестно: в этом жанре обычна тема любви, пожелания удачного брака, продолжения рода и т. п.

Таким образом, местоименный показатель класса оказывается также способным включать в себя лексическое значе-

н и е коррелята-существительного и, тем самым, следует говорить не о стирании полной лексемы, а о ее содержательном включении в местоимение.

Здесь очевидна аналогия с «лексикализацией» суффиксального классного показателя при субстантивации, отсекающей ключевое существительное. Лексическое значение существительного, выполняющего имплицитно роль контролера согласования (в одном случае это ключевое слово, в другом — антецедент прономинальной формы), преобразуется в лексическую нагрузку согласованной формы при условии ее автономного (от контролера) употребления. Носителями этой «нагрузки» становятся классный суффикс субстантивата в первом случае и анафорическое местоимение в последнем.

Употребление «лексически нагруженного» местоимения при отсутствии существительного-антецедента в предтексте не может быть расценено как случайная оговорка автора текста, и это доказывается тем, что данное явление типично для обработанной речи. Оно не слишком часто, но достаточно регулярно встречается в фольклорных текстах и даже в текстах письменно-литературных. В повести малийского литератора Ибрагима Амаду Дикко содержится пример, аналогичный приведенному выше. Старик, один из героев повести, сетуя на новые порядки при совершении браков — но не употребляя слова *dewgal* «брак»! — заключает: *...sonaa almaami wuro kanyum e amiiru kabba* ***ngal***, *so* ***ngal*** *dagonoo* «нужно, чтобы деревенский имам вместе с правителем заключили его (т. е. брак), чтоб он стал законным».

Можно привести пример, где автономность лексикализованного анафорического местоимения носит абсолютный характер, так как оно употребляется в абсолютном начале текста. Первая строка героического эпоса «Silaamaka e Pulloori» гласит: ***N****duu wi'etee ndoondoore... «Эта-она зовется „ндондоре“....».* Здесь *nduu* — местоимение класса NDU, отсылающее к существительному *hoddu*, собств. «музыкальный инструмент типа лютни», в сопровождении которого гриот исполняет свои сказания и песни. Здесь *hoddu* понимается метонимически — как «мелодия, напев». Следовательно, фразу нужно понимать — «Этот напев зовется ндондоре».

Такое употребление местоименного классного показателя предполагает, конечно, полную осведомленность слушателей в особенностях не только данного жанра, но и его исполнения. Адекватное восприятие текста получает дополнительную поддержку в конситуации, а именно — в самой мелодии, сопровождающей пение или сказывание: песнь о Силамаке традиционно исполняется под наигрыш известного аудитории «музыкального девиза» или «личной мелодии» этого прославленного героя фульбского эпоса [12].

Аналогичные употребления мы встречаем и в «закрытых» стандартных текстах — в детских прибаутках, в канонических формулах, например, в религиозной формуле *Dewtere ka Allah kaa* букв. «Книга ее Аллаха», где рамка из анафорического местоимения и артикля */ka ...kaa/* замещает неупотреблявшееся существительное класса КА — *haala* «речь», т. е. в целом — «Книга речи Аллаха», т. е. Коран [5].

---

[5] «Безантецедентное» использование местоименно-артиклевой рамки является дополнительным свидетельством семантического сближения прономинальной формы и полной лексемы: анафорическое местоимение, повторяя категориальные свойства имплицитно стоящего за ним существительного, допускает употребление артикля, маркирующего признак определенности. Последнее имеет место в том случае, если местоимение занимает вершинную позицию в именной группе, включающей несогласован-

В конце сказки часто используется особая, закрывающая повествование ритмизованная формула:

Ɗoo ngol tawi kam,	«Здесь она (т. е. сказка) застала меня,
Ɗoo ɓammi ngol,	здесь я подобрал ее,
Ɗoo taaliimi ngol,	здесь я поведал ее,
Ɗoo njoppumi ngol	здесь ее и оставил» [13].

Местоимение *ngol*, как в субъектной функции («она»), так и в объектной («ее»), соотносится в сознании рассказчика и аудитории со словом-понятием *taalol* NGOL «сказка».

Со всей определенностью проявляется особая стилистическая нагрузка автономного классного местоимения при его использовании в составе устойчивых формул из арсенала эпической поэтики — формул, кочующих из сюжета в сюжет и от одного сказителя к другому. О спешивающемся с лошади витязе сказитель говорит: *O lati ngal e leydi* «Он ступил ею на землю», где местоимение *ngal* мыслится соотнесенным с неупотреблявшимся *koyngal* NGAL «нога». Постоянную характеристику «вечного всадника», эпического героя Хамма Аласейни Гакой, составляет нелегко интерпретируемое *Ɗi joyi fuu faa ɗi njari mbusam ɓii taltali* — буквальный перевод этого совершенно невразумителен («Они пять все так-что они напились костного-мозга сына узды»), если не знать, что за местоимением ɗi стоит слово peɗelli ƊI «пальцы», т. е. «Ладонь его пропиталась мозгом поводьев» (как объясняют, поводья смазывают костным мозгом). Ср. наш вынужденно отдаленный от оригинала литературный перевод этого места: «Была рука его с уздою конской неразлучна». Примечательно, что в другом месте мы вновь сталкиваемся с «завуалированным» обозначением пальцев Хамма Аласейни, но уже с использованием автономного атрибута-прилагательного: *O itti joy makko* ***jettari*** *ɗii o faddi e baggol makko* «Он протянул пять своих **озорных**, он положил ей на талию» [14, с. 322].

Сопоставление двух последних примеров хорошо показывает, что автономные использования как местоимения, так и атрибута отражают единую в своей основе установку автора текста — придать субстантивному понятию (здесь — «пальцы») скрытый, или, точнее, полускрытый характер, чтобы создать стилистически значимую формулу поэтической недоговоренности.

Считать, однако, автономный показатель класса принадлежностью лишь «формульности» — означало бы неправомерно сужать функциональные границы данного языкового приема. Это общее явление фульского дискурса, опирающееся на специфические особенности устройства грамматики языка. В текстах различного жанра автономное классное местоимение встречается и в более произвольном контекстном окружении. Эпизод с объяснением двух эпических героев завершается репликой одного из собеседников: ***Kaa*** *kaaldeten, en kaaldataa ko wanaa* ***kaa*** *kasen*! — букв. «Только ее будем мы обсуждать, ни о чем, кроме нее, говорить не станем!» Дважды употребленное местоимение класса КА отсылает к неупомянутому существительному haala «речь», здесь скорее в значении «тема, предмет разговора».

ное (генитивное) определение. Теми же правилами регулируется употребление местоименно-артиклевой рамки при обычной анафоре с текстовым антецедентом, ср. (диалект фута-джаллон): ***Pucci*** *maa waawaali dogude ko ɲii koyde maggu no barmi*; ***ngu*** *am* ***ngun*** *adike* ***ngu*** *maa* ***ngun*** «Лошадь твоя не смогла бежать, потому что ноги ее изранены; **она** моя (**определенный артикль**) опередила **ее** твою (**определенный артикль**)».

Другой пример. Сказочный эпизод с героем, получившим вознаграждение, получает завершение: *Wakkii moyyere mum, wadi* ***ngol*** *e cuudi* «Взвалил на плечи свое добро, сделал ее к дому», т. е. «пустился в дорогу домой», ср. *laawol* NGOL «дорога». Местоимение того же класса может предполагать и другую отсылку, будучи мотивировано в сознании говорящего другим существительным из числа принадлежащих классу NGOL. Контекст помогает снять возникающую омонимию, как, например, в следующем фрагменте эпического текста: *O haalanoyi dun* ***ngol*** «Он сказал ему **его**» [15]; подразумеваемым контролером согласования здесь является существительное *konngol* (NGOL) «слово», т. е. «Он сказал ему слово».

Автоматическое понимание подобных пассажей доступно лишь искушенному в языке читателю или слушателю; при задаче же лингвистического перевода на другой язык подобные употребления требуют от переводчика особого комментария. Так, Кристиан Сейду, издатель фульбского эпоса с французскими переводами, при переводе фразы ***Ngal*** *duggitii,* ***ngal*** *suppii e Sugi* (букв. «Она сорвалась с места, она устремилась к Суги») вынуждена прибегнуть к подстрочному примечанию, где существительное-контролер восстанавливается: *Ngal — oorngal ngal* («погоня») [14, с. 214].

При работе с естественными носителями языка фула мы неоднократно имели случай убедиться, что для них смысловая идентификация подобных употреблений не составляет трудности. Хороший («подсказывающий») контекст способствует успешной актуализации в сознании слушающего/читающего определенного концептуально-семантического поля, адекватного замыслу говорящего. Переход же от концепта к номинации осуществляется через рестриктор — классный показатель, который и соотносит этот концепт с единственным именем из обозначенного класса, благодаря чему данное имя может быть однозначно восстановлено слушателем. Такой речемыслительный поиск создает предпосылку для эффекта стилистической сублимации: как подчеркивают филологически компетентные носители [6], «безантецедентно» употребленное местоимение «звучит более весомо», нежели ординарное имя-коррелят.

3. Подытоживая все сказанное, подчеркнем продуктивность процесса лексикализации грамматического классного показателя: этот процесс составляет общую особенность как субстантивированных форм, так и анафорических местоимений. Базу для подобного явления, как уже отмечалось, создает широкое развитие классов, делящих существительные на достаточно дробные группы с особым грамматическим оформлением, а это, в свою очередь, облегчает задачу рестрикции при поиске возможных референтов показателя класса.

В языках с малым набором именных классов (например, в родовых языках) принцип субстантивации по ключевому слову вообще также имеет место (ср. положения Пешковского, а также русские примеры типа *заказное — заказное письмо, скорый — скорый поезд, скорая — скорая помощь, страстная — страстная неделя*), однако там он играет лишь маргинальную роль и поэтому, на фоне других, гораздо более продуктивных типов субстантивации, не акцентирует на себе внимания исследователей. В языках же с богатой (громоздкой) классной системой этот прин-

[6] С благодарностью упомянем имена наших коллег из Мали — Адама Уана, Бурейма Нялибули, Бори Траоре, Мустафы Дикко, чьи комментарии сыграли важную роль в разработке данной темы.

цип лежит в основе одного из ведущих способов образования новых слов, позволяющих постоянно пополнять словарь и тем самым постоянно поддерживать и стимулировать живое функционирование классной системы.

Указанное различие как раз и обусловлено тем, что дробно дифференцированные грамматические разряды существительных обеспечивают более надежную идентификацию субстантиватов с ключевыми понятиями, а в случае автономных анафорических местоимений — с их имплицитными антецедентами, не представленными в тексте, но содержащимися в речевом опыте и в сознании говорящих и слушающих.

Лексикализация же грамматического элемента — показателя класса,— возникающая как следствие при автономизации субстантивированных и анафорических форм, именно и является, по-видимому, тем свойством, которое позволяет малийскому фуланисту Адама Уану сближать содержательно классную морфему с корневой, противопоставляя их вместе семантически более абстрактной глагольной морфеме. В своей работе, посвященной проблемам морфонологии слова в фульфульде [16], А. Уан подчеркивает, что классная морфема обладает не только абстрагированным, грамматическим значением, но также и значением деривационным, которое может быть настолько конкретным, «вещественным», что содержательно приближается к лексическому. Поскольку А. Уан в своих исследованиях мог опираться не только на лингвистическую методику, но также и на глубокую интуицию в области родного языка,— такое совпадение в выводах (при достаточно различных подходах) кажется весьма благоприятным свидетельством в пользу решений, предлагаемых в настоящей работе.

Подчеркнем также типологическую значимость приведенных в настоящей работе наблюдений. Данные языка с широко разветвленной системой именных согласовательных классов позволяют отчетливо показать общность двух языковых процессов — субстантивации и прономинализации,— которые в языковедческой традиции обычно рассматриваются как процессы совершенно независимые и даже принадлежащие различным сферам грамматики. Субстантивация и прономинализация имеют общее в функциональной природе — и тот, и другой процессы служат в дискурсе средством вторичной номинации. Громоздкая система субстантивных классов, обеспечивающая хорошо дифференцированные и способствующие успешной рестрикции мыслительные отсылки, создает благоприятные условия для повышенно активного развития процессов субстантивации и прономинализации. Существенно, что общность функции здесь имеет и формальное отображение, поскольку оба процесса опираются на один и тот же субстанциальный механизм — автономное (в «отрыве» от мотивирующего их форму существительного) использование классного показателя.

По-видимому, типологами еще недостаточно оценены возможности, которые таят в себе многоклассные системы в плане вскрытия фундаментальных механизмов, обеспечивающих текстовую редукцию полных языковых выражений,— таких, как субстантивация, прономинализация и другие виды анафоры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аксенов А. Т.* К проблеме экстралингвистической мотивации грамматической категории рода // ВЯ. 1984. № 1.
2. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 18.
3. *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. М., 1967. С. 83.

4. *Коваль А. И.* О значении морфологического показателя класса в фула // Морфонология и морфология классов слов в языках Африки. М., 1979. С. 77—95.
5. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М.— Л., 1928.
6. *Коваль А. И.* О художественном сублимировании бытового мотива в африканском эпосе // IV Всесоюзная конференция африканистов: Тез. докл. и научн. сообщ. Вып. IV. Ч. 2. М., 1984.
7. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. С. 263.
8. *Lebeuf J. P., Lacroix P.-F.* Devinettes peuls. P., 1972.
9. *Noye D.* Cours de Foulfouldé. Paris — Maroua, 1974.
10. *Чейф У. Л.* Значение и структура языка. М., 1975. С. 296—297.
11. *Bâ A. H.* L'éclat de la grande étoile suivi du Bain rituel. Récits initiatiques peuls. P., 1974.
12. Silâmaka et Poullôri / Ed. Seydou Ch. P., 1972.
13. *Коваль А. И.* Сказки фульбе // Африканская сказка. М., 1984.
14. La geste de Ham-Badèdio / Ed. Seydou Ch. P., 1976.
15. Hambodejo, Silamaka et Hamma Alaseyni Gakoye par Diam Boukari / Ed. Yattara A. M., Cissé B. // Sankore. Revue periodique. Bamako, 1975. P. 33.
16. *Уан А.* Проблемы морфонологии слова (на материале языка фульфульде): Дис. ...канд. филол. наук. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ТЕСТЕЛЕЦ Я. Г.

ЭРГАТИВООБРАЗНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Согласно традиционной точке зрения, строй предложения в нахско-дагестанских языках характеризуется довольно последовательной эргативностью. Эргативная, абсолютная и аффективная конструкции являются наиболее хорошо изученными таксономическими единицами синтаксиса этих языков. Меньше внимания уделялось до сих пор некоторым «периферийным» конструкциям, не подпадающим ни под один из упомянутых выше типов.

Ниже мы рассмотрим эргативообразные построения — структурные типы предложений, обладающих лишь одним признаком эргативной конструкции — отличием в способе оформления агенса от обычного способа оформления подлежащего непереходного глагола. Близкий по значению термин «эргативообразная конструкция» был предложен на материале индоарийских языков Т. Я. Елизаренковой [1] и в кавказоведении пока не получил широкого распространения; понятие «эргативоидная конструкция», которым пользуется З. Г. Абдуллаев, обладает иным содержанием [2]. На полезность применения термина «эргативообразная конструкция» в типологии указал Г. А. Климов [3].

Вместо терминов «подлежащее», «прямое дополнение», «переходный» и «непереходный» глагол, избыточность которых при описании синтаксиса нахско-дагестанских языков показана А. Е. Кибриком [4], следовало бы употреблять предложенную им семантическую терминологию: «агенс», «фактитив», «одно- и многоместный глагол». Ниже мы используем следующие обозначения: $П^{п}$ — «подлежащее при переходном глаголе», правильнее: «агенс при многоместном»; $П^{н}$ — «подлежащее при непереходном», правильнее: «фактитив при одноместном глаголе» и $Д^{п}$ — «прямое дополнение», иначе: «фактитив при агентивном многоместном».

Понятие эргативообразного построения по самому замыслу должно охватывать разнородные синтаксические структуры, и, в соответствии с предложенным выше пониманием, нам кажется наиболее удобным чисто морфологический критерий их выделения — наличие эргативного падежа — в том случае, если данная конструкция в целом не может считаться эргативной. К числу эргативообразных мы, вслед за Г. А. Климовым [3], относим трехчленные (переходные, или агентивные, имея в виду «агент» в терминологии А. Е. Кибрика [5, II, с. 134, 138]) и двучленные (непереходные, фактитивные) построения, в которых выступает эргатив.

Если оставить в стороне эллиптические конструкции с опущенным пациенсом типа авар. *инсу-ца б-ачана* «отец(эрг.) пригнал (скот)» или отмеченную в чамалинском языке неопределенно-личную конструкцию с нулевым пациенсом: *ваццд Ø чIин* «брат(эрг.) (кого-то) побил» [6], то основным объектом нашего рассмотрения будут сложные глаголы, исторически восходящие к сочетаниям переходного глагола с его $Д^{п}$ и сохра-

нившие вследствие этого эргативное управление. Эти сочетания могут обладать разной степенью идиоматичности, ср. авар. *хIурмат гьабизе* (= «почет делать») «почитать», цез. *хIукму бода* (= «мудрость делать») «решать», «присуждать» и арч. *лъан ас* (= «воду делать») «плавать», морфологической слитности, ср. авар. *яс абизе* «посвататься», лезг. *гьисабун* (<*гьисаб авун*) «считать» и арч. *ламмус* (<*лам бос*) «лизать», и лексической самостоятельности именной части, ср. такие случаи, как арч. *риг-абас* «находить», лак. *валкI учин* «покачнуться», в которых именная часть самостоятельно не употребляется.

Отметим, что во всех рассматриваемых языках сложные глаголы представляют собой открытый лексический класс, и глагольный словарь пополняется в основном за счет его увеличения [1] (продуктивные словообразовательные суффиксы-вербализаторы типа русск. *-овать*, *-ировать* обычно отсутствуют [2]). При этом обращает на себя внимание малочисленность полувспомогательных глаголов, регулярно вступающих в эти сочетания, например, дарг. *варес* «делать», *иэс* «быть», *икес* «попасть»; лезг. *авун* «делать», *хьун* «быть, становиться», реже — *гун* «давать», *чIугун* «тянуть», *ттун* «класть» и некот. др.; чечен. *дита* «оставить», *дāла* «кончить», *дан* «сделать», *дала* «дать»; арч. *бос* «говорить», *кес* «становиться», *ас* «делать», реже — *ачас* «реализовывать типичное функционирование», *эллъас* «класть»; бежт. *овал* «делать», *ахъал* «производить, рождать», *агъал* «отнимать, тянуть», *эчāл* «оставаться, стоять»; хиналуг. *къи* «быть», *хи* «идти», *кхви* «делать»; крыз. *дӱхрӱ* «делать», *шерӱ* «быть, становиться»; будух. *сиъири* «делать», *йыхэри* «быть» и некот. др. Малочисленность таких фразеологически активных глаголов приводит к тому, что носителем лексического значения сложного глагола выступает в основном его именная часть.

Кажется очевидным, что процесс пополнения словаря непроизводных предикатных единиц может происходить в языке 1) посредством расширения открытого класса непроизводных глагольных лексем, ср. русск. *регулировать*, *мариновать* или 2) путем расширения открытого класса непроизводных имен, являющихся названиями ситуаций, ср. русск. *кризис*, *нокаут*. Второй способ предполагает, очевидно, функционирование в языке таких средств, которые превращали бы непроизводное предикатное имя в финитное сказуемое, например, русск. *шторм — штормить*, *девальвация — девальвировать* и т. п. Соотношение первого и второго способов может оказаться различным в разных языках; в нахско-дагестанских языках явно господствует второй. Обращает на себя внимание конверсивная негибкость глагольно-именных сочетаний; ср., напротив, в русском языке: *оперировать ~ производить операцию ~ подвергать операции ~ подвергаться операции ~ операция производится* и т. п., см. [10], что подтверждает идею о большей семантической прозрачности синтаксических структур этих языков по сравнению со «среднеевропейским стандартом» [4].

Полувспомогательные глаголы со значением «становиться» и «делать» обычно обладают чисто синтаксической функцией предикативизаторов; при этом первый маркирует непереходный (фактитивный), а второй — переходный (агентивный) тип сложного глагола, например, арч. *талахI бекес* «посчастливиться», *анх ас* «драться»; лезг. *кукIвар авун* «разбивать» —

[1] Сложные глаголы особенно широко распространены в лезгинских языках, где они по количеству значительно превосходят простые и где процесс заимствования глагольной лексики происходит очень активно, см., например [7, 8].

[2] Словообразование типа авар. *квач* «холод» — *квач-аве* «мерзнуть», *тIегь* «цветок» — *тIегь-аве* «цвести» справедливо оценивается как редкое и непродуктивное [9].

кукIвар хьун «разбиваться»; бежт. *малъци ровал* «учить», *сас бахъал* «звучать».

Функция арч. *бос* «говорить», лак. *тIун*, дарг. (чираг.) *ӣ* с тем же значением в составе сложных глаголов может быть определена как также чисто синтаксическая: «совершать действие X», где X выражен неспрягаемой частью; отличие этих полувспомогательных глаголов от глаголов со значением «делать» — не в семантике, а в сочетаемости: предикативизатор *бос* (*тIун*, *ӣ*) присоединяет в качестве неспрягаемой части только те морфемы, которые называют ситуацию метонимически — по ее типичному звуку, т. е. обладают звукосимволически мотивированным типом номинации: арч. *бу-бос* «мычать», *пIагь-бос* «курить»; лак. *ав тIун* «выть», *гьурс тIун* «хрустеть», дарг. (чираг.) *пиIнч ӣ* «чихать», *цIар ӣ* «звенеть».

В исторически переходных, но синхронно непереходных сложных глаголах выделима синтаксическая связь между спрягаемой и неспрягаемой частью — «квазифактитивное отношение» по А. Е. Кибрику [5, III, с. 73, 78—79], проявляющаяся в том, что спрягаемая часть согласуется с бывшим Д^{п}. Оформление бывшего П^{п} эргативным падежом, как правило, сохраняется, вследствие чего возникает эргативообразная конструкция (Пн оформлено эргативом): арч. *зари баIIас туманк камму* «я(эрг.) в-тура выстрелил» (= «ружье бросил»), дарг. *нуни кьас-барра* «я(эрг.) решил» (= «цель сделал»), лезг. *гадади кIел-изва* «мальчик учится» (= «учение делает») и др.

Идеофонические сложные глаголы обычно реже других требуют эргативообразной конструкции. Так, например, в обычной абсолютной конструкции выступают глаголы, содержащие компонент *икIес* «говорить» в литературном даргинском языке (например, *гъургъурикIес* «ворчать»). В арчинском языке «квазифактитивные» (т. е. переходные по происхождению) глаголы почти никогда не управляют абсолютивом [3], и даже в том случае, когда необходимо различать П^{п} и Д^{п}, последнее оформляется косвенным падежом: *зари къаркъате-с лъан ачу* «я(эрг.) поля(дат.) оросил». Однако идеофонические глаголы на *-бос* «говорить, сказать», как одноместные, так и многоместные, управляют падежами своих актантов по обычным правилам: *тIантI зиз-вар* «пчела(абс.) жужжит», *тор лъоннол ацIили къигъ-бо* «эта женщина(абс.) от-боли закричала», *зари лъан чваргъI-бо* «я(эрг.) воду(абс.)вылил», *зари дикъ ху-бу* «я(эрг.) суп(абс.) выпил». Исключение составляет небольшая группа глаголов, требующих П^{н} в эргативном падеже. А. Е. Кибрик приводит полный их список: *ту-бус* «плевать», *лIилъ-бос* «шипеть», *цвитI-бос* «свистеть», *чIоIв-бос* «чавкать», *уIнш-бос* «сморкаться», *ухIу-бос* «кашлять», *хIакъ-бос* «блевать», *аIнгаI-бос* «плакать» (о ребенке) — последний может управлять и абсолютивом. Почему эти и именно эти глаголы сохранили эргативное управление, остается неясным, так как нет никаких присущих только им семантических или формальных признаков, ср., например, глаголы *эIм-мус* «плакать», *аIнша-бос* «чихать», *гьакъ-бос* «зевать», которые управляют абсолютивом. По устному сообщению А. Е. Кибрика, здесь, возможно, отразились противопоставления контролируемого/неконтролируемого и постоянного/временного действия.

В лакском языке, к которому арчинский близок географически и структурно, управление подобных глаголов обычно эргативное: *тана-л вяъ увкунни* «его стошнило», *тана-л пув увкунни* «он плюнул», *ччиту-л*

[3] Три исключения см. [5, III, с. 78].

мяв укунни «кошка мяукнула», *тана-л вев увкунни* «он закричал», *тана-л хъугьу увкунни* «он кашлянул». При неодушевленном Пн, как правило, выступает абсолютив: *гъварал вез-кIунтI укунни* «дождь закапал», *пилта парх укунни* «спичка вспыхнула», *ттугъ липI укунни* «знамя затрепетало» *чIапIуя кIунтI ккур увкунни* «с-листа капля скатилась», *щавува оь чавхь кунни* «из-раны кровь хлынула», *граната пIякь укунни* «граната взорвалась». Неодушевленное Пн оформляется эргативом в случае персонификации: *дакI-ни-л парх укунни* «сердце вспыхнуло»; возможно и *дакI парх укунни* с абсолютивом. Ср. также примеры из хосрехского говора: *бурцIил ав куна* «волк(эрг.) взвыл», но *ттуп пIякъ увкунди* «мяч (абс.) лопнул».

В доступных нам материалах по чирагскому диалекту даргинского языка эргатив при идеофонических сложных глаголах со спрягаемой частью *ӣ* «сказать» (констатив *укIле*, аорист *иб*) встретился лишь при нескольких глаголах активного физиологического действия с агенсом в 1-м лице ед. числа: *дицӣе хъархъали ту ибда* «я (эрг.) на-камень плюнул», *дицӣе чаратI ибда* «меня (эрг.) вырвало», *дицӣе пиIнч-ибда* «я(эрг.) чихнул», но *ду дуʕле кIуркIур укIанда* «я(абс.) от-холода дрожу». С неличными именами употребляется абсолютив: *хварбацӣирка шин кIутI дукIле* «с-потолка вода(абс.) капает», *тIетI паIз букIле* «муха(абс.) жужжит».

В рутульском, агульском, табасаранском, лезгинском языках спрягаемая часть идеофонических глаголов обладает самостоятельным значением «делать» и является наиболее распространенным в этих языках вспомогательным глаголом. Идеофонические глаголы подпадают здесь под общее правило, согласно которому этот предикативизатор создает сложный глагол с эргативным управлением. См., например, в рутульском языке (говор с. Лучек): *зыры-р магь ваъаръа* «корова (эрг.) мычит», *риги-р гъырчI ваъаръа* «дверь(эрг.) скрипит», *хыдыно-в гьынк гьаъас* «женщина (эрг.) будет всхлипывать»; во всех рутульских примерах предикативизатором выступает глагол *ас* «делать».

В агульском языке идеофонические глаголы на *акьас* «делать» также управляют эргативом. Примеры из бурщагского говора: *хIайван-ди канушари хIихIи кьунав* «лошадь в-конюшне заржала», *рак̄-а чIагIар кьунав* «дверь скрипнула». Эргативное управление отмечено также у глаголов *чIиж акьас* «шипеть» (о мясе на сковороде), *бегI акьас* «блеять», *гIамчи акьас* «чихать», *ни (а)кьас* «нюхать» и т. п. То же, по-видимому, верно и для табасаранского языка (с. Дюбек): *цIигьар-и мӗйар ипIурдув* «козы(эрг.) блеют», *йас журдиъи кепкер-и зенгер ипIурдаъис* «у-меня в-кармане деньги(эрг.) звенят».

В крызском языке более типичная для лезгинских языков эргативообразная конструкция *жыры-р мягI йӱрӱв* «корова(эрг.) мычит», где спрягаемая часть образована глаголом *дӱхрӱ* «делать», почти полностью вытеснена конструкцией, включающей заимствованное из азербайджанского языка отглагольное имя на *-миш* и связку «быть» (см. [7]), например: *мялямиш шерӱ* «мычать», *меʕялдямиш шерӱ* «мяукать», *дзынгылдямиш шерӱ* «звенеть» и т. д., приобретающей, в соответствии со свойствами предикативизатора *шерӱ* «быть», абсолютивное управление. То же имеет место и в будухском языке со связкой *йыхэри/йухори* «быть»: *вызылдэми йухори* «жужжать», *улами йыхэри* «выть», *джынгылдэми йыхэри* «звенеть» и многие другие глаголы, все управляющие абсолютивом.

Для аваро-андо-цезских языков в целом не характерна аналитическая структура идеофонических глаголов, ср. , например, авар. *къвакъвадиге*

«кудахтать», *тузе* «плевать», однако эргативообразное построение отмечено и в некоторых из них: чамал. *усди туди* «он(эрг.) плюнул». В бежтинском языке идеофонические глаголы образованы с помощью словообразовательного суф. *-лIо/-лIе/-лIö*, этимологически связанного с общецезской морфемой комментатива: гунз. *лIин*, бежт. *лIо*, хварш. *лIо*, цез. *лIин* «говорит», «мол». К ним относятся те же разряды глаголов, что и в лакском, даргинском и лезгинском языках, ср. следующие примеры из тлядальского диалекта: глаголы со значением звукопроизводства: *лалалIо-* «кричать», *мöлIе-* «мычать», *мäгълIö-* «мяукать», *хöлIе-* «храпеть», глаголы «физиологического» действия: *хIицлIо-* «чихать», *йхлIо-* «сморкаться», *тӀулIе-* «плевать»; глаголы, обозначающие действия, названные по производимым при них звукам: *лъäлIе-* «мести», *парлIо-* «развеваться», *къäчлIö-* «тесать топором», *хислIо-* «тесать ножом» и мн. др. С непереходными глаголами отмечено эргативообразное построение: *истIи хIицлIоро* «брат(эрг.) чихнул», *сойрали хIöхIöлIöрö* «лошадь (эрг.) заржала». Переходные глаголы обладают обычной моделью управления, т. е. выступают в эргативной конструкции: *истIи вино хулIоц* «брат (эрг.) вино (абс.) пьет». Согласование идеофонического глагола с $П^{н}$ в эргативе невозможно. Подобно переходным глаголам, непереходные идеофоны в бежтинском языке требуют особой формы каузатива на *-лл-*: *лалалIал* «кричать» — *лалалIо-лл-ал* «заставлять кричать», ср. каузатив от непереходного глагола *угъал* «умирать» — *угьо-л-ал* «убивать» и от переходного *режäл* «нести» — *реже-лл-äл* «заставлять нести». Так же, как и переходные, идеофонические глаголы допускают присоединение интранзитивизатора *-дā-*, который замещает суф. *-лIо-*: *ис хIиц-дā-ц* «брат(абс.) чихает», для других непереходных глаголов это не свойственно.

В хошархотинском диалекте идеофонические глаголы управляют абсолютивом: *öжö кIäрлIöч äлIäгъöр* «мальчик(абс.) гуляет по-аулам», *шаглиъ лъи гъарлIоц* «в-котле вода(абс.) кипит». В собственно бежтинском диалекте, по сообщению М. Ш. Халилова, некоторые идеофонические глаголы управляют эргативом: *гьицлIал* «чихать», *гьбгьолIал* «ржать», *колIал* «выть», *öълIäл* «вырвать», *хöлIäл* «храпеть», *гьикIлIал* «икать», некоторые — абсолютивом: *äлIäл* «мерзнуть», *дузлIал* «онеметь, отсидеть», *кIäйлIäл* «гулять, вертеться, крутиться», *лахлIал* «шевелиться». При этом, по-видимому, к последним относятся все глаголы, требующие неодушевленного $П^{н}$, ср., например: *оз шӀушӀулIöш* «снег (абс.) шуршит», *око цIимлIойо* «монета (абс.) звякнула», *ац цIиълIойо* «дверь(абс.) заскрипела». Из других цезских языков эргативное управление идеофонических глаголов можно предполагать в хваршинском, судя по единственному примеру такого рода, зафиксированному Р. Шарафутдиновой и Р. Левиной: *миӵ-а къäй-лIа* «крапива(эрг.) жжется» [11].

Отдельного рассмотрения заслуживают синтаксические свойства сложных, в том числе идеофонических, глаголов на *авун* «делать» в лезгинском языке. Эти глаголы могут варьировать степень морфологической слитности спрягаемой и неспрягаемой части, например: *кьуьл авун/кьуьлун* «танцевать», *кьуьл ийизва/кьуьлизва* «танцует», *кьуьл авуна/кьуьлуна/кьуьлна* «танцевал», *кьуьл ая/кьуьла* «танцуй!». Как показал М. М. Гаджиев, слитные формы соответствуют отвлеченному, а неслитные — конкретно-предметному (в современной терминологии — нереферентному и референтному соответственно) значению именной части, что видно, например, в следующих предложениях: *кIвал шиткидайла*, *руша руг авуна* «комнату подметая, девушка напылила» и *малари сал ругна* «скотина ого-

род разорила» (букв.: «обратила в пыль»), см. [12, с. 40—42]. Продуктивность как глагольно-именных сочетаний на *авун*, так и морфологически слитных образований того же происхождения и их функциональная разграниченность заставляют предположить, что мы здесь имеем дело не с фразеологическим сочетанием, а с регулярным предикативизирующим процессом, превращающим именную основу в глагольный комплекс. Этому явлению нетрудно найти параллели в неродственных языках; ср., например, явление «свертывания» в эскимосском языке, когда устранение полнозначного глагола сопровождается предикативизацией $Д^{п}$: *аɣнаɣаɣам тукфима игаɣ* «девочка купила книгу» — *аɣнаɣаɣ игаɳаɣуɣ* «девочка книгу-приобрела» (букв. «окнижилась») [13].

В качестве примера эргативного языка, где аналогичное преобразование не меняет, как и в лезгинском, но в отличие от эскимосского, управления глагола, можно привести язык хуа (семья ягариа, Новая Гвинея): в нем наиболее употребительный глагольный деривативный суф. *-hu* образует новые глаголы, присоединяясь к слову любой части речи, исключая исконные глаголы и прилагательные, например: *fina* «драка» — *fina-hu* «драться», *Kta* «вес» — *Kta-hu* «быть тяжелым», в том числе и к междометиям: *ui* «ура» — *ui-ui-hu* «кричать „ура“». $П^{н}$ при этих глаголах во всех случаях может выступать в эргативе: *fu-mu' korihie* «свинья (эрг.) убежала» (*kori* «бег», *kori-hu* «бежать») [14]. Ср. с этим «свертывание» конструкций с глаголами *эцигун* «строить», *расун* «свернуть (конверт)» *чурун* «печь», *цун* «шить» в лезгинском, которые, как отмечает М. М. Гаджиев, могут быть все заменены на *авун*, а их лексическое значение восстанавливается из семантики объекта [12, с. 38].

Переходные глаголы на *авун/-ун* имеют стандартное падежное управление — $П^{н}$ в эргативе, $Д^{н}$ в абсолютиве: *ада кьатIна зи хиял* «он(эрг.) прервал (букв. „обрывок сделал“) мою мысль(абс.)», непереходные управляют эргативом: *ада хъелизва* «он обижается», *тиниди чIирчIир ийизва* «тесто бродит». Тем самым внутри занимающей значительную часть лезгинского глагольного словаря подсистемы глаголов на *авун* действуют номинативно-аккузативные правила падежного управления: единственный актант ($П^{п}$) при одноместном глаголе получает тот же падеж, что и агенс ($П^{п}$) при многоместном, отличный при этом от падежа пациенса ($Д^{п}$) при многоместном.

Все глаголы, выступающие в лезгинском языке с эргативообразным построением, образуют подмножество большого продуктивного класса глаголов с наоснóвным ударением, имеющих, в отличие от глаголов с наконечным ударением, единый тип спряжения; подробный анализ их морфологических свойств содержится в работе М. Моор [15]. К этому классу относятся и глаголы, не раздагающиеся на сочетания с *авун*, притом с обычным абсолютивным управлением: *гьáхьун* «входить», *шéхьун* «плакать», *кýьрсун* «висеть», *алтIýшун* «толпиться» и мн. др. В него попадают все сложные глаголы, но не все глаголы этого класса синхронно производны от сочетания имени с глаголом *авун*.

Особую группу представляют одноместные глаголы на *-ун*, которые, в отличие от рассмотренных выше, не имеют параллельной аналитической формы с глаголом *авун*, но тем не менее обладают эргативным управлением, например: *зверун* «бежать», *къатадун* «валяться», *хкадарун* «прыгать», *чукурун* «бежать, мчаться» и некот. др., ср. *ада хкадарна* «он(эрг.) прыгнул», *гадади чукуризва* «мальчик(эрг.) бежит», см. о них работу Э. М. Шейхова [16].

Проблема диахронической производности глаголов с наосновным ударением от сочетаний с *-авун*, по-видимому, может быть решена с использованием фонетических соображений. Присущая этим глаголам специфическая словоизменительная парадигма — презенс на *-изва*, масдар на *-ун*, перфект на *-на* — не восходит непосредственно к пралезгинским типам спряжения, а отражает фонетические модификации глагола *авун*<* *аъван* «делать»: **аъв-изва* > **айизва* > *ийизва* > *изва*; **аъв-ан* > **аъун* > > *авун* > *увун* > *ун*; **аъв-ана* > **аъуна* > *авуна* > *увуна* > *уна* (с синкопой безударного *у*) и т. п.[4] Впоследствии часть глаголов на *-ун* приобрела соответствующее семантике абсолютивное управление, часть сохранила соответствующее форме эргативное управление. При этом некоторые сохранили разложимость на глагольно-именное сочетание, а другие утеряли это свойство.

Эргативообразное построение предложения с личными местоимениями 1-го и 2-го лица в бацбийском языке уже давно обсуждается в кавказоведческой литературе [17—19; 20, с. 263—264]. По Ю. Д. Дешериеву [21], в бацбийском имеет место противопоставление форм личных местоимений 1-го и 2-го лица, далее называемых просто местоимениями, в конструкции с непереходным глаголом в зависимости от активного/инактивного характера действия: различаются «эргативные» формы *а-с* «я», *а-хъ* «ты», *а-тхо* «мы» (экскл.) и *а-иш* «вы», выступающие при активных глаголах, и «номинативные» формы *с-о* «я», *хь-о* «ты», *тх-о* «мы», *ш-у* «вы», выступающие при инактивных. Первые формы сочетаются с 1) глаголами звукопроизводства: *лев* «говорить», *виил* «смеяться», *дугI* «мычать, блеять», *чIепIра-* «пищать»; 2) глаголами целенаправленного и нецеленаправленного движения: *ватI* «бежать», *виттвал* «купаться», *лел* «ходить», *итI* «бегать», *экк* «прыгать», *хъалкхитт* «вставать», *лачIкъ* «спрятаться», *лабцI* «играть», *текхе* «ползти»; 3) глаголами контролируемого состояния: *вāх* «жить», *хъачI* «глядеть», *латт* «стоять». Вторые формы сочетаются с глаголами, обозначающими неконтролируемые процессы и состояния: *дестIар* «распухать», *хилаър* «бывать», *акIдар* «дрожать», *далар* «умирать», *малдалар* «устать», *дакIар* «гореть», *дожар* «падать», *хъакIвалар* «жаждать», *ва* «быть». Некоторые глаголы могут присоединять как «эргатив», так и «номинатив» местоимений, соответственно чему меняется произвольность /непроизвольность обозначаемого ими действия: *со воже* «я упал» (не по своей воле) — *ас воже* «я упал» (нарочно); *со коттол* «я беспокоюсь» (пассивно, не по своему желанию) — *ас коттлас* «я беспокоюсь» (активно, по своей воле). При переходном глаголе $П^{и}$ и $Д^{п}$ маркируются соответственно «эргативной» и «номинативной» формой местоимений.

В последнее время изучением активной конструкции в бацбийском занималась Д. Э. Холиски, с неопубликованной статьей которой мы имели возможность ознакомиться. Так же, как и в предшествующих работах, у нее выделено три класса одноместных глаголов: 1) управляющие только «номинативом» местоимений — *милдар* «быть холодным», *къандалар* «стареть», *гьал декIдар* «дрожать» и др., всего 21 глагол; 2) управляющие только «эргативом», всего 70 глаголов: *ахар* «лаять», *лалар* «ходить», *лапIцIар* «играть» и др.; 3) глаголы, меняющие тип управления в зависимости от «агентивности», т. е. от намеренности/ненамеренности и контролируемости/неконтролируемости совершаемого в конкретной ситуации

---

[4] Разъяснением фонетического развития глаголов на *-ун* в лезгинском мы обязаны С. А. Старостину.

действия. Д. Э. Холиски отмечает при этом, что оппозиция «эргатив»/«номинатив» функционально асимметрична: в то время как «номинативная» форма всегда передает неагентивность $П^{н}$, «эргативное» оформление нейтрально: оно может кодировать агентивное $П^{н}$, но не обязательно.

В наших материалах по бацбийскому языку глаголов, допускающих значимое варьирование форм местоимений, также оказалось довольно много, например, *со/ас вах* «я живу», *со/ас кастIла* «я тороплюсь», *со/ас хьецIамла* «я просыпаюсь», *со/ас малла* «я устаю», *со/ас вестIес* «я опухаю», *со/ас вали* «я умер», *со/ас вахӣ* «я утонул», *со/ас виш* «я лежу», *со/ас тохъос* «я сплю». В некоторых случаях присоединение «номинативной» формы местоимения возможно только при преобразовании с изменением формы глагола (суф. *-ла*), ср. *ас* (**со*) *ватх* «я пла́чу» — *со ватх-ла* «я плачу» (не по своей воле), *ас* (**со*) *вилас* «я смеюсь» — *со вел-ла-с*, *ас* (**со*) *лӣтхас* «я прыгаю» — *со летх-ла*, *ас* (**со*) *вугъес* «я кричу» — *со вугъ-ла*, *ас* (**со*) *итIас* «я бегу» — *со итI-ла-с*; в приведенных примерах факультативный личный афф. *-с* можно не принимать во внимание [5]. Иногда, по-видимому, роль афф. *-ла* выполняет аблаут: *ас хьирцIас—со хьерцIис* «я кружусь», *ас вибжас — со вебжес* «я падаю».

Способ образования местоименного «эргатива» (преф. *а-*) отличается от регулярных способов его образования (окончания *-в*, *-с*); «активный» падеж местоимения встречается в роли $П^{н}$, недопустимой для эргативной формы существительного. Вследствие этого можно предположить, что местоименные словоформы не тождественны по набору грамматических категорий словоформам существительного. Например, можно говорить не об эргативном и абсолютном или номинативном, а об «активном» и «инактивном» падежах бацбийских местоимений. Наконец, можно считать различия *со/ас*, *хьо/ахь* и т. д. не падежными, а словообразовательными, и тогда активные и инактивные местоимения окажутся разными лексическими единицами, противопоставление которых нейтрализуется в косвенных падежах (дат. *сон*, *хьон*, совместн. *соци*, *хьоци* и т. д.).

В южном диалекте табасаранского языка аналогичное противопоставление проявляется не в морфологических формах местоимений, а в их согласовательных признаках: «активные» местоимения *узу* «я», *уву* «ты», *учу* «мы», *учву* «вы» согласуются с глаголом с помощью субъектных показателей *-за*, *-ва*, *-ча*, *-чва*, а «инактивные», по форме совпадающие с «активными», требуют других согласователей: *-зу*, *-ву*, *-чу*, *-чву*, см. [23—26]. Несмотря на отсутствие в этом случае эрг. падежа, конструкцию с непереходным глаголом, содержащим аффиксы первого типа, можно считать эргативообразной, так как синтаксические функции личных местоимений выражены в данном случае только с помощью согласования. Примеры: *гъурцвун-за-ву* «я тебя побил»; одноместные инактивные глаголы — 1) непроизвольного движения: *алдакура-зу* «я падаю», *кӏвухура-зу* «я скольжу», *хъахъун-зу* «я споткнулся», *гьариъ улдугун-зу* «я заблудился в лесу», *кабхъун-зу* «я утонул», *керхун-зу* «я повис», *тIурцвура-зу* «я качаюсь», *бирджура-зу* «я гнусь»; 2) непроизвольного интеллектуального и эмоционального действия и состояния: *гьелхъун-зу* «я испугался», *гъалатI гъахъун-зу* «я ошибся», *гъвари ахъун-зу* «я понял»; 3) физического состояния тела: *ургура-зу* «я горю», *ацIун-зу* «я насытился», *гъаргъIун-зу* «я

[5] Рассматриваемый здесь афф. *-ла* выступает также в качестве интранзитивизатора *бадре-в мейхъ йакъо* «ребенок (эрг.) хлеб (абс.) ест» — *мейхъ йакъ-ла* «хлеб(абс.) съедается», *нана-с жагно хетIтIо* «мать (эрг.) книгу (абс.) читает» — *жагно хетIтI-ла* «книга (абс.) читается». В. С. Хра́ковский под вопросом относит эту конструкцию к пассивным [22]. Синтаксические свойства афф. *-ла* требуют дальнейшего изучения

опух», *гъаргъун-зу* «я замерз», *эргра-зу* «я устал», *кацIну-зу* «я испачкался», *уцура-зу* «я болен». Примеры на одноместные активные глаголы: *чеъра-за* «я сижу», *аьлхъуьра-за* «я смеюсь», *кIвухура-за* «я катаюсь», *дахъун-за* «я лег», *гъишун-за* «я заплакал», *гъилихун-за* «я поработал», *гъитIирхун-за* «я полетел», *гъудузвун-за* «я встал», *дийигъун-за* «я остановился», *дусун-за* «я сел», *албагун-за* «я помирился», *гъушун-за* «я пошел», *уцIвун-за* «я вошел», *хътаркун-за* «я вернулся», *урсун-за* «я прыгнул», *гъейиргун-за* «я подпрыгнул на месте», *гьергун-за* «я убежал», *гъуцвурхун-за* «я полз», *илбицун-за* «я кружился». Как можно видеть, в этих глаголах содержится информация о том, что $П^{п}$ контролирует ситуацию, и все противопоставление в целом, как кажется, образует примерно такие же два класса глаголов, как и в бацбийском.

Перейдем к рассмотрению эргативообразных построений с переходными глаголами. Здесь можно выделить два случая: первый — когда часть переходных глаголов выступает с $Д^{п}$ в форме косв. падежа, и второй — когда часть имен, выступающих в роли $Д^{п}$ при переходном глаголе, оформляется косв. падежом. В структурном отношении эти две конструкции не отличаются друг от друга; в обеих $П^{п}$ выражено эргативом, а $Д^{п}$ — формой, отличной от абсолютива. Однако их парадигматические признаки различны: в первом случае распределение эргативной и эргативообразной конструкции обусловлено свойствами глагола-сказуемого, во втором — $Д^{п}$.

Конструкция первого типа рассмотрена М. Е. Алексеевым, см. [20, с. 180—182], где подобные глаголы предлагается называть «квазитранзитивными». При них вообще не может выступать имя в абсолютиве, например, авар. *дица бицуна инсул* «я(эрг.) говорю об-отце(род. п.)», *дида хIанччана борохьица* «меня(лок.) укусила змея(эрг.)»; *танал ттухь цIуххала дунни* «он (эрг.) меня(лок.) спросил»; крыз. *ришир шидрух хокрägIäджи* «девушка (эрг.)сестру (адессив) зовет».

По предположению А. А. Бокарева, высказанному на материале аварского языка, подобные предложения могут быть результатом исторического преобразования таких эргативных конструкций, где имя в абсолютиве выражает участника ситуации, перемещение которого воздействует на другого участника, ср. лезг. *Алиди кицIе кьуьл эцяна* «Али собаку ногой (абс.) толкнул», чечен. *ас цIевнна доьхка доьхку* «я сноп свяслом(абс.) вяжу», авар. *дица досда кьабуна тIил* «я его ударил палкой(абс.)» [20, с. 184—185]. По А. А. Бокареву, «решающую роль здесь сыграло, по всей вероятности, то обстоятельство, что при глаголах *хIанчIизе* „кусать“, *зинкIкIизе* „щипать“, *чуртизе* „щелкнуть пальцем“... тот предмет, с помощью которого производится действие, заранее известен, так как у каждого из этих действий он один и особый. Этим создавались благоприятные условия для поглощения прямого дополнения сказуемым... При глаголах *кьабизе* „бить“, *чIвазе* „ударять“, *хIунсизе* „колоть“ объектов... может быть много. Это и создавало препятствия для поглощения их сказуемым» [27].

Из всех нахско-дагестанских языков, по-видимому, лишь в удинском выбор конструкции предложения при переходном глаголе может определяться грамматическими признаками имени в роли $Д^{п}$. В соответствии с правилом, сформулированным уже у А. Дирра [28, с. 17], абсолютивом оформляется в удинском языке только неопределенное $Д^{п}$, а определенное выступает в дательно-винительном падеже (*-х*); таким образом, в первом случае имеет место эргативная конструкция, а во втором — эргативообразное построение. В подтверждение этого правила А. Дирр приводил, в

частности, следующие примеры: *ахъа ме гӱмӱшун* ***заIнгну-х*** «возьми этот серебряный колокол», ***аргьо-х чIаппа*** «огонь потуши», но *за* ***шӱм тада*** «мне хлеба дай», ***фи ма уIгъа*** «вина не пей». В том же виде правило приводится у В. Шульце [29]. Е. Ф. Джейранишвили [30] предложил уточнение к этому правилу, сообщив, что оно действует только тогда, когда $Д^{п}$ находится в препозиции к глаголу-сказуемому; когда оно находится в постпозиции, имеет место свободное (нефункциональное) варьирование абсолютива и дательного-винительного. Однако просмотренные нами удинские тексты [6] в этом не убеждают, ср. следующие примеры: *гьазирбанан вуIгъ* ***хъатир*** «приготовьте семь мулов» и далее в тексте: *Рустамен ахъи вуIгъ* ***хъатира-х*** «Рустам, взяв семь мулов» (Р 7); *шотIгъонал такьунди шотIу сакьовицI* ***гӱмиш*** «они предложили ему тридцать серебренников» (Мф 26,15) и далее — *хъайнеди хъош сакьовицI* ***гӱмиша-х*** «возвратил тридцать серебренников» (Мф 27,3); *бинетIи арумун кьати ил* «посеял между пшеницею плевелы» (Мф 13,25) и далее — *гирбанан сӱфтӓ* ***иллу-х*** «соберите прежде плевелы: (Мф 13,30); *са* ***тIалантI*** *акьитIин* «получивший один талант» (Мф 25,18) и далее — *метӓр акьанан катIхо* ***тIалантIа-х*** «итак, возьмите у него талант» (Мф 25,28). В обследованных нами текстах не обнаружено никаких явных зависимостей между линейным расположением $Д^{п}$ и его падежным оформлением.

Распределение форм абсолютива и дательного-винительного в удинском языке для выражения $Д^{п}$ подчиняется следующим правилам:

1. Личные местоимения и собственные имена выступают только в дательно-винительном падеже (исключений не обнаружено): *шетIинал йакьанебе* ***за-х*** «он послал меня» (Ин 7,29), *зу* ***ва-х*** *азакIе* «я тебя видел» (Ин 1, 48), ***шетIу-х(-ал)*** *чихаркIестIа* «ее избавь» (Р 12), *Авраамен бинехе* ***ИсаакIа-х*** «Авраам родил Исаака» (Мф 1,2), *Филиппен боIгъаIнебса* ***Нафанаила-х*** «Филипп находит Нафанаила» (Ин 1,45).

2. Одушевленные (личные и неличные) существительные обычно также выступают в дательно-винительном падеже: *те чобани* ***чубгъо-х*** *танеша* «того пастуха жену берет» (Р 7), *ваI чIебакахун атIукIи* ***адамара-х*** «и проходя увидел человека» (Ин 9,1), *товкьундесай* ***усургъо-х***, ***эгьелгъо-х*** *ваI* ***гегӓргъо-х*** «продавали волов, овец и голубей» (Ин 2,14).

Отмечены случаи, когда одушевленные имена, будучи неопределенными или нереферентными, оформляются абсолютивом: *тIессагьат боIгъаIнанбо джӓгьл* ***элеIм*** «тотчас найдете молодого осла» (Мк 11,2), *ваI бинехо* ***гъар*** «и родит сына» (Мф 1,23), *ваI эвахте бесаин* ***чӓли***, *тадане* ***дизикI*** «и когда попросит рыбы, дал бы ему змею» (Мф 7,10), *фикиркьунби те акьокIса* ***элмух*** «подумали, что видят духа» (Лк 24,37).

3. Неодушевленные имена, будучи определенными, выступают в дательно-винительном падеже. Определенность может обеспечиваться: а) уникальностью объекта или его единственностью в данной ситуации: *ваI абаваIбако догьрина-х* «и познаете истину» (Ин 8,32), *шетIин могъоренестIа* ***халхну-х*** «он обольщает народ» (Ин 7,12), *эвахте шетIа чIикIурух банекса йӱ ваI чIенеха* ***хазалу-х*** «когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья» (Мф 24, 32); б) наличием детерминатора — элемента, придающего имени статус определенной референтности (указательного или притяжательного местоимения, прилагательного, определительного придаточного и т. п.): *акъа ви йоргъан* ***дӧшӓгӓ-х*** «возьми постель твою» (Ин 5,8), *ви* ***пачшахлыгъа-х*** *ахъалле* «твое царство возьмет» (Д 84), *ваI*

[6] Перевод Евангелия [31] (далее мы приводим ссылки на главу и стих по этому изданию), сказка «Рустам» [32] (далее Р с указанием страницы) и несколько сказок и разрозненные предложения, опубликованные А. Дирром [28] (далее Д и номер страницы).

экъунчери шетIа ***бе-х*** «и принесли его **голову**» (Мф 14,11), *чинечери ич* ***мерана-х*** «извлек **меч** свой» (Мф 26,51), *пасбанан ме* ***намаза-х*** «разрушьте **храм** сей» (Ин 2,19), *матIинте танеде йа ме* ***гьоуза-х*** «который дал нам этот **колодезь**» (Ин 4, 12), *хъайкъунпи кIоджин* ***йапугъа-х*** «раскрыли **кровлю** дома» (Мк 2,4), *амма хааIхоIнал укъун кеса* ***локIмигъо-х***, *маноте барреса агъагъо стIолахо шотIгъой* «но и псы едят **крохи**, которые падают со стола господ их» (Мф 15,27); в) эксплицитной упомянутостью объекта в предыдущем контексте: *шононе, матIухте зу,* ***кIутIор*** *йум чапи, тадалзу. ВаI* ***кIутIора-х*** *чапи, танеди Иуда* «тот, кому я, обмакнув **кусок** хлеба, подам. И, обмакнув **кусок**, подал Иуде» (Ин 13,26); *такъунди шетIа аъа кех* ***кIовал...кIовала-х*** *акъи, дукъунгъесай шетIа бех* «дали ему в правую руку **трость**... взявши **трость**, били его по голове» (Мф 27,29—30), *хинāрен чинечери кIойнун бошtIан* ***каIгъза-х*** «дочь вынула из шапки (то) **письмо**» (Д 85), *экIа абуз:* ***къызыл***, *йохсам намаз, матIинте афренеха* ***къызыла-х*** «что больше: **золото** или храм, освящающий **золото**?» (Мф 23,17).

В дательно-винительном падеже выступают также некоторые родовые наименования: *ваI йакъанбеса* ***агъалина-х*** *догъритIгъой ваI гунāгькIāргъой лахо* «и посылает **дождь** на праведных и неправедных» (Мф 5, 45), *йаратмишнебе* ***ише-х*** *кьан* ***чубгъо-х*** «сотворил **мужчину** и **женщину**» (Мк 10,6).

В дательно-винительном падеже выступают имена с кванторными словами *гьар(са)* «всякий», *бӱтӱн* «все», *гӧлӧ* «много»: *ваI пине шотIух бӱтӱн* ***догъритIу-х*** «и сказала ему всю **истину**» (Мк 5,33), *шелбесин гьар* ***азара-х*** *ваI гьарса* ***йāригъо-х*** *адамаргъой* «исцеляя всякую **болезнь** и всякую **немощь** в людях» (Мф 4,23).

4. Неодушевленные имена со статусом неопределенности или референтности выступают в абсолютиве: *зу боIгъаIзбе са* ***тыфāнг***, *тӣиа шено* «я нашел одно **ружье**, чье оно?» (Д 64), *зу вах таздеса* ***тāнгӣ*** «я тебе даю **деньги**» (Д 63), *ваI аIлди цацнухо* ***тадж*** «и сплетши **венец** из терна» (Мф 27, 29), ***матIинте*** *бинетIе шел* ***цил*** «который посеял доброе **семя**» (Мф 13, 24), *зу тазде эфаI* ***ӧгӱт*** «я дал вам **пример**» (Ин 13,15), *гӧлӧ вахтIе адамари* ***экъ*** *тез кей* «долгое время человеческого **мяса** не ел» (Р 12), *шел же тада* «хорошую **воду** дай» (Р 13), *банеке са кIоджин кIонджух, матIинте серребе* ***чIаплугъ***, *таранеди бипӵо* ***гьāсāр***, *катӣнепи шетIа бош* ***маран***, *серреби* ***минāрā*** «был некоторый хозяин дома, который насадил **виноградник**, обнес его **оградою**, выкопал в нем **точило**, построил **башню**» (Мф 21, 33), *сербен хиб* ***чāдир*** «сделаем три **кущи**» (Мк 9,5), *шотIгъон такъунди шотIу анесби чāлин* ***бар*** *ваI чечла* ***уIч*** «они подали ему **часть** печеной рыбы и сотового **меда**» (Лк 24,42).

Остается подчеркнуть, что из выбранных нами 400 примеров на оформление $Д^{п}$ обнаружилось не более 20 явных исключений из приведенных выше правил, описывающих соотношение эргативной конструкции и эргативообразного построения в удинском языке.

В текстах, записанных А. Дирром, обращает на себя внимание интересное явление, как кажется, еще не отмеченное в описаниях удинского языка: $Д^{ц}$, которое совпадает с ремой, присоединяет к себе местоименную клитику, тождественную личным аффиксам глагола, и выступает при этом в абсолютиве: *гIоIтӣаI дӧвен са* ***нишан-не*** *тастIа гъара* «потом дэв один **значок** (-он) дает сыну» (Д 93); *зу са* ***халча-з*** *сербо* «я один **ковер(-я)** сделаю» (Д 90); *зу пIаI* ***айел-зу*** *эчIо* «я двух **детей** (-я) принесу» (Д 90).

Подводя итоги, можно отметить высокую функциональную нагруженность эргативообразных построений. Это относится даже к одноместным

эргативообразным конструкциям, эргативное управление которых, вообще говоря, мотивировано формально. Как можно увидеть, сохранение такого управления дольше всего имеет место при глаголах с валентностью на агенс, глаголах с одушевленным партиципантом и т. п. Тем более сказанное выше верно по отношению к активному типу эргативообразного построения в бацбийском и табасаранском языках и к способу выражения категории определенности в удинском. Как показывает материал неродственных языков, функциональная нагрузка эргативообразных построений в нахско-дагестанских языках довольно типична для каждого из этих построений и отражает некоторые общеязыковые тенденции к использованию формальных средств в предикативной конструкции. О таких тенденциях в распределении конструкций с маркированным и немаркированным $Д^{п}$ см., например, в работах [33, 34]; о соотношении различных конструкций с непереходными глаголами см., например [35, 36].

Автор выражает благодарность А. Е. Кибрику за его любезное разрешение воспользоваться материалами Дагестанских лингвистических экспедиций МГУ, без привлечения которых фактическая база настоящего исследования была бы далеко не полной. Автор, кроме того, весьма признателен за ценные консультации М.-С. М. Мусаеву, М. Ш. Халилову, К. Т. Чрелашвили и Э. М. Шейхову.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Елизаренкова Т. Я.* Эргативная конструкция в новоиндийских языках // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л. 1967.
2. *Абдуллаев З. Г.* Очерки по синтаксису даргинского языка. М., 1971. С. 277—278.
3. *Климов Г. А.* Очерк общей теории эргативности. М., 1973. С. 51.
4. *Кибрик А. Е.* Предикатно-аргументные отношения в семантически эргативных языках // ИАН СЛЯ. 1980. № 4.
5. *Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянникова И. П., Самедов Д. С.* Опыт структурного описания арчинского языка. Т. I—III. М., 1977.
6. *Кибрик А. Е.* Материалы к типологии эргативности // Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 130. М. 1980. С. 3—4.
7. *Асланов А. М.* Функционирование тюркских глаголов на *-miš* в лезгинских языках // ЕИКЯ. 1977. IV.
8. *Гайдаров Р. И.* Лексика лезгинского языка. Махачкала, 1966. С. 239—240.
9. *Хайдаков С. М.* Система глагола в дагестанских языках. М., 1975. С. 29—30.
10. *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., 1974. Гл. 5.
11. *Шарафутдинова Р., Левина Р.* Хваршинский язык (предварительное сообщение) // Вопросы изучения иберийско-кавказских языков. М., 1961. С. 108.
12. *Гаджиев М. М.* Синтаксис лезгинского языка. Ч. I. Махачкала, 1954.
13. *Вахтин Н. Б.* Структура предложения со сказуемым — субъектно-объектным глаголом в эскимосском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1976. С. 20.
14. *Haiman J.* Hua: a Papuan language of the Eastern Highlands of New Guinea. Amsterdam, 1980. P. 292, 361.
15. *Moor M.* Studien zum lesgischen Verb. Wiesbaden, 1985.
16. *Шейхов Э. М.* Лексико-грамматические классы глаголов в лезгинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
17. *Schiefner A.* Versuch über die Thusch-Sprache oder die khistische Mundart in Thuschetien. St.-Petersburg, 1856 S. 73.
18. *Шухардт Г.* О пассивном характере переходного глагола в кавказских языках // Эргативная конструкция предложения. М., 1950. С. 36—37.
19. *Дешериев Ю. Д.* Некоторые особенности эргативного строя предложения в бацбийском языке // Язык и мышление. Т. XI. М.— Л., 1948. С. 155—157.
20. *Климов Г. А., Алексеев М. Е.* Типология кавказских языков. М., 1980.
21. *Дешериев Ю. Д.* Бацбийский язык. М., 1953. С. 224—226.
22. *Храковский В. С.* Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974. С. 39.

23. *Магометов А. А.* Местоименная аффиксация в глаголах табасаранского языка // ИКЯ. VII. 1955. С. 361—364.
24. *Магометов А. А.* Табасаранский язык. Тбилиси, 1965. С. 199.
25. *Ханмагомедов Б. Г.-К.* Очерки по синтаксису табасаранского языка. Махачкала, 1970. С. 68.
26. *Кибрик А. Е., Селезнев М. Г.* Синтаксис и морфология глагольного согласования в табасаранском языке // Табасаранские этюды. М., 1982. С. 25—26.
27. *Бокарев А. А.* Синтаксис аварского языка. М.— Л., 1949. С. 32.
28. *Дирр А. М.* Грамматика удинского языка // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXXIII. Отд. IV. Тифлис, 1904.
29. *Schulze W.* Die Sprache der Uden in Nord-Azerbaidžan. Wiesbaden, 1982. S. 194.
30. *Джейранишвили Е. Ф.* Удийский язык. Грамматика. Хрестоматия. Словарь. Тбилиси, 1971. С. 127 (на груз. яз.).
31. Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на русском и удинском языках / В переводе С. Бежанова // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Т. XXX. Тифлис, 1902.
32. Удинская сказка «Рустам» // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Т. VI. Тифлис, 1888.
33. *Козинский И. Ш.* Вариативность в кодировании дополнений и связанные с ней универсалии // Институт востоковедения АН СССР. Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 2. М., 1982.
34. *Comrie B.* «Definite» and «animate» direct objects: a natural class? // Linguistica Silesiana. 1979. V. 3.
35. *Dixon R. M. W.* Ergativity // Language. 1979. V. 55. No. 1.
36. *Rosen C. G.* The interface between semantic roles and initial grammatical relations // Studies in relational grammar. 2. Chicago—London, 1984.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

ЗАГИРОВ В. М.

О ЗАДАЧАХ И МЕТОДАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ ЯЗЫКОВ ЛЕЗГИНСКОЙ ГРУППЫ

На фоне определенных успехов в развитии дагестанской компаративистики достижения в области сравнительно-исторического изучения лексики представляются менее значительными. В то время как сравнительно-исторические исследования по фонетике дагестанских языков имеют достаточно длительную историю и представлены в дагестановедении целым рядом специальных публикаций, ср. [1—11], аналогичные разыскания в области лексики дагестанских, и в частности, лезгинских языков остаются до настоящего времени явно отстающими. Если не считать отдельных лексикографических трудов по историко-сравнительному изучению лексики дагестанских языков [12—14], закономерности, пути развития словарного состава языка от его истоков до современного состояния, словообразование, этимология и историческая лексикология в дагестановедении пока еще не стали предметом специального рассмотрения.

Подчеркивая трудность исследования истории «колоссального количества слов и их значений во всей их совокупности», Ф. П. Филин вполне справедливо полагал, что «на первых порах надо попробовать наметить пути развития словарного состава языка хотя бы в общем, приблизительном виде» [15, с. 3].

Недостаточно разработанными, а точнее говоря, почти не затронутыми остаются, например, вопросы сравнительно-исторического изучения лексики восточнолезгинских языков (агульского, табасаранского и лезгинского). Между тем хорошо известно, какое большое значение имеют подобные исследования. Более того, приходится констатировать, что до сих пор не только не сформулированы задачи и цели сравнительно-исторической лексикологии лезгинских языков, но даже неясно, какие именно вопросы предстоит решать в этой области в первую очередь.

Цели и задачи исторической лексикологии, как это было показано в основополагающих работах Ф. П. Филина [15—18] применительно к русскому языку, сводятся к тому, чтобы выяснить, «каковы были истоки словарного состава языка во всем его объеме еще в дописьменную эпоху, какими были инновации лексики этого языка после его обособления от других родственных языков, включая новообразования на унаследованной лексической базе и заимствования, чем отличался возникший язык от других родственных соседей, каким было его диалектное членение, какие процессы происходили в лексике и лексической семантике после возникновения и развития письменности, непрерывные изменения (обогащение из разных источников и отмирание архаизмов), имевшие место в течение столетий вплоть до нашего времени во всех разновидностях языка, письменного и устного» [15, с. 3]. Предстоит также выяснить основные закономерности и пути развития всего словарного состава языка вплоть до его

современного состояния, мотивы и условия возникновения каждого слова, время его появления (хотя бы приблизительно), эволюцию его значений и оттенков значений, их связей со значениями других слов [15, с. 3].

Эти же проблемы исторической лексикологии возникают и при рассмотрении совокупности языков, в частности, языков лезгинской группы, где задачи последовательного обоснования генетического родства лезгинских языков, определение черт материального сходства и различия между ними, выяснение путей их исторического развития оказываются давно назревшими.

К числу насущных проблем, стоящих перед исследователями лезгинских языков, относится и адекватное выявление генетической принадлежности богатейшего заимствованного фонда лезгинской лексики. Пока далеко не полно выявлен материал заимствований из арабского, персидского и тюркского источников, а древнейшие заимствования доарабской эпохи, в самом первом приближении рассмотренные О. И. Виноградовой [19], ожидают своего дальнейшего накопления и изучения. Возникает также необходимость сравнительно-исторического изучения исторических принципов системной организации лексики лезгинских языков (в частности, истории именных классов, системы словообразования). Думается, что все эти проблемы следует решать с максимальным привлечением материала. Между тем трудность поставленной задачи усугубляется тем, что объектом исследования являются младописьменные (лезгинский и табасаранский) и бесписьменные (например, агульский) языки. Последние, естественно, занимают особое положение, испытывая заметное влияние со стороны родственных письменных языков.

Будучи неотъемлемым компонентом целостного комплекса сравнительно-исторических изысканий, историческая лексикология отчетливо обособляется от других смежных лингвистических дисциплин, в частности, от исторической фонетики, открывающей закономерности развития фонетической системы языка. Сведения об этих явлениях и процессах историческая фонетика черпает как из современных языков или их диалектов, сохраняющих архаические формы в фонетике, так и из древнейших памятников письменности, если они имеются, заимствований, этнонимов и топонимов.

Такие же источники являются основными и для сравнительно-исторической лексикологии. Однако ее задачи, естественно, иные. Историческая лексикология устанавливает основные закономерности, пути развития словарного состава вплоть до его современного состояния, иначе говоря, историческая лексикология изучает пути формирования и обогащения этого словарного состава в связи с историей народа.

Должно быть очевидным, что без сравнительно-фонетических исследований невозможно определить те или иные лексические общности и расхождения и, соответственно, степень генетической близости родственных языков. Как неоднократно отмечалось в специальной литературе, иберийско-кавказская гипотеза, постулирующая генетическое единство картвельских, абхазо-адыгских и нахско-дагестанских языков, может быть доказана только путем установления регулярных фонемных соотношений в исторически идентичных лексических единицах основного словарного фонда [20]. Неслучаен факт, что именно в работах по сравнительно-исторической фонетике дагестанских языков уже накоплен весьма значительный словарный фонд, который может с уверенностью трактоваться как восходящий к общелезгинскому лексическому фонду. Ср., например, такие лексические параллели, как:

лезг. *нет*, таб. *ницц*, агул. *нетт*, хиналуг. *нимцI*, арч. *нацIцI*, удин. *нецц* «вошь»;

лезг. *вирт*, таб. *йиччв*, агул. *йитв*, рут. *ит*, цах. *итв*, будух. *йит*, крыз. *йит*, хиналуг. *ницI*, арч. *имцIцI*, удин. *уIчч* «мед»;

лезг. *рат*, таб. *рацц*, агул. *рат*, рут. *рат*, цах. *атта*, хиналуг. *роцI*, арч. *цIцIи*, удин. *эIчч* «гумно»;

лезг. *тIвар*, табл. *ццур/ччвур*, агул. *ттур*, рут. *дур*, цах. *до*, будух. *тур*, крыз. *тур*, хиналуг. *цIу*, арч. *цIцIор*, удин. *цци* < *ццир* < **цIцIир* «имя» и др.

Из приведенных примеров видно, что общелезгинский **цIцI*, восстанавливаемый на основе отражающих его *т/тI* в лезгинском, *цц/ччв* в табасаранском, *т/тт* в агульском, *д/тт* в рутульском и цахурском, *т* в крызском и будухском, *цц/чч* в удинском, сохранился в арчинском языке. Зная о таких регулярных рефлексах общелезгинской абруптивной геминированной свистящей аффрикаты *цIцI*, мы убеждаемся в историческом тождестве содержащих ее лексем, представленных в языках лезгинской группы.

Сравнительно-историческая фонетика дагестанских языков в настоящее время является наиболее разработанной областью дагестанской компаративистики. Поэтому в области исторической лексикологии лезгинских языков имеется благоприятная возможность учитывать, с одной стороны, результаты сравнительно-исторического изучения фонетики дагестанских языков в целом (Н. Трубецкой, Е. А. Бокарев, Т. Е. Гудава, Б. К. Гигинейшвили и др.) и звуковые закономерности и звуковые соответствия современных дагестанских языков, с другой. С помощью звуковых соответствий, установленных между отдельными современными дагестанскими языками, не только реконструирована система фонем общедагестанского праязыка, выведены соответствующие архетипы и правила их исторических изменений, но и выявлена значительная часть общедагестанского лексического фонда [21]. В целом ряде случаев реконструирован фонетический облик лексемных архетипов.

Однако, устанавливая закономерные звуковые соответствия, указывающие на фонетические критерии генетического отождествления лексем, исследователи значительно меньше внимания уделяют семантике реконструированного слова или формы, а нередко и вовсе предают забвению семантическую сторону лексем. Между тем лишь при кардинальном исправлении такого положения вещей станет возможным выявить важнейшие характеристики общелезгинского словаря (в частности, его тематическую структуру) и, следовательно, его соотношение с общедагестанским лексическим фондом.

Вследствие распространенности в прошлом представления о быстрой изменчивости, неустойчивости словарного состава фонетико-морфологическим данным, в которых прослеживаются устойчивые закономерности, отводилась главенствующая роль в решении историко-генетических вопросов. Действительно, словарный состав языка, непосредственно отражающий перемены в жизни общества, более изменчив, чем фонетический и морфологический строй. Тем не менее в определенных пластах лексики сохраняются древние элементы, передающиеся от одного поколения к другому. В этой связи Ф. П. Филин справедливо отмечал: «В современных языках сохраняются слова, которые древнее египетских пирамид, которые древнее всех современных фонетических и морфологических закономерностей. Именно лексика наиболее перспективна для решения важнейших этногенетических проблем. Кстати говоря, если бы в лексике не сохранялось

устойчивых пластов, то было бы невозможно составление этимологических словарей» [15, с. 13].

Исследования в области сравнительно-исторической фонетики родственных языков, предполагающие фонетические критерии генетического отождествления лексических единиц, как бы подготавливают почву для исследований по сравнительно-исторической лексикологии, одной из целей которой является сближение определенных лексических единиц, а также реконструкция их наиболее древнего значения.

Выявление первоначального значения слова и его дальнейшего изменения в родственных языках «фактически невозможно без знания истории данного народа, его этнографических особенностей, культуры, хозяйственного уклада его жизни и т. д.» [22, с. 61].

Тесная связь исторической лексикологии с культурно-исторической реальностью имеет очень важное значение для решения сложной проблемы этногенеза. Лишь немногим менее сложна задача культурно-исторической интерпретации данных лексики лезгинских языков в той мере, в какой нерасторжимая связь языка и общества позволяет заглянуть в прошлое народа, определить общий уровень его развития, условия жизни.

Здесь историческая лексикология вступает в тесную связь с этнографией, актуальной задачей которой является изучение культурного наследия народов нашей страны. По этому поводу еще П. К. Услар писал, что исследование горских языков «должно послужить краеугольным камнем для дальнейших этнографических работ, ...без чего таковые работы невозможны» [23]. И, напротив, для исторической лексикологии многое могут дать исследования в области истории, археологии и этнографии, материальной и духовной культуры народов Кавказа и Дагестана, по истории хозяйства, семейному быту, по древним религиозным верованиям, описанию поселений, жилищ, их архитектурных особенностей, национальной одежды и т. д. [1]. В качестве примера можно привести широко распространенное в лезгинских языках название женских шаровар, ср. лезг. *вахчег*, таб. *хуччиг*, рут. *вахчег*, крыз. *ваьхчег*, будух. *ахчег*, которое, как полагают, восходит к среднеперсидскому [19]. Ср. указание Агаширинovой, согласно которому «покрой лезгинских женских штанов находит широкие аналогии не только в Дагестане, но и у многих народов Кавказа и даже Передней Азии» [27, с. 225]. Сведения этнографии приобретают существенное значение и при анализе истории «общекавказского» слова неизвестного происхождения со значением «плуг», ср. лезг. *куьтен*, таб. *кутан*, агул. *кутан*, крыз. *кватан*, будух. *кутан*. арч. *кутан*. Позволительно усомниться, что оно является сколько-нибудь древним достоянием лезгинских языков, поскольку сама обозначаемая этим словом реалия («тяжелый сложный плуг») появилась в лезгинских районах лишь в конце XIX в. [27, с. 30].

Исторические данные всегда пересекались с языковыми. Установлено, что для выяснения вопросов происхождения народа и его древнейшей культуры недостаточно анализа фактов лишь одного-двух языков, для этого необходимо привлекать этнографические и лингвистические источники нескольких родственных языков. Историческая лексикология связана и с изучением языка фольклора, в котором как известно, сохраняются следы утраченных в языке лексем, представляющих очевидную ценность

[1] Можно указать на ряд этнографических и исторических работ, содержащих материалы, представляющие определенную ценность для исторической лексикологии лезгинских языков [24—26].

для сравнительно-исторического исследования словарного состава лезгинских языков.

Историческая лексикология, в частности, лексические реконструкции в силу своего семантического компонента так или иначе могут внести свою лепту в изучение истории общества. Подвергнутые в коллективной работе «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков» анализу древнейшие пласты лексики дагестанских языков проливают свет на некоторые стороны жизни носителей этих языков в далеком прошлом [13, с. 274—286]. Так, весь цикл скотоводческих терминов по всем отраслям представлен, по данным дагестанских языков, очень древней словарной группой, имевшей наибольшую употребительность в жизни и хозяйстве дагестанских народностей в далеком прошлом. Эта группа, включающая около двадцати названий животных, прежде всего подтверждает мнение о дагестанских народах как о древних скотоводах и земледельцах. Оно всецело подкрепляется, в частности, данными лезгинских языков (ср. исконно общие здесь названия собаки, быка, козы и т. д.).

Сравнительно-историческое изучение лексики лезгинских языков для определения генезиса их общих элементов предполагает выяснение истории и этимологии слов. Поэтому этимологию можно рассматривать в качестве одной из отраслей исторической лексикологии. Очевидны, однако, те огромные трудности, которые возникают на пути изучения истории слов в лезгинских языках, лишенных древнеписьменной традиции.

Этимология предусматривает сочетание методов внешней и внутренней реконструкции, основанных на сравнении фактов внутри и вне единой системы. В этом отношении девять лезгинских языков, обнаруживающих различную степень взаимного родства (от тесного до сравнительно отдаленного), предоставляют компаративисту очень благоприятный материал (предположение Ю. Д. Дешериева о нелезгинском характере хиналугского языка [28] оправдывается).

Историко-этимологические исследования лексики как лезгинских, так и вообще дагестанских языков не вышли еще из своей начальной стадии. Не созданы этимологические словари — своеобразные справочники, дающие исчерпывающую информацию об этимологии и истории слов всех современных дагестанских языков (следует отметить лишь существование рукописи лакского историко-этимологического словаря И. Х. Абдуллаева). В этом отношении в лучшем положении оказались родственные картвельские и абхазо-адыгские языки, которые уже имеют определенные традиции этимологических обобщений, и в частности опыт создания этимологических словарей (нельзя не отметить, что эти работы существенно облегчают — особенно в сфере исторических интернационализмов мусульманского мира — констатацию многих заимствований и в дагестанских языках).

Упомянутая выше работа коллектива сотрудников ИИЯЛ им. Г. Цадасы «Сравнительно-историческая лексика дегестанских языков» [13] — первый опыт изучения лексики в историческом аспекте. В теоретической части рассматриваются конкретные вопросы фонетики и грамматики дагестанских языков, описываются современный звуковой инвентарь и звуковые соответствия, а также структура именных и глагольных основ. Особый интерес представляет часть книги, содержащая словарное собрание, которое включает материал всех двадцати шести горских языков, демонстрирующий общность корней множества слов дагестанского языка-основы. В ней впервые в кавказоведении систематизирован прадагестанский словарь, где подвергнуто сравнительно-историческому рассмотренню около

400 лексических единиц. Эта работа, по существу закладывающая фундамент этимологического словаря, несомненно, послужит отправным пунктом дальнейших разысканий в области сравнительно-исторической лексики нахско-дагестанских языков.

Вслед за этой работой ученых вышел «Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков» С. М. Хайдакова [12], в котором привлекаются материалы 13 дагестанских языков, в том числе 5 письменных (аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский) и 8 бесписьменных (андийский, агульский, арчинский, бежтинский, крызский, рутульский, удинский, цахурский). По мере необходимости автор приводит и материалы ряда других дагестанских языков. Включается сюда и заимствованная лексика с указанием источника заимствования.

Как видно, работа по исторической лексикологии дагестанских языков только началась. В силу этого особенно важным представляется не только осознание места зарождающейся дисциплины в круг смежных направлений, о чем шла речь выше, но и определение тех приемов и методов, которыми эта дисциплина пользуется. Ниже мы попытаемся кратко охарактеризовать наиболее приемлемые для нас.

1. Отбор материала для сравнения. Как известно, «материалом для сравнения обычно служат элементы языка, принадлежащие к его наиболее устойчивым сферам. В области лексики это будут слова, составляющие так называемый основной словарный фонд языка — названия элементарных действий, явлений окружающей человека природы, местоимения, числительные, предлоги, послелоги и другие наиболее устойчивые лексические категории» [22, с. 39].

Действительно, в сравнительно-исторических изысканиях по лексике дагестанских языков в первую очередь уделяется внимание перечисленным тематическим группам. Так, в работе С. М. Хайдакова подавляющая часть лексического материала относится к таким тематическим группам, как «Животный мир», «Части тела», «Растительный мир», «Элементы ландшафта» и т. п.

Все же, думается, нельзя отбрасывать и лексику, хотя и менее пригодную для сравнения, но все же имеющую определенный удельный вес в общем словаре сравниваемых языков. Сопоставление, например, татар. *хахылдау* «хохотать», др.-греч. καχάζω и русск. *хохотать* [22, с. 39] с лезг. *хъуьруьн* «смеяться», естественно, не может говорить о генетической общности приведенных слов, поскольку во всех случаях здесь основу составляет идея звукоподражания. Однако не приходится сомневаться в том, что лексема со значением «смеяться» существовала и в общелезгинскую эпоху, хотя мы пока не в состоянии реконструировать ее определенный общелезгинский архетип: ср., например, лезг. *хъуIруьн*, таб. *алхъоIз*, агул. *элхъаIс*, рут. *йаIхъиI гьыъын*, цах. *аIхъаIна гьаъас*, будух. *ирхъиI*, крыз. *хъуридж*, арч. *хурас*, удин. *ахччум песун* [11, с. 306].

Аналогичным образом следует, по-видимому, подходить к специальным и культурным терминам. С одной стороны, эта область лексики, действительно, наиболее часто подвержена различного рода заимствованиям. В частности, в тематической группе, объединяющей названия одежды, лезгинские языки обнаруживают большое число заимствований из азербайджанского и персидского языков. Ср. лезг. *башлух* «бышлык», *башмакь* «башмак», *бухча* «одежда умершего», *келегъа* «тонкий головной платок из натурального шелка», *санжах* «булавка», *чалма* «чалма», *чекме* «сапог», *шал* «шаль», *элжек* «перчатки», *яйлух* «носовой платок» и др., заимствованные из тюркских языков [29]; таб. *зарбаф*, *кьумаш*, *магьут*, *маьхмар*,

парча, *чит* — виды тканей, *шалвар* «брюки» и др., заимствованные из персидского языка [30].

Однако определенная часть культурной лексики может оказаться исконной, и механически исключать ее из рассмотрения было бы ошибкой. Значение этой части словаря еще больше возрастет, если учесть, что именно на ее основе можно сделать важные выводы экстралингвистического порядка (например, о древней социально-экономической структуре общества, его материальной и духовной культуре), ср. [31].

2. Установление ряда сравниваемых единиц и их отождествление. Как уже отмечалось, «... знание исторической фонетики родственных языков представляет первейшее и самое необходимое условие для сравнения» [22, с. 40]. Данное положение является достаточно очевидным, хотя, как показывает практика сравнительно-исторических исследований дагестанских языков, оно все еще нередко забывается. Принцип регулярности фонетических соответствий подменяется в таких случаях принципом фонетического сходства, содержание термина «соответствие» трактуется уже не как соотношение двух единиц, восходящих к единой праформе, а как любое соположение двух или более сходных форм [21].

Сопоставление лексических единиц предполагает не только материальную, фонетическую сторону их анализа, но и содержательную. Естественно, что многие лексические единицы вступают в процессе развития языка в новые системные связи, меняют свое значение. Характеризуя состояние сравнительно-исторической лексикологии нахско-дагестанских языков в целом, М. Е. Алексеев справедливо отмечает недостаточную разработку вопросов семантических изменений: к сравнению обычно привлекаются лишь тождественные по семантике лексемы [21, с. 307]. Ограничиться изучением таких слов значит сознательно сузить объяснительные возможности исследования.

Привлечение к сопоставлению различных по своей семантике лексем требует, в свою очередь, применения специальных приемов, повышающих надежность таких сопоставлений. Так, обычно не вызывают сомнения сопоставления, в которых вариация значений укладывается в рамки классических семантических переходов, описанных еще Г. Паулем [32, с. 106—127]. Подтверждением этому может служить достаточно большое количество примеров такого рода и в лезгинских языках.

1. «Одной из главных разновидностей смысловых изменений,— пишет Г. Пауль,— является ...специализация значения вследствие сужения объема и обогащения содержания» [32, с. 106]. В качестве примера подобного процесса можно привести будух. *селкьи* «сбивать (масло)» в сочетании *реренг селкьи* (букв. «качать маслобойку»), сопоставимое с таб. *дакьуз*, агул. *дакьас* «взбалтывать, мешать, качать»; ср. также крыз. *видар*, будух. *видер* «рис», сопоставимое с лезг. *ттвар*, таб. *удар*, агул., удин. *видар* «зерно, зернышко» и др.; аналогичное явление обнаруживается при сопоставлении арч. *йāгьас* «веять» с лезг. *вегьиз*, таб. *ипуз*, рут. *сейес*, крыз. *саьгIаьдж*, будух. *сергIи* «бросать». Г. Пауль упоминает и такую разновидность специализации, «которая возникает вместе с первым употреблением слова» [32, с. 109]. Она обычно встречается при словообразовании. Ср., например, таб. *уьл* «хлеб», возводимое к глаголу *ипIуз* «есть». Между тем значение «еда» у слова *уьл* могло вообще никогда не существовать.

2. Другая разновидность семантических изменений, диаметрально противоположная первой,— это обеднение содержания

представления, связанное с расширением его объема [32, с. 110]. Примером такого явления в рассматриваемых языках может служить общелезгинская лексема со значением «сладкий» (ср. лезг. *верцIи*, таб. *ицци*, агул. *иттеф*, рут. *идды*, цах. *иттун*, арч. *ищI*, удин. *мучъа*), приобретшая в некоторых языках значение «вкусный». Ср. также будух. *хьаджрэдж* «весна, лето» при агул. *хъид*, рут. *хьад*, цах. *йухъан* «весна».

3. Достаточно разнообразны реализуемые в лексике лезгинских языков и приемы метафоры, подразделяемые на несколько групп:

а) «Весьма часто решающую роль играет внешнее сходство предметов» [32, с. 115]. В лезгинских языках подобное положение наблюдается, например, при сравнении лезг. *куг* «тыква» с агул. *гуг* «череп», рут. *гуг-уй* «макушка» (оба значения оказываются совмещенными в таб. *гуг*). Ср. также арчин. *чвал* «бахрома, кисть» при лезг. *ццуьл*, таб. *джвул*, агул. *жвал*, рут. *джваьл*, цах. *джол* «сноп»; таб. *йирф-ар*, агул. *ирф-ар* «спина» при лезг. *йирф*, рут. *йуф* «деревянная лопата»; цах. *мыгыл* «бок» (*«совокупность ребер») при лезг. *ккул*, агул. *мугул*, таб. *мургул*, рут. *мугул*, арч. *муккул*, крыз. *магул*, будух. *могул*, удин. *мугул* «веник» и др.

б) «К внешнему сходству может присоединиться еще и то, что, будучи частью целого, напоминает по своему положению часть другого целого» [32, с. 115]. Ср., в частности, таб. (хив.) *мучIур* «острие сохи» при агул. *мучIур* «подбородок», рут. *мычIри* «борода», арч. *мочIор* «борода», будух. *мичIер* «борода».

В сравнительных исследованиях не всегда учитывают возможность семантического переноса. Между тем лезг. *кьил* и таб. *кIул* «голова, колос» сопоставляется как с агул. *кIил*, рут. *гьукIул* и т. п. «голова», так и с агул. *кIетI*, рут. *гытI* «колос» [13, с. 107, 164]. Подобное совпадение значения «голова» и «колос» представляет собой классический случай метафоры. К часто фиксируемым в лезгинских языках семантическим отношениям относится также и сходство по функции, сопровождающееся или не сопровождающееся сходством по форме. Ср. лезг. *къав*, агул. *гIуй*, рут. *къав*, таб. *гъваъ* «крыша» при крыз. *къав* «мост»; арч. *хал* «гнездо» при агул., рут., таб. *хал*, цах. *хав* «дом» и др.

В лезгинских языках можно найти примеры и других семантических отношений, соответствующих классическим схемам переходов значений, ср.: агул., рут., таб. *хал* «дом» ~ крыз., будух. *хал* «крыша»; лезг. *векь*, таб. *укI*, агул. *укI*, рут. *укь*, цах. *окI*, удин. *о* «трава, сено» ~ арч. *йокIи* «летнее пастбище», крыз. *хIукь* «луг», будух. *вукь* «сенокосный участок»; таб. *хъвяхъ*, агул. *хъяхъв* «нос» ~ лезг. *хъвехъ* «щека»; лезг. *ппац*, таб., агул. *бац* «лапа» ~ рут. *бац-быр* «подушечки для снимания казана»; таб. *гъагъ*, агул. *гIагI* «ноша» ~ арч. *хъохъ* «спина» (пространственное соположение); таб. *ургам* «шуба» (*-ам* — былой суф. мн. ч.) ~ рут., цах. *ург* «ягненок»; лезг. *хъиццикь*, таб. *гъидикь*, агул. *кьядикь*, рут. *къыдыкь* арч. *кьонкь* «кожа, овчина, шкура» ~ будух. *къинджекь* «бурдюк» (предмет-материал); лезг. *гад*, таб. *хьад* «лето» ~ агул. *хьид*, цах. *йухъан*, арч. *лъанналхъ* «весна»; лезг. *гар*, таб. *хьар* «ветерок» ~ будух. *хьер* «ревматизм» — оба значения совмещаются в крыз. *хьар* (временное соположение) и др. Список подобных примеров нетрудно продолжить.

Все же основную трудность для сопоставления представляют не вышеприведенные случаи. Более сложными оказываются примеры многоступенчатых семантических переходов, адекватное объяснение которых требует не только определенной интуиции исследователя, но и его чрезвычайной осторожности. Как известно, забвение последнего условия приводило дагестановедов из числа сторонников «нового учения о языке» к самым фан-

тастическим построениям. Приведем в качестве примера следующую интерпретацию лезгинских омонимов *гъед* «звезда» и *гъед* «рыба»: «Прежде чем перейти к анализу термина *ǧed*, рассмотрим его в семантическом окружении языков лезгинской группы, имея в виду, что указанная форма в упомянутых значениях по законам палеонтологии должна восходить либо к „воде", либо к „небу", как часть к целому. В самом лезгинском „вода" звучит *yad*, в агульском и рутульском *xed* (...), а в таб. *шar* (...); „небо" же в большинстве случаев представлено одноэлементным комплексом /A/: в лезг. *γaw*, агул. *zaw*, рут. *ʕal*, цах. *qaw* и в таб. *ǎav* (...). Если помимо указанных терминов привести еще ряд звуковых комплексов в значении „звезды", в таб. *ʕar*, в агул. *ɛad* (кошан. д. *ħar*, керен. д. *ʕäd*), то общность звуковых комплексов в значении „воды" и „звезды" для нас станет бесспорным фактом...» [33]. Совершенно очевидно, что в этом рассуждении игнорировались не только обычные пути семантического развития, но и фонетические законы, в то время как их соблюдение, как известно, является необходимым условием любого сопоставления. Заметим, что возможность формулировки общих закономерностей семантического развития до сих пор ставится под сомнение. Так, согласно Э. Бенвенисту, в области значения «...единственной путеводной нитью является правдоподобие, основывающееся на „здравом смысле", на личном усмотрении лингвиста и на тех параллелях, которые он сумеет привести» [34].

Последний критерий (типологические параллели) является вместе с тем лингвистическим приемом, способным не только подкрепить предлагаемую этимологию, но и оказаться полезным в ее установлении. Так, при сопоставлении удин. *ошъ* «конец» с лезг. *сив*, таб. *ушв*, агул. *сиб*, цах. *сив*, будух. *сив* «рот» решающее значение приобретает совпадение обоих значений в арч. *ссоб*.

В отдельных случаях правомерность сопоставления подтверждают также сведения культурно-исторического и этнографического характера. Последнее обстоятельство тем более важно учитывать, поскольку «как свидетельствует практика этимологических исследований, и в современном кавказоведении мы встречаемся со множеством ошибочных семантических реконструкций, обязанных неучету культурно-исторического фона функционирования лексики... Так, характер отношения лингвистов-этимологов к свидетельствам истории культуры Дагестана можно определить как незнание основных результатов, достигнутых дагестановедами смежных специальностей» [35].

Как правило, реконструкцию значения архетипа сопоставляемых лексем естественно производить одновременно с их генетическим отождествлением (см. выше примеры с будух. *селкьи*, крыз. *видар* и др.). Тем не менее оба приема следует разграничивать, так как во многих случаях при очевидной семантической близости сравниваемых лексем направление семантического развития установить не удается. Именно подобным обстоятельством, по-видимому, объясняется сознательный отказ от семантической реконструкции в целом ряде этимологических словарей [36, 37]. Означает ли это отсутствие каких-либо внутриязыковых свидетельств в пользу того или иного пути семантического развития?

На наш взгляд, на этот вопрос следует ответить отрицательно, поскольку изменение значения одного слова вызывает соответствующие изменения в других словах или же, напротив, может являться следствием таких изменений. Так, значение таб. *накьв* «могила» представляется вторичным по отношению к семантике лезг. *накьв* «земля», поскольку в лезгинских языках сохранилось исконное слово со значением «могила» (ср. лезг. *сур*).

Изменение значения старой лексемы может быть вызвано и усвоением заимствования, ср цах. *вукIул* «голова женщины» при лезг. *кьил* и т. п. «голова». В цахурском произошло сужение семантики лексемы в результате проникновения заимствования *келле* (<азерб. *каьллаь* «череп, голова») «голова мужчины». Вытеснить исконное слово способен и описательный термин, причем описательный характер последнего может со временем оказаться затемненным.

В ряде случаев производность того или иного значения подтверждается словообразовательной производностью соответствующего слова. Например, значение «мельница» лезг. *регъв*, таб. *рягъ*, агул. *рахI*, рут. *руIх* представляется вторичным по отношению к арч. *деIхв* «жернов», поскольку в арчинском имеется производное *духхаIт* «мельница». Остальные лезгинские языки воспользовались не словообразованием, а семантическим переносом.

В сферу компетенции исторической лексикологии входит, естественно, и рассмотрение общих принципов системной организации лексического состава языков. Активно изучаемые на материале отдельных языков, эти принципы потребуют и своей диахронической интерпретации. Из большого перечня традиционно относящихся сюда проблем для нас особо существенное значение приобретает историческое изучение функционирующих здесь именных классификаций. И хотя уже предшествующими исследователями отчетливо установлена направленность развития от многочленных систем к их свертыванию и даже к утрате (в удинском, лезгинском и агульском языках) (ср. [38]), именно исторической лексикологии предстоит нарисовать исчерпывающую картину этого чрезвычайно длительного процесса. Другое направление работ составляет в этой связи выяснение удельного веса дескриптивной лексики в словарном фонде лезгинских языков.

Нетрудно увидеть, что изложенные в данной статье соображения представляют собой в некотором роде программу исследований, выполнение которой является в настоящее время все более актуальной задачей. Ее удовлетворительное решение потребует немалых усилий как по систематизации, так и по анализу богатейшего словарного состава лезгинских языков; тем самым будут заложены основы построения исторической лексикологии дагестанских языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Trubetzkoy N.* Nordkaukasische Wortgleichungen // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Bd. XXXVII. Hf. 1—2. Wien, 1930.
2. *Trubetzkoy N.* Die Konsonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen // Caucasica. Fasc. 8. Leipzig, 1931.
3. *Микаилов Ш. И.* Сравнительно-историческая фонетика аварских диалектов. Махачкала, 1959.
4. *Бокарев Е. А.* Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков. Махачкала, 1961.
5. *Бокарев Е. А.* Сравнительно-историческая фонетика восточнокавказских языков. М., 1981.
6. *Гаприндашвили Ш. Г.* Фонетика даргинского языка. Тбилиси, 1966.
7. *Гудава Т. Е.* Консонантизм андийских языков. Тбилиси, 1964.
8. *Гудава Т. Е.* Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тбилиси, 1979.
9. *Гигинейшвили Б. К.* Сравнительная фонетика дагестанских языков. Тбилиси, 1977.
10. *Акиев А. Ш.* Историко-сравнительная фонетика даргинского и лакского языков. Махачкала, 1977.
11. *Талибов Б. Б.* Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.

12. *Хайдаков С. М.* Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков. М., 1973.
13. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М., 1971.
14. *Мусаев М.-С. М.* Лексика даргинского языка (сравнительно-исторический анализ). Махачкала, 1978.
15. *Филин Ф. П.* Проблемы исторической лексикологии русского языка. (Древний период) // ВЯ. 1981. № 5.
16. *Филин Ф. П.* Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей). Л., 1949.
17. *Филин Ф. П.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
18. *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.— Л., 1962.
19. *Виноградова О. И.* Древние лексические заимствования в дагестанских языках: Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1982. С. 9.
20. *Фенрих Х.* К иберийско-кавказской гипотезе // ВЯ. 1974. № 2. С. 83.
21. *Алексеев М. Е.* Нахско-дагестанские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981.
22. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973.
23. *Услар П. К.* Письма к Берже. Чеченский язык. Тифлис, 1888. С. 33.
24. *Калоев Б. А.* Агулы (историко-этнографический очерк) // Кавказский этнографический сборник. М.— Л., 1962.
25. *Лавров Л. А.* Рутульцы в прошлом и настоящем // Кавказский этнографический сборник. М.— Л., 1962.
26. *Ихилов М. М.* Народности лезгинской группы. Махачкала, 1967.
27. *Агаширинова С. С.* Материальная культура лезгин XIX — нач. XX вв. М., 1978.
28. *Дешериев Ю. Д.* Грамматика хиналугского языка. М., 1959. С. 207.
29. *Гайдаров Р. И.* Лексика лезгинского языка. Махачкала, 1966. С. 215.
30. *Загиров В. М.* Лексика табасаранского языка. Махачкала, 1981. С. 61.
31. *Климов Г. А.* Вопросы методики сравнительно-генетических исследований. Л., 1971. С. 67.
32. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
33. *Шаумян Р. М.* Armeniaca-lesgica (Армяно-лезгинские лексико-морфологические параллели) // Академику Н. Я. Марру. М.— Л., 1935. С. 421.
34. *Benveniste E.* Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word. 1954. V. 10. № 3—4. P. 251.
35. *Климов Г. А.* К семантической реконструкции (по материалам кавказской этимологии) // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985. С. 18.
36. *Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. М., 1978.
37. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—7. М., 1974—1980
38. *Кахадзе О. И.* Грамматические классы в лезгинских языках (историко-сравнительный анализ). Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

СОЛНЦЕВ А. В.

ВИДЫ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ

Обычно считается, что номинативность есть свойство словесного знака называть что-либо. Иногда к номинативным единицам языка относят не только слова, но и словосочетания, а также предложения [1, с. 14]. С другой стороны, отмечается, что не всякие единицы являются номинативными и что следует различать «собственно номинативные (называющие) и „менее“ номинативные (неназывающие) знаки» [1, с. 37].

Понимание номинативности как свойства знаковых единиц тесно связано с пониманием природы, свойств и иерархии самих знаковых единиц языка. Деление единиц на субзнаки, собственно знаки и суперзнаки [2, с. 137] позволяет очертить рамки номинативных единиц — к ним, прежде всего, относятся собственно знаки. Если отнесение предложений к суперзнакам не вызывает разногласий, то разграничение субзнаков и собственно знаков проводится неоднозначно. Существует мнение, что субзнаками являются фонемы и слоги, а собственно знаками — морфемы и слова [2, с. 137]. Наряду с этим существует концепция, в соответствии с которой знаками считаются только слова, а субзнаками не только фонемы (слоги), но и морфемы. Предпочесть ту или иную концепцию, значит, по нашему мнению, определить, относятся ли морфемы к знакам или нет. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой односторонние единицы (фонемы, слоги) являются субзнаками, а двусторонние (морфемы, слова) являются знаковыми единицами (строго говоря, не они сами, а их звуковые оболочки).

Номинативность как свойство двусторонних единиц языка (впрочем, как и единиц речи) что-либо называть или, шире, служить обозначением чего-либо обычно противопоставляется коммуникативности (способности сообщать что-либо), присущей таким единицам речи, как предложения. Все единицы языка и речи, кроме предложений, обладают только свойством номинативности, т. е. являются названиями, «ярлыками» каких-либо предметов, понятий, понятийных ассоциаций и т. п. Что же касается предложений, то они, наряду со свойством коммуникативности, одновременно обладают и свойством номинативности. Другими словами, предложения, сообщая о каком-либо факте или событии, одновременно называют его. Именно в силу этого возможно чисто номинативное употребление предложений как названий книг, картин, кинофильмов и т. д.

Иногда считают, что слова как номинативные единицы могут иметь самостоятельное бытие вне предложений, например, в словарях или в качестве названий («ярлыков», «этикеток») магазинов, предприятий и т. п., выступая без грамматической характеристики в полном объеме [3]. В том, что слова-наименования (номинатемы) проявляют некоторое своеобразие вне предложения, безусловно, содержится глубокое рациональное зерно. Следует, однако, учитывать, что «значения слова, отмеченные в словаре, есть метауровень для собственно значения слова, существующего только в

реальных высказываниях, конкретных коммуникативных актах» [1, с. 121]. Необходимо учитывать и то, что слова-наименования типа «Гастроном», «Аэропорт», «Метро» не только называют объект, но и сообщают о том, что именно этот объект, а не другой является гастрономом, аэропортом, метро. Слова-названия («ярлыки», «этикетки» и т. д.) являются, скорее, не словами, а предложениями — единицами, способными как к названию факта или события, так и сообщению о факте или событии действительности.

Можно считать, что все двусторонние единицы языка и речи обладают в той или иной мере свойством номинативности. При этом все единицы я з ы к а обладают только свойством номинативности. Среди единиц р е ч и имеются чисто номинативные единицы, которые образуются по моделям и схемам, а также единицы, способные не только к номинативному, но и коммуникативному употреблению, т. е. предложения.

Оставляя в стороне вопрос о номинативных свойствах так называемых коммуникативных единиц (эта проблема должна быть рассмотрена особо), обратимся к рассмотрению номинативных единиц, лишенных коммуникативности.

Среди номинативных единиц основной, или центральной, единицей должно быть признано слово, т. е. именно слово обладает способностью к самостоятельной номинативной функции [1, с. 235] и именно из слов (но не из морфем или словосочетаний) образуются предложения, которые, по-видимому, по этой причине могут состоять из одного слова. Простые слова характеризуются простой (нерасчлененной, глобальной) номинативностью и называют (обозначают) либо предмет (понятие), ср. япон. *хон* «книга», *иноти* «жизнь», *масацу* «трение», либо признак (признак, процесс, признак признака и т. п.), ср. япон. *аой* «голубой», *аруку* «ходить пешком», *сукоси* «немного» и т. д. В отличие от простых слов комбинация слов (словосочетание) репрезентирует соединение некоторых отдельных значений, в результате которого образуется сложная номинативная единица. Сложные единицы языка характеризуются сложной, расчлененной номинативностью, ср. япон. *кирэйна кэсики* «красивый пейзаж», *осоку каэру* «поздно возвращаться». Заметим, что фразеологизмы и устойчивые словосочетания, хотя и состоят из нескольких слов, в плане номинации глобальны, т. к. значение целого не вытекает из значения компонентов [4, с. 6—7].

Со словосочетаниями, как известно, сближаются сложные слова, а также словосцепления [5]. Эти единицы, как и словосочетания, характеризуются сложной, расчлененной номинативностью, ср. япон. *аодзирой* «бледно-синий», *ёмиовару* «закончить читать». Компоненты сложных слов и словосцеплений обладают глобальной, нерасчлененной номинативностью, ср. япон. АО «голубизна», *сирой* «белый» т. п. Компонентами сложных слов являются несамостоятельные единицы (корневые морфемы и основы). Такие единицы не способны к самостоятельному употреблению без соответствующего оформления (они могут внешне совпадать со словами, но по правилу уровневой сочетаемости словами не являются). Их номинативность может быть охарактеризована как несамостоятельная в отличие от самостоятельной номинативности слов. Несамостоятельная номинативность свойственна не только корневым морфемам, но и словообразовательным аффиксам (япон. *кобито* «карлик», ср. *ко* «маленький», *хито* «человек»), т. е. в производном слове имеется развитие (видоизменение, дополнение) номинации исходного слова [1, с. 268].

Номинативность слов отличается от номинативности морфем (корней и словообразовательных аффиксов) не только по признаку самостоятель-

ность/несамостоятельность, но также по характеру передаваемых ими значений. Слова, как известно,— понятийны, а морфемы — ассоциативны. Исходя из этого, номинативность слов определяется как понятийная, а номинативность морфем как ассоциативная. Потеря синтаксической самостоятельности есть причина видоизменения понятийной номинативности в ассоциативную.

Не все морфемы способны быть собственно номинативными единицами. Так, интерфиксы и формообразующие аффиксы выполняют чисто строевые, служебные функции и не изменяют семантики единиц, с которыми сочетаются. По-видимому, номинативными можно считать единицы, если они обладают лексическим значением в полной мере (как слова или корневые морфемы) или если эти единицы не полностью десемантизированы и сохраняют лексическую отнесенность (ср. nomina agentis). Формообразующие аффиксы и интерфиксы являются отражением внутриязыковой действительности в наиболее абстрактном виде. О «номинативности» формообразующих аффиксов можно говорить с известной долей условности.

Другой вид несамостоятельных номинативных единиц представлен служебными словами. Если «номинативность» морфем развивается по линии потери синтаксической самостоятельности и, затем, изменения характера передаваемого значения, то служебные слова не теряют синтаксической свободы и отдельности (ср. служебные слова — компоненты аналитических форм), но теряют способность внеязыковой номинации. Номинативными могут быть названы служебные слова, не полностью потерявшие вещественное значение. (Ср. вспомогательные глаголы.) Полностью десемантизированные служебные слова (если таковые существуют) являются референтами внутриязыковой действительности и в этом сближаются с аффиксами словоизменения. Номинативность служебных слов может быть условно охарактеризована как «внутриязыковая». Несмотря на синтаксическую самостоятельность, которая выражается в свободе дистрибуции и отделяемости, служебные слова могут только в редких случаях (например, эллипсиса) самостоятельно выполнять номинативные функции [1, с. 235]. Тезис, в соответствии с которым грамматические средства отличаются от лексических отсутствием номинативной функции, представляется неточным; поэтому к средствам номинации относятся не только лексические единицы, но любые, не подвергшиеся десемантизации элементы языковой системы, служащие для обозначения объектов, связей, качеств, отношений [1, с. 236—237].

Выше уже говорилось, что номинативными признаются все знаковые единицы языка. Видимо, в некоторых случаях как субзнаки, так и суперзнаки могут «моментально» приобретать функцию номинации. «Длительная» номинативность, при которой некоторое значение длительно или постоянно закреплено за некоторой звуковой оболочкой (или звуковыми оболочками), свойственна собственно знакам. Возможно, следует определять номинативность единиц языка как «длительную» (узуальную), а номинативность единиц речи как «моментальную» (окказиональную), имея в виду тот факт, что первые воспроизводятся, а вторые производятся в речи. «Моментальная» номинация создается в момент коммуникации для нужд понимания.

Будучи противопоставленной коммуникативности, номинативность тесно с ней связана. Номинативность есть свойство единицы выступать как «ярлык», знак понятия (или ассоциации). Любой предмет (в языке — звукоряд) наделяется свойствами знака (свойство указания на что-то, лежащее вне его) только для целей коммуникации. Вне связи с коммуникаци-

ей понятие знака, а следовательно, и номинативности (номинативность есть свойство быть знаком) теряет смысл.

Номинативная единица (знак) прямо или опосредованно представляет «материал» для коммуникативной единицы и в то же время при определенных условиях несет в себе потенциальную способность выступать как минимальная коммуникативная единица (предложение). Среди единиц, обладающих качеством номинативности, не все могут выступать как потенциальный минимум предложения. Этим свойством обладают только слова (или эквиваленты слов), ср.: *Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет* (А. Блок).

Слово, выполняя роль строительного материала предложения, наделяется рядом новых свойств, помимо свойства быть «ярлыком». Эти приобретаемые в предложении свойства можно назвать синтаксической значимостью. Словоформа не только обладает номинативной («ярлыковой») функцией, но также несет в себе указание на синтаксическую роль слова. Для языка безразлично, какая из словоформ будет выбрана в качестве «словарной», репрезентирующей все остальные словоформы. Так, в русском и английском языках «словарной» формой глагола являются инфинитивы, в латинском языке — это словоформа 1-го лица ед. числа (ср. *cogito*), в монгольском языке — это причастие будущего времени, а в японском — словоформа настояще-будущего времени с нейтральными значениями наклонения, залога, вида и т. п. Это говорит о том, что «словарная» форма не является основной или центральной. Она выбирается произвольно и лексикографической практикой людей закрепляется в качестве «словарной».

Итак, слова характеризуются глобальной (ср. сложные слова и словосочетания), понятийной (ср. корни), внеязыковой (ср. служебные слова и формообразующие аффиксы), длительной (единицы языка) или моментальной (единицы речи), самостоятельной (ср. служебные слова и морфемы) номинативностью. Сложные слова характеризуются расчлененной, понятийной, внеязыковой, длительной, самостоятельной номинативностью. Словосочетания — расчлененной, понятийной, внеязыковой, моментальной, самостоятельной номинативностью. Служебные слова — глобальной, внутриязыковой, длительной (кроме сложных слов, образуемых по открытым моделям) несамостоятельной номинативностью. Корневые морфемы (и словообразовательные аффиксы) — глобальной, внеязыковой, длительной, ассоциативной, внутриязыковой, длительной, несамостоятельной номинативностью [6].

ЛИТЕРАТУРА

1. Языковая номинация (общие вопросы). М., 1977.
2. Общее языкознание. Минск, 1983.
3. *Головнин И. В.* Введение в синтаксис современного японского языка. М., 1979.
4. *Быкова С. А.* Устойчивые словосочетания в современном японском языке. М., 1985.
5. *Пашковский А. А.* Слитные именные словосочетания // Японское языкознание. М., 1963.
6. *Солнцев А. В.* К вопросу о номинативности // Типы коммуникации и содержательный аспект языка: Тез. докл. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Бондарко А. В. **Функциональная грамматика.** Л.: Наука, 1984. 133 с.

Небольшая по объему, но исключительно емкая по своему содержанию, книга А. В. Бондарко, посвященная обоснованию принципов функциональной грамматики нового типа, заставляет задуматься о многих кардинальных проблемах современной лингвистики, и прежде всего о путях развития нашей науки и складывающихся в ней канонах грамматического описания языка. Она вводит читателя в сложный и интересный мир поисков адекватной модели представления языка и всех тех понятий, которые необходимы, по мнению автора, для осуществления этого глобального замысла. Четкая композиция работы, ясный стиль изложения, оригинальность — все эти черты прежних исследований А. В. Бондарко особенно ценны здесь, в теоретической монографии, подводящей итоги его собственной многолетней деятельности в сфере грамматики и предлагающей продуманную и ясно аргументированную концепцию грамматического описания нового типа. Именно поэтому все, что говорится далее о книге А. В. Бондарко, мыслится не столько как рецензия на нее в полном смысле этого слова. Это скорее соображения по поводу книги, размышления, которые связаны с поставленными в ней проблемами и их решениями. Вместе с тем прежде чем поделиться этими соображениями, кажется важным хотя бы бегло охарактеризовать содержание книги и ее общий замысел.

Книга композиционно проста и содержит три главы. В первой из них освещаются предмет и задачи функциональной грамматики и дается краткая характеристика трех разновидностей функционально-грамматических описаний: основанных на принципе «от формы к значению», «от средств к функциям», на принципе «от значения к форме», «от функций к средствам» и, наконец, на синтезе направлений анализа от формы и от значения (ср. [1]). В первой главе изложены также кратко взгляды сторонников того или иного типа грамматик и показывается их место в разработке теории функционального описания. Указывается, например, что принцип «от значения к форме» уже лежал в основе развернутого описания совокупности понятий и средств их выражения в известном труде Ф. Брюно, в котором уже ставилась задача «реформировать грамматику» (с. 12). Но сам Брюно связывал свой принцип описания языковых фактов с практическими целями преподавания. Указывает автор и на важные идеи Л. В. Щербы о различении активной и пассивной грамматик: известно, однако, что Л. В. Щерба скептически относился к возможности последовательного построения грамматики в направлении «от смысла к форме» (с. 12). Можно было бы добавить, что функционально-ономасиологический подход был предложен и в теории лексико-грамматических полей Е. В. Гулыги и Е. И. Шендельс, а также Г. С. Щура. Но задача этой главы видится автору, конечно, не в том, чтобы изложить историю формирования функциональных грамматик, а чтобы сформулировать свое отношение к предлагавшимся и ранее разным направлениям грамматического анализа и подойти к определению, даваемому здесь таким центральным для книги понятиям, как функция и функционирование, а, главное, охарактеризовать ту разновидность функциональной грамматики (ФГ), которая оперирует понятием функционально-семантического поля (ФСП).

Глава II разъясняет структурные типы ФСП, прежде всего поля таксиса. Подробное описание получает поле таксиса в русском языке. Глава III посвящается выдвижению понятия категориальной ситуации как понятия, необходимого для разработки и теории поля и связывающего поле в системе с полем речи, «с полем в его отношении к передаваемым высказыванием ситуации» (с. 99). В итоге в книге последовательно рассмотрены общие основания ФГ нового типа и два ее главных конституента — функционально-семантическое поле и категориальная

ситуация. Рассмотрев композицию книги, мы можем перейти теперь и к освещению ее замысла.

Итак, в чем видит конечные цели создания функциональной грамматики ее автор? С помощью какой системы понятий предлагает он строить грамматику нового типа? Каким конкретно видится ему план грамматического описания и что, по его мнению, должно быть сюда включено?

По всей видимости, термин «функциональный», внесенный в название типа грамматики, можно понимать здесь в двояком смысле. Предлагаемая грамматика строится как синтезирующая данные о системе языка и о его реальном использовании в речи, главным образом, в рамках такой ее единицы, как высказывание. В этом смысле термин «функциональный» должен быть воспринят в значении «зависящий от деятельности» [2], и, следовательно, описываемый А. В. Бондарко тип грамматики,— это грамматика языка в его деятельности, языка в действии. Присутствует, однако, в значении термина и другой смысл — «относящийся к функциям языковых единиц и к формулам их функционирования», а в этом смысле «функциональная грамматика» представляет собой грамматику, базовым понятием которой является понятие функций языковых единиц и совокупности функций, выделенных по тому или иному основанию. Функциональная грамматика, по А. В. Бондарко, это описание языка, во главу угла которого положены такие сложные и объемные единицы описания, как ФСП, выделенные по принципу общности выполняемых составляющими поля функций, а также реализующие определенные смысловые цели этих функций содержательные структуры — категориальные ситуации (КС).

В более специальном значении ФГ может быть, следовательно, охарактеризована «как грамматика функционально-семантических полей и категориальных ситуаций» (с. 21), причем анализ тех и других, приводящий к подробному описанию каждого из выделенных полей и каждой из доминирующих категориальных ситуаций и различным классификациям тех и других, замыкается на анализе высказывания в его семантическом (сигнификативном) аспекте. Введенные автором понятия ФСП и КС служат, таким образом, объяснению формирования семантики высказывания, а, значит, помогают понять одну из наиболее сложных проблем современной лингвистики: вопрос о том, как складывается значение предложения (ср. [3, 4]).

ФСП имеют две формы существования в языке, две проекции: в систему языка, с одной стороны, и в закономерности их использования, т. е. в речь, с другой (с. 102). Последнее связывает их с КС, ибо КС — это типовая содержательная структура, базирующаяся на определенном ФСП и репрезентирующая в высказывании тот или иной вариант семантической категории, лежащей в основе ФСП.

В отличие от традиционной грамматики, уделявшей главное внимание выделению и описанию объединений, учитывающих общие формальные признаки единиц, в функциональной грамматике с ее понятием ФСП учитываются признаки семантические. И хотя ФСП определяется как «двухстороннее (содержательно-формальное) единство, охватывающее конкретные средства данного языка со всеми особенностями их формы и содержания», в основе этого единства лежит определенная семантическая категория, некий семантический признак, проходящий в виде инварианта через всю систему разноуровневых средств одного поля (см. с 21). Примечательной чертой поля как единицы грамматического описания является, на наш взгляд, включение в него наряду с морфологическими, синтаксическими и словообразовательными средствами лексических (см. также ниже), т. е. всех средств, «объединенных на основе общности и взаимодействия их семантических функций» (с. 22). Таким образом, именно выполнение языковой единицей определенной семантической функции становится основанием для того, чтобы причислить данную единицу к определенному ФСП и рассматривать ее на фоне прочих единиц (средств) того же поля. Определяющая роль понятия семантической функции для описания всего поведения языковой единицы постулируется, таким образом, вполне недвусмысленно.

Мысль о том, что «основанием для объединения структурно разнородных языковых средств в составе данного поля является общность их семантических функций» (с. 38), воспринимается нами как ключ ко всей функциональной грамматике, но, признавая это, мы должны признать не только основополагающее значение понятия функции для всей концепции А. В. Бондарко, но и то, что трактовка понятия функции вообще и семантической функции в частности выводит функциональную грамматику за пределы собственно грамматического описания и приближает предлагаемую систему к характеристике особой модели функционирования языка.

В наших терминах модель, предлагаемая А. В. Бондарко, это модель ноэтического пространства языка, проекция его содержательных возможностей, изображаемых с помощью системы ФСП, это стратификация семантических категорий в том их виде, в каком они объективиро-

ваны в системе языка средствами разных уровней, единицами разной протяженности и разной структуры. И именно потому, что семантическая категория описывается не умозрительно, а в «привязке» к реализующим ее языковым формам, предлагаемая модель позволяет установить и описать многие черты и свойства языковых единиц в новом ракурсе и, главное, в более полном виде. Основную роль в решении этой задачи и призваны осуществить понятия функции и формулы функционирования отдельно взятых языковых единиц.

По нашему убеждению, все сказанное позволяет утверждать, что хотя на страницах книги речь все время идет подчеркнуто о новом типе грамматики, синтезирующем направление анализа «от формы (средств) к значению (функции)» и направление анализа «от значения (функции) к форме (средствам)», перед нами исследование, ставящее и решающее вопрос о том, что должно быть включено в описание языка вообще, т. е. тогда, когда границы грамматики пересматриваются в направлении их существенного расширения и «раздвижения». Возможно, такой широкий выход за пределы области исследования, установленные традиционной грамматикой, и покажется некоторым грамматистам неоправданным. Так, лексические средства передачи значений, являющихся в данном языке выражающимися в первую очередь грамматически, еще никогда не включались в грамматическое описание в таком объеме. Трудно также представить себе реально, чтобы для отдельного поля можно было охарактеризовать «полный состав» средств (см. с. 25), как и для отдельной грамматической формы — все случаи ее употребления. Но ведь ФГ не ставит своей целью отменить существующие грамматики, рассчитанные не только на решение иных задач, но и на другого адресата и, главное, предполагающие иную степень детализации и иную ступень обобщения и абстракции.

Интересно поэтому рассмотреть ФГ А. В. Бондарко на фоне других направлений современной грамматической мысли, особенно тех, которые тоже используют в качестве центрального понятие функции.

Современное состояние лингвистики характеризуется, как никогда ранее, почти одновременным выдвижением нескольких новых моделей описания грамматического строя языка. Достаточно вспомнить в этой связи о грамматике Монтегю и других разновидностях категориальных грамматик, о грамматике падежной и ролево-референциальной, о грамматике зависимостей и грамматике текста, о когнитивной грамматике и некот. др. А ведь параллельно с ними пишутся по-прежнему грамматики традиционного типа и продолжают развиваться стратификационная и тагмемная грамматики. Но, по-видимому, одним из наиболее престижных типов грамматики считается сегодня функциональная.

Такое положение дел, конечно, не случайно и может быть объяснено рядом причин. С одной стороны, традиционная грамматика с ее привычным противопоставлением морфологии и синтаксиса и с явным креном в сторону более полного описания морфологических характеристик уже не может справиться с теми реальными требованиями, которые предъявляются сегодня к грамматическому исследованию и которые, например, сказываются более всего в понимании роли синтаксиса. Таким образом, традиционные грамматики обнаруживают при всей их неоспоримой ценности существенные пробелы в представлении языковых данных, неполно отражая картину использования языка. С другой стороны, выявились и обнажились просчеты и недочеты трансформационно-генеративной грамматики, которая весьма долго выдавалась за рубежом за последнее слово лингвистической науки. Наконец, немаловажно и то, что принципы грамматического описания должны быть согласованы с общими взглядами на природу языка, функциональная же грамматика возникает в рамках наиболее перспективного и прогрессивного (коммуникативного) подхода к языку и способствует распространению и доказательному подтверждению правомерности и целесообразности рассмотрения языка во всем разнообразии и многообразии конкретных целей его использования.

Примечательно в этом отношении свидетельство С. Дика на последнем Международном конгрессе лингвистов, когда он подчеркнул в своем докладе: «Функционально-ориентированный подход к анализу естественного языка быстро завоевывает в настоящее время популярность. Это и функциональное рассмотрение предложения (Пражская школа) и продолжение этой линии в функционально-генеративной грамматике (Сгалл и др.), это функциональный синтаксис (Куно), системная, функциональная грамматика (Холлидей), лексическая функциональная грамматика (Бреснан) и другие направления... функциональная грамматика намерена стать теорией организации естественного языка в его подлинной функции...» ([5], см. также [6]).

Книга А. В. Бондарко находится в русле тех же поисков и вполне может расцениваться как вклад в грамматическую часть коммуникативной лингвистики и одновременно — как часть «теории организации естественного языка». Интересно, однако, рассмотреть концепцию

автора и с точки зрения его понимания кардинального как для всех версий функциональных грамматик, так и для функционального подхода в его разных трактовках понятие функции, поскольку именно разная интерпретация этого понятия имеет своим следствием разнообразие подходов и грамматик, именуемых нерасчлененно функциональными.

По А. В. Бондарко, в понятии функции должны быть совмещены два ее начала — целевое, соответствующее распространенной трактовке функции как цели, назначения единицы, и потенциальное, заключающееся в способности данной единицы к реализации определенных целей. Для выявления этих свойств анализируемой единицы исследователь и должен, собственно, идти разными путями: «потенциальный аспект связан прежде всего с грамматическим описанием в направлении от формы к значению (от средств к функциям)», целевой же аспект должен, однако, «изучаться и описываться как в направлении от формы к значению (от средств к функциям), так и в противоположном направлении — от значения к форме (от функции к средствам)» (с. 31). Сочетанием этих двух разных направлений достигается известная сбалансированность содержательных и формальных моментов в определении функции, а в известной мере — ее системного (статического) и динамического аспекта. В целом, однако, предлагаемая трактовка понятия функции существенно отличается от принятой в математике и логике, где определяющим признаком оказывается, по всей видимости, признак зависимости между двумя величинами, а, следовательно, и взаимосвязанности изменения одной величины при изменении другой. В традициях зарубежного языкознания, начатого, по-видимому, введением понятия функции в лингвистическое исследование у глоссематиков (см. об этом подробнее у Ю. С. Степанова [7]) и представленного в ряде версий функциональной грамматики,— следовать скорее указанной выше трактовке. В этом отношении, как, впрочем, и при различении понятия функции и понятия значения, А. В. Бондарко развивает свою собственную концепцию лингвистических функций языковых единиц, и это обуславливает, естественно, отличие его грамматической теории от других функциональных теорий (см. их освещение у Н. А. Слюсаревой в [8]).

Еще одно существенное отличие рассматриваемой концепции можно усмотреть в попытке синтезировать данные об использовании языка как с позиции слушающего, так и с позиции говорящего. Так как в актах речи представлены два разных механизма — механизм порождения речи, с одной стороны, и механизм ее восприятия и понимания, с другой, существующие каноны грамматического описания ориентировались то на один, то на другой из этих механизмов. Традиционная грамматика была ближе к позиции слушающего, трансформационно-генеративная грамматика — к позиции говорящего, и этот интерес к порождению речевого высказывания сохранили во многом и функциональные грамматики, связанные по своим истокам с грамматиками порождающими. Знаменательно поэтому, что описывая весь диапазон обязанностей языковых единиц, весь круг этих обязанностей, А. В. Бондарко стремится отразить в формуле функционирования и то, чему обычно служит единица, и то, что обычно ассоциируется с ее употреблением. Чтобы охарактеризовать ту или иную функцию, нужны челночные операции, подобные же челночные операции — уже не в лингвистическом анализе, а в практике использования языка — совершает и человек, выступая то в роли говорящего, то в роли слушающего и овладев знаниями функций языковых единиц.

Последнее позволяет подчеркнуть еще одну примечательную особенность концепции А. В. Бондарко — стремление аргументировать ее не только лингвистически, но и психолингвистически, т. е. верифицируя ее наблюдениями за реальной речевой деятельностью говорящего.

Не все в концепции А. В. Бондарко еще до конца ясно, не все кажется одинаково убедительным, и, конечно, о некоторых вещах можно было бы и поспорить. Неясно, например, как определится конечный список ФСП: если отправляться изначально от формы, исследователь будет ограничен набором уже известных грамматических значений, а обращение к их значениям вряд ли принесет нечто принципиально новое, т. е. выявит нечто, помимо нюансов значения. Если же задавать исходный список ФСП чисто умозрительно, где гарантия, что он окажется достаточно полным или достаточно представительным? Каким образом можно обеспечить также известную рядоположность номенклатуры ФСП?

Другой серией спорных проблем оказывается и та, которая связана с ориентацией ФГ на высказывание и вообще на семантику предложения. С расширением же непосредственных объектов исследования возникнет и вопрос о том, где найдут себе место в ФГ некоторые текстовые грамматические категории (не только таксисные).

Выше мы указывали и на вопрос о том, насколько реально учесть в грамматическом описании все действительные особенности употребления разноуровневых и тем более лексических единиц. Ведь,

конечно, по мере чтения книги возникают эти, а, возможно, и другие вопросы. Но главное, все же не в этом.

Книга А. В. Бондарко стимулирует мысли, раздвигает горизонты грамматического исследования, вводит в это последнее факты, явления и единицы, ассоциировавшиеся дотоле с другими уровнями языка,— лексикой, словообразованием, предлагая программу глобального описания разноуровневых единиц языка при выполнении ими сходных или тождественных функций и в процессах их тесного взаимодействия друг с другом. Она, несомненно, найдет широкий круг читателей, которые, надо надеяться, извлекут из нее не только полезные и интересные сведения, но и увидят в ней своеобразное руководство к действию — рациональный путь исследования языка в его функциональном аспекте.

Кубрякова Е. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Серебренников Б. А.* Сводимость языков мира, учет специфики конкретного языка, предназначенность описания // Принципы описания языков мира. М., 1976.
2. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 10-е изд. М., 1978. С. 789.
3. *Слобин Д.* Психолингвистика // *Слобин Д., Грин Д.* Психолингвистика. М., 1976. С. 29.
4. *Кубрякова Е. С.* Актуальные проблемы современной семантики. М., 1984. С. 57.
5. *Dik S. C.* Some basic principles of functional grammar // Proceedings of the XIIIth International congress of linguists. Tokyo, 1983. P. 74.
6. *Колшанский Г. В.* Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984. С. 170.
7. *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. С. 228.
8. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981. С. 7.

Александрова О. В. **Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале английского языка).** М.: Высшая школа, 1984. 211 с.

Проблематика книги — исследование механизма построения экспрессивной речи, выявление лингвистических основ синтаксической экспрессии, поиск путей выхода лингвистической теории в научно обоснованное «нормирование» выразительной речи — находится в русле одного из наиболее актуальных направлений современного языкознания. Известно, что в последние десятилетия наметилось изменение общей ориентации языкознания, которое ознаменовалось переходом от изучения языка как формальной системы, абстрагированной от условий его использования, к рассмотрению языка как средства коммуникативного взаимодействия, осуществляющегося в социальном контексте. Лингвисты обратились к изучению «языка в действии» [1]. О. В. Александрова рассматривает экспрессивность языка в его реальном коммуникативном функционировании. И это определяет своевременность появления рецензируемой книги, которая намечает решение одной из насущных проблем прагмалингвистики — проблемы разработки правил, управляющих процессом развертывания речи [2].

Теоретическая ценность книги определяется прежде всего тем, что изучение экспрессивной функции языка как средства общения относится к одной из фундаментальных проблем языкознания [3, 4].

Название книги тесно связано с общеметодологической основой изучения экспрессивности — тезисом В. И. Ленина о сущности познания, о том, что «без „человеческих эмоций“ никогда не было, нет и быть не может человеческого *искания* истины» [5].

Наиболее важной по значимости является первая глава — «Роль предельных единиц в системе синтактико-стилистических отношений», где автор не просто декларирует постулат об экспрессивном синтаксисе, но показывает конкретные пути его изучения, излагает систему категорий, позволяющую наилучшим образом представить всю разнообразную картину действия синтаксических единиц в речи. Анализируются как чисто языковые категории коннотативности, клишированности, идиоматичности, так и категории, обусловленные экстралингвистическими факторами (категории социолингвистической и концептуальной обусловленности). О. В. Александрова конкретно и четко разъясняет смысл каждой из перечисленных категорий. Опираясь на марксистско-ленинский диалектический метод, определивший системный подход к изучаемым явлениям, требующий их

рассмотрения во взаимных связях и отношениях, в их взаимозависимости и взаимодействии, О. В. Александрова видит свою задачу не только в определении данных категорий, но и в установлении корреляции между ними (с. 18).

Выделение категорий — социолингвистической и концептуальной обусловленности чрезвычайно важно для разработки основных положений прагмалингвистики. Категория социолингвистической обусловленности предполагает знание социолингвистической основы функционирования данного языка, что чрезвычайно важно для адекватного употребления словосочетаний, которые характерны только для определенных социальных групп. Речь идет об ограничениях на употребление социально маркированных языковых единиц, используемых разными социальными группами и демонстрирующих расхождения в социальных ценностях и установках. Категория концептуальной обусловленности предполагает учет экстралингвистической ситуации. Концептуально обусловленные словосочетания часто требуют осведомленности об особенностях национальной культуры, традиций, т. е. соответствующего фонового знания. Здесь О. В. Александрова затрагивает чрезвычайно важную в современной лингвистике проблему, разработкой которой занимаются лингвисты различных направлений [6—8].

Вторая глава книги посвящена роли парантетических внесений в создании экспрессии речи. Автор выявляет теоретические основы явления «нарушений» стройности высказывания, которое в устной речи не всегда отвечает тем правилам построения, которые предписывает нормативная грамматика. Развивая теоретические положения, выдвинутые в своих предыдущих работах, О. В. Александрова предлагает типологию парантетических внесений в научном стиле, определяет их роль для правильного понимания самого текста (от автора к читателю и «обратно»). Автор вскрывает связь между функцией парантетических внесений и категорией модальности. Вслед за Е. В. Виноградовым акцентируется отличие модальности, выраженной вводными синтагмами, от модальности, включенной в форму предиката. Исследуя функционирование парантетических внесений, автор приходит к весьма нетривиальному выводу о том, что парантетика не является избыточной. Она нацелена на создание более ясной и четкой коммуникации и обусловливает определенную компрессию информации.

Важность второй главы заключается еще и в том, что изучение парантетических внесений в аспекте экспрессивности позволяет приблизиться к решению под этим углом зрения такой теоретической проблемы как разграничение «вводности» и «вставности», восходящей в русском языке к работам А. Х. Востокова. О. В. Александрова предпринимает экскурс в историю проблемы и на основе этого по-новому ставит проблему разграничения этих двух категорий. Не умаляя значения просодии при разграничении этих категорий, автор делает вывод о том, что считать ее главным, основным критерием нельзя, и предлагает искать критерии разграничения вставности и вводности в иной плоскости, а именно исходя из текстосвязывающей функции парантетических внесений.

В разделе, посвященном ритмической организации текста, особенно четко прослеживаются дидактические установки работы. Здесь излагаются конкретные ритмические приемы достижения экспрессивности для текстов различных регистров. О. В. Александрова последовательно проводит линию прагмалингвистической ориентации при членении текста. Выбор определенного типа ритма зависит от цели и от предмета того или иного текста.

В третьей главе, посвященной динамическому синтаксису, О. В. Александрова ставит задачу продемонстрировать некоторые средства, с помощью которых осуществляется актуальное членение [9] экспрессивного варианта предложения. Определяется роль тема-рематического членения текста, его динамика в процессе построения экспрессивной речи. В качестве особо важного фактора для плана выражения динамического синтаксиса О. В. Александрова отмечает факт изменения актуального членения в процессе высказывания, наглядно демонстрируя это положение на примерах. Особо отмечается роль просодии в парцеллированных конструкциях.

Четвертая глава книги посвящена проблемам построения стихотворной речи. Разрабатывая данную проблематику, О. В. Александрова особое внимание уделяет системе дизъюнктур, которые обеспечивают экспрессивность данного типа речи. Декламационно-психологическое членение, свойственное высшим формам словесно художественного творчества, позволяет выявить элементы особой выразительности (с. 185).

Плодотворной представляется разработка в книге проблем пунктуации, что помогает вскрыть неразрывную связь письменного и устного языка. На важность данной проблемы указывал в свое время еще А. М. Пешковский [10], об этом же говорится и в работах современных лингвистов (см., например [3]). Развивая положение Л. В. Щербы о двойственном характере пунктуации (фонетиче-

ском, поскольку она выражает некоторые звуковые явления, и идеографическом, поскольку она непосредственно связана со смыслом (с. 114), О. В. Александрова устанавливает связь между фразировкой, просодией и пунктуацией и на этом основании выделяет две функции знаков препинания (смысловую и экспрессивную). Определяется их роль в целях адекватного восприятия авторской интонации.

Не ограничиваясь проблемами членения письменной и устной речи, которая соответствует правилам ее синтаксической организации, О. В. Александрова обращается к проблемам синтаксиса спонтанной разговорной речи (improptu speech), активно разрабатываемым в последнее время. В результате проведенного исследования автор приходит к одному из своих основных выводов: «...изучение синтаксиса ни в коем случае не должно сводиться к вычленению чистых синтаксических отношений. Всякое упрощение, схематизация явлений человеческой речи приводит не только к огрублению, но и к прямому искажению предмета» (с. 178)

Необходимо обратить внимание на построение рецензируемой книги, отличающейся стройностью и четкостью. Хотелось бы специально остановиться на Приложении — сводном списке правил употребления знаков препинания. Ценность его заключается в том, что традиционные правила дополнены здесь просодическими параметрами. Наглядно демонстрируется связь знаков препинания с экспрессивной функцией языка. Самостоятельную практическую значимость представляет богатый иллюстративный материал, подборка текстов различных функциональных стилей для анализа лингвистических основ экспрессивности. Помимо представительного списка литературы книга снабжена указателем терминов, что важно для учебных целей.

Хотелось бы, однако, сделать некоторые критические замечания. Не все термины в книге поясняются. На с. 78 рассматриваются основные виды ритмической структуры речи. К сожалению, автор не дает четкого объяснения того, чем отличается, например, монотонный тип речи от некомпактного. Более четкого определения требует различие между терминами «семиотическая система» (с. 170, 171) и «семиологическая система» (с. 178). Желательны были бы пояснения такого характера, как это сделано по отношению к термину парцелляция (с. 63). Не все термины вынесены в указатель. На наш взгляд, круг вопросов экспрессивного синтаксиса может быть расширен. В последнее время многие языковеды занимаются проблемами функциональной перспективы текста, его коммуникативно-динамическим построением. В этом отношении следовало бы определить и уточнить уже имеющиеся параметры функциональной перспективы текста, причем как текстов научного регистра, так и художественной литературы.

В книге затронута проблема членения текста на предложения и абзацы (с. 11, 29, 30, 44). Справедливо указывается на неопределенность термина «предложение». Было бы интересным изучить, как членение текста и абзаца на предложения, влияет на общую экспрессивность текста, рассмотреть проблему соотношения грамматической структуры и коммуникативного содержания предложения и текста.

Книга О. В. Александровой и по проблематике, и по материалу является своевременным исследованием, которое отвечает как потребностям теоретической разработки способов «нормирования» выразительной речи, так и дидактическим целям обучения студентов экспрессивной речи с помощью анализа текстов различных функциональных стилей.

Заботкина В. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кубрякова Е. С.* Коммуникативная лингвистика и проблемы семантики // Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка»: Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза № 252, М., 1985.
2. *Сусов И. П.* Проблемы языкового общения, его единиц и правил // Всесоюзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка: Тез. докл. М., 1984.
3. *Колшанский Г. В.* Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.
4. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
5. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 25. С. 112. Рец. на кн.: Рубакин Н. А. Среди книг. Т. II. М., 1913.
6. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. М., 1983.
7. *Никитин М. В.* Лексическое значение слова. М., 1983.
8. *Levinson S. C.* Pragmatics. Cambridge. 1983.
9. *Gregorek M.* Thematizations in Englich and Polish.' Poznań, 1984.
10. *Пешковский А. М.* Школьная и научная грамматика. 2-е изд. М., 1958.

Жлуктенко Ю. А., Двухжилов А. В. Фризский язык.— Киев: Наукова думка, 1984. 200 с.

Проблемы исторического развития отдельных языков, равно как и общие проблемы сравнительно-исторического языкознания, продолжают привлекать внимание лингвистов. Особый интерес всегда вызывают работы, посвященные наименее изученным языкам. Именно к таким исследованиям принадлежит книга Ю. А. Жлуктенко и А. В. Двухжилова «Фризский язык», представляющая собой фактически первое в советском языкознании целостное описание данного языка.

Основному корпусу книги предшествует краткий, но емкий анализ истории фризов, места фризского языка в германской языковой группе, его письменных памятников (с. 3—22). Этот раздел работы представляет собой образец увлекательного рассказа о неразрывной связи развития общества и языка. Заслуживают особого внимания описания ингевонизмов на фонологическом, морфологическом и лексическом уровнях, хорошо иллюстрированные положения о близких родственных связях английского и фризского языков, о важности изучения фризского языка для исследования закономерностей строения и развития нидерландского языка. Не менее интересно суждение авторов о проблематичности происхождения английского и фризского языков из общего источника — англофризского языка. Этапы развития фризского языка рассматриваются в сопоставлении с периодизацией, принятой для других германских языков, в частности английского и нижненемецкого. При этом более подробно анализируются черты «классического» и «послеклассического» древнефризского языка. По нашему мнению, авторам следовало бы подробно остановиться на проблеме лингвистических критериев предлагаемой классификации.

Основную часть книги составляет анализ фризского языка в древний и новый периоды (с. 23—173). Внимание специалистов в области сравнительно-исторического языкознания привлечет описание состава и структуры фонемного инвентаря фризского языка древнего периода (с. 23—45), особенно подсистемы гласных: в книге освещены особенности ударных гласных, вокализм безударных слогов, дана характеристика кратких и долгих гласных, дифтонгов, рассмотрен процесс редукции и т. д.

Раздел, посвященный морфологии (с. 45—82), дает ясное представление о ведущих признаках основных лексико-грамматических классов, о составе и значении грамматических категорий древнефризского языка. Научный интерес представляют такие факты, как исчезновение различий между родами и полное совпадение падежей у существительных слабого склонения в единственном числе, вариативность некоторых падежных форм в корневом склонении, особенности парадигмы слабого склонения прилагательных, форм изъявительного наклонения настоящего времени, тенденция к выравниванию форм сильных глаголов и др.

По нашему мнению, в ряде случаев специфика древнефризской морфологии была бы представлена более рельефно на фоне полных грамматических парадигм древнеанглийского, древнеисландского и других германских языков. В рецензируемой работе, к сожалению, не дается детального описания словообразовательного и синтаксического уровней, что в известной степени объясняется ограниченностью текстового материала, относящегося к древнейшему периоду развития языка.

В целом авторам удалось убедительно показать, что многие структурные элементы древнефризского языка свойственны и другим германским языкам. Наряду с этими общегерманскими чертами древнефризский язык обнаруживает большое своеобразие в фонетике и грамматике, что связано с положением фризского языка как языка ингвеонской подгруппы.

Анализу особенностей новофризского периода предшествует вступление (с. 82—86), в котором дается аргументированное изложение наиболее важных черт развития языка после 1550 г. К их числу авторы относят образование и совершенствование литературного языка, интенсивное влияние на фризский язык государственного языка страны — нидерландского, дальнейшее развитие существующих диалектов.

Материал раздела «Фонетика и фонология» (с. 86—111) убедительно свидетельствует о том, что современный фризский язык принадлежит к вокалическому типу. Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет описание долгих и кратких гласных, позиционных вариантов долгих фонем, полугласных, дифтонгов, подсистемы ударения. Процессы преломления, редукции, склонность долгих гласных к дифтонгизации, чередования кратких и долгих гласных в разных формах слова, различные ассимилятивные изменения привлекут внимание не только германистов, но и специалистов в области общего языкознания. Изложение особенностей фонологического яруса логично завершается рассмотрением истории и современного состояния фризского правописания. В книге приведены

подробные таблицы правил чтения и буквенных обозначений фризских звуков с учетом последних орфографических сводов (с. 114—123).

Далее авторы переходят к анализу особенностей морфологического уровня (с. 123—159). Именная и глагольная парадигматика свидетельствует о тенденции современного фризского языка к аналитизму. Компаративистов, равно так и типологов, заинтересуют такие явления, как сильный и слабый генитив существительных, увеличение удельного веса аналитического способа выражения притяжательности, вариативность местоимений, исчезновение форм конъюнктива, спряжение глагола, употребление временных форм и др.

Краткий обзор словообразования (с. 159—163) включает анализ словосложения, префиксации, суффиксации и сокращения слов. У читателя складывается ясное представление об особенностях и удельном весе данных способов образования новых слов.

В разделе «Синтаксис» не представляется безупречным анализ словосочетаний (с. 163—164): авторы ограничились лишь кратким рассмотрением характера синтаксических отношений, не уделив внимания таким важным структурным параметрам словосочетаний, как способ выражения синтаксических связей, положение зависимого слова по отношению к стержневому. Значительно более удачным следует считать описание структурных особенностей предложения (с. 164—173), прежде всего порядка слов в простом и сложноподчиненном предложении. Здесь был бы уместен обзор словопорядка в других германских языках.

С точки зрения практического изучения языка ценными и полезными представляются списки глаголов, тексты для чтения и фризско-русский словарь (с. 174—195). В приложении хотелось бы видеть краткую суммарную характеристику типологически существенных признаков древнего и современного состояния фризского языка с позиций системы единиц сопоставительно-типологического анализа.

Думается что книга во многом бы выиграла, если бы в процессе изложения материала авторы уделили больше внимания типологии рассматриваемых периодов. Имеющийся положительный опыт применения сравнительно-исторического и типологического методов в их взаимосвязи (ср.[1—3]) дает основание утверждать, что при таком подходе наиболее полно реализуется диалектико-материалистический принцип всесторонности.

Разумеется, наши замечания ни в коей мере не снижают значения большой работы, проделанной авторами. Рецензируемая книга является заметным вкладом в германистику и дает импульс для дальнейшей разработки актуальных вопросов фризского языка и сравнительно-исторического языкознания.

Головин В. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аракин В. Д.* Структурная типология русского и некоторых германских языков (единицы сопоставительно-типологического анализа языков). Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук в форме научного доклада. М., 1983.
2. *Аракин В. Д.* Сопоставительная типология скандинавских языков. М., 1984.
3. *Расторгуева Т. А.* История английского языка. М., 1983.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика / Отв. ред. Тенишев Э. Р. М.: Наука, 1984. 485 с.

Значительные успехи в изучении тюркских языков, достигнутые в нашей стране за последнее время благодаря вовлечению в круг исследований нового материала из памятников тюркской письменности и диалектов, требуют новых обобщений и уточнения сложившихся в тюркологии взглядов.

Эти задачи стоят перед подготавливаемым в Секторе тюркских и монгольских языков ИЯ АН СССР большим коллективным трудом «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», который призван заменить выходившие много лет назад четырехтомные «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» (М., 1955—1962), подготовленные под руководством Н. К. Дмитриева, но вышедшие уже после его смерти (1954).

Если издание 50—60 годов представляет собой первый у нас коллективный опыт разработки отдельных проблем сравнительной грамматики тюркских языков на уровне отечественной тюркологии середины XX в., то нынешнее издание

задумано уже как цельное синтетическое обобщение исследований последней четверти века с полной характеристикой строя тюркских языков в его динамической изменчивости и географической привязанности.

Рецензируемая монография представляет собой первый (фонетический) том четырехтомного труда «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» (следующие выпуски — «Морфология», «Синтаксис», «Лексика»), выполненный тюркологами ИЯ АН СССР и МГПИ имени В. И. Ленина в плане реконструкции фонетического строя тюркского праязыка и описания его эволюции в древних и современных языках-потомках.

Книга состоит из Введения (с. 3—15) и четырех неравномерных частей: «Вокализм» (с. 16—169), «Консонантизм» (с. 170—402), «Ударение» (с. 403—421), «Фономорфология» (с. 422—454); к ним примыкают: Литература (с. 455—469), список принятых сокращений, в том числе и библиографических (с. 470—475), и предметный указатель (с. 476—481), который значительно облегчает пользование весьма объемистой книгой.

Во Введении (автор — Э. Р. Тенишев) дается достаточно подробный обзор предшествующих попыток написания сравнительной фонетики тюркских языков у нас и за рубежом за последние сто лет, когда в основном и создавалась современная тюркологическая наука; раскрываются задачи данного труда и показываются многочисленные источники, причем здесь учитываются как материалы самих тюркских языков в их древнем и нынешнем состояниях, так и разного рода многочисленные заимствования из них в других языках, а также данные современных алтайского, урало-алтайского и даже ностратического языкознаний (последние лишь эпизодически).

Нельзя, однако, не отметить известной противоречивости в подходе к алтайской и другим подобным гипотетическим языковым общностям. Во Введении говорится, что родство алтайских языков, как и их неродство, не доказано и что «характер связей между ними остается неясным» (с. 12). Фактически то же повторено и относительно языков урало-алтайской и ностратической общностей. Поэтому вполне естественным выглядит намерение авторского коллектива «реконструкцию праформ давать только в пределах тюркской языковой системы», но с этим плохо согласуются желание «освещение отдельных узловых моментов (реконструкции или развития) производить с алтаистических позиций, исходя из представления о родстве алтайских языков» (с. 12—13), как и конкретные реализации в основном тексте монографии такой установки, согласно которой родство языков не доказано, но из него можно, тем не менее, исходить.

В разделе «К реконструкции пратюркского вокализма» (автор — Л. С. Левитская) довольно обширной первой части книги, посвященной вокализму, рассматриваются проблемы закрытого *е*, который у автора противопоставляется открытому гласному *ä* не только качественно, но также и количественно, будучи звуком долгим в отличие от краткого *ä*; выясняются проблемы происхождения «первичных» долгих и фарингализованных гласных, а также разных типов вариативности вокализма.

В кратком разделе «Пратюркский вокализм» того же автора устанавливается система из 16 членов:

a	*ä*	*o*	*ō*	*y*		*u*	*ü*
a:	*e:*	*o:*	*ö:*	*y:*	*i:*	*u:*	*ü:*

Здесь количественные различия сопровождаются в отдельных случаях качественными. В примыкающем сюда разделе «Репрезентация пратюркских гласных в современных языках и диалектах» (автор тот же) учитывается диахроническая изменчивость тюркских гласных в разных условиях, как в результате их взаимодействия между собой, так и с соседними согласными.

Важная для агглютинативных языков, какими являются тюркские, проблема анлаута частично отражена в разделе «Общетюркские начальные гласные» (автор — Л. А. Покровская), где имеются некоторые расхождения в реконструкции анлаутного тюркского вокализма с предшествующими разделами, написанными Л. С. Левитской, и выделяется противопоставленная лишь только по количеству пара *е — е:* (вместо *ä — е:* у Л. С. Левитской). В других частях книги расхождения между разными разделами оказываются еще более значительными, и эти расхождения часто никак не оговариваются, хотя налицо и различие в терминологии, а иногда и неодинаковая трактовка истории тюркской фонетической системы.

Подробное описание гласных в кыпчакских языках Среднего Поволжья дается в разделе «Синхроническая и диахроническая характеристика башкирского и татарского вокализма» (автор — А. А. Юлдашев), которым завершается первая часть («Вокализм»). Этот раздел стоит особняком в книге, представляя собой своеобразный отдельный экскурс, не имеющий аналогий, поскольку в других разделах ни поволжско-тюркские, ни другие группировки языков не выделяются для индивидуального рассмотрения особенностей их фонетики.

В самой обширной части («Консонантизм»), которая распадается на шесть разделов, для ранней стадии праязыка устанавливается система согласных с господством глухих: *p*, *t*, *k*, *q*; *s*; *j*; *č*; *l*; *r*; *m*, *n*, *ŋ* (?). В эту систему для поздней стадии тюркского консонантизма дополнительно были включены согласные *b*; *š*; *γ*, *γ′* [1], которые знаменуют предполагаемое авторами озвончение некоторых согласных звуков. Кстати, автор введения к «Консонантизму» (с. 170—171), где постулируются обе пратюркские системы согласных (более ранняя и поздняя), почему-то не назван, как и само это введение.

Раздел «Смычные согласные и спиранты» (следовало бы сказать: шумные смычные и заднеязычные спиранты) написан Н. З. Гаджиевой. В нем дается общая характеристика трех этапов развития тюркских согласных: раннее пратюркское состояние, позднее пратюркское состояние и состояние после распада тюркского праязыка. Смычные *p*, *b*; *q*, *k*, *g*; *t*, *d* рассматриваются в позициях начала, середины и конца слова, в составе аффиксов, а также перед ними. Из спирантов в этом разделе исследуются лишь заднеязычные *γ*, *γ′*, а остальные *s*, *š*, *ž*, θ, δ (уже под названием щелевых) анализируются в разделе «Щелевые согласные и аффрикаты» (автор — Э. Р. Тенишев), а последних почему-то выделяется только три: *č*, *ǯ*, *c*.

К сожалению, весьма скромно представлена история специфически региональных согласных θ, δ и *h* (последний вообще не рубрицирован особо), относительно исконного либо инновационного происхождения которых не утихают дискуссии.

В то же время границы между исконными, первичными явлениями и явлениями вторичными, или инновациями, применительно к фонетике тюркских языков выглядят порой достаточно зыбкими и условными. В частности, то, что представляется вторичным, может, во всяком случае, оказаться весьма древним, и наоборот. Уже поэтому таким, условно говоря, «инновациям», получившим широкое распространение среди тюркской языковой семьи, должно уделяться гораздо больше внимания, чем это наблюдается в рецензируемой монографии. Так, система сильных аспирированных и слабых согласных, охватывающая многие современные тюркские языки и характерная также для древнетюркских памятников, практически только упомянута при описании реконструкции одного из согласных (с. 180). Наличие подобной системы в части этих языков пытаются объяснить иноязычным (в частности, китайским) влиянием, что далеко не бесспорно и уже вызывало возражения (см., в частности [1]). Скорее всего, сильные и слабые согласные — древнее явление, характеризующее в основном огузские языки, как древние, так и современные.

В двух специальных разделах «Соответствие *j* ~ *ǯ* ~ *ž*» и «Соответствие *j* ~ ~ *ǰ* ~ *n* ~ *n′*» (автор обоих — Э. Р. Тенишев) фактически рассматривается проблема звука *j*, который из разных источников в разное время и в разных условиях возникал в тюркских языках, имея в них неодинаковую и довольно сложную судьбу.

В разделе «Сонанты» (автор — К. М. Мусаев) прослеживается судьба смычных (*m*, *n*, *ŋ*, *l*) и дрожащего (*r*) сонантов в различных звукосочетаниях (в содержании ошибочно: буквосочетаниях).

Завершается большая часть, посвященная консонантизму, разделом «Протетические согласные» (автор — Н. А. Баскаков), где характеризуется лабиальная и палатальная протезы вместе с анлаутным согласным *h*.

Довольно компактная акцентологическая часть книги «Ударение» (автор — В. Д. Аракин) характеризует ударение общетюркского праязыка как силовое (динамическое), падавшее на начальный слог слова и переместившееся затем на последний слог тюркского агглютинативного слова.

Заключительная довольно лаконичная часть труда «Фономорфология» состоит из двух разделов: «Структура слова и слога» (автор — Н. А. Баскаков) и «Сингармонизм тюркского слова» (автор — А. А. Ковшова). В первом из них дана подробная классификация типов слогов, представленных в тюркских языках, а во втором сингармонизм исследуется на уровне корня, производных основ и словоформ.

Несмотря на то, что своеобразные явления начала, середины и конца слова неоднократно затрагиваются и освещаются на страницах рецензируемой книги, как и в ряде предшествующих исследований по сравнительно-исторической фонетике тюркских языков, в связи с историей отдельных звуков (гласных и согласных), обобщенной характеристики всех явлений анлаута, инлаута и ауслаута в тюркском слове здесь, к сожалению, не приводится, а это необходимо для полноты характеристики тюркской фонетики. Аналогичным способом требуют обобщения и материалы по разного рода преобразованиям сочетаний согласных и гласных, разбросанные по всей

[1] Звук *γ′* в табл. 2 (с. 171) ошибочно включен в состав переднеязычных согласных.

книге. В части, посвященной «Фономорфологии», следовало бы ожидать рассмотрения истории звуков в зависимости от их положения в составе морфем, что эпизодически обсуждалось в связи с историей отдельных звуков.

Обилие материала с точными ссылками на источники позволяет читателю в любой момент проверить достоверность этого материала, что, впрочем, приходится делать далеко не часто. Но когда на с. 289 читаем: «Слово *hadaŋ*, „береза" отмечено в Чистопольском р-не Татарской АССР», — то обращение к указанному здесь источнику (Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 г. Харьков, 1956. С. 151—154) позволяет выяснить, что речь идет о названии типично булгарского дерева на указанной территории, записанном более тысячи лет назад; факт, к сожалению, прямо в рецензируемой монографии не отраженный. Однако отсутствие указания на источник при следующих сведениях: «Тюркское заимствование в венгерском языке (первая фиксация в источниках 1395 г.): *katáng* ~ *kataŋ* „береза"» (с. 290) — заставляет читателя проводить самостоятельные поиски, которые приводят к тому, что в венгерском языке действительно обнаруживается слово *katáng*, вероятно, тюркского происхождения, однако совсем с другим значением — «цикорий» и не имеющее никакого отношения к судьбе интервокального тюркского ряда соответствий $d \sim t \sim \delta \sim z \sim r$ [2] в тюркских названиях березы.

Недостаточность материала сказалась и в разделе «Фарингализованные гласные» (с. 48 и сл.). Как известно, явление «фарингализации гласных» отмечено в тувинском и близкородственном ему тофаларском языках. При этом в том и в другом языке фарингализация имеет свои особенности, хотя едва ли могут быть сомнения в единстве ее природы. Согласно правилам тувинской орфографии, фарингализованные гласные на письме отражаются лишь в немногочисленных случаях. Отчасти по этой причине масштабы распространения данного явления в тувинском языке, как и другие его параметры, исследователям не всегда оказываются ясны. Между тем, например, в указанном языке фарингализация охватывает тысячи слов, в том числе монгольские и русские заимствования (чего не отмечено на материале языка тофаларов).

Исходя из изученности этого явления к настоящему времени, трудно согласиться, что исходным для тувинско-тофаларского консонантизма было противопоставление согласных по признаку звонкости/глухости, замененное затем оппозицией «слабые непридыхательные — сильные придыхательные» согласных, и что такое качество согласных обусловлено, в свою очередь, изменением качества гласных (с. 50—51). Имеющиеся данные свидетельствуют, что именно система сильных (придыхательных) и слабых согласных была в данном случае исходной (огузской по происхождению) и что, наоборот, частичное изменение этой системы и, в частности, изменение качества неначальных согласных как раз и вызвало появление фарингализации гласных [3]. Эти изменения были обусловлены экстралингвистическим фактором, однако весьма сомнительно, чтобы таким фактором явилось воздействие енисейских и/или самодийских языков, степень влияния которых на тувинский и тофаларский исследователями традиционно преувеличивается [4].

В некоторых, впрочем, редких случаях (например, на с. 255 раздела об аффрикате *c*) обнаруживается чисто количественная недостаточность материала для выводов, причем дается только материал, подтверждающий мнение автора, но не приводятся случаи, которые не вписываются в авторскую концепцию. Это тем более досадно, что в целом материал для построений в книге весьма обильный, что весьма выгодно отличает рассматриваемую фонетику от предыдущих итоговых справочников по тюркской фонетике.

Нельзя вместе с тем не сказать, что обилие материала и его тщательная систематизация в коллективной монографии дают основание по-иному, чем прежде, взглянуть на некоторые понятия тюркской фонетики, уже ставшие довольно привычными, каковыми, например, являются «первичные» или первичные (в книге отмечено и то, и другое написание) долгие гласные. Понятие это формулируется довольно туманно: «„Первичными" долгими гласными принято называть такие, которые до сих пор не могли быть объяснены как результат трансформации (например, стяжения) какого-нибудь сочетания звуков» (с. 23).

В основу дефиниции, таким образом, кладется негативный признак ограниченности наших познаний относительно объекта исследования на сегодняшний день («до сих пор не могли быть объяс-

[2] Возможно, эта ошибка восходит к статье [2], где венгерскому тюркизму *katáng* «цикорий» также почему-то приписывается значение «береза» (правда, в этой статье слово дано без долготы второго гласного).

[3] Из работ последних лет см. [3—5].

[4] Более реальное (хотя и разное) представление о влиянии этих языков на звуковой строй тувинского и тофаларского отражено, например, в [6—8].

нены...»), тогда как понятие «вторичные долгие гласные» определено через признак позитивного знания (см. с. 76). Иными словами, в том и другом определении вполне могут иметься в виду одни и те же явления и процессы в области фонетики. Не случайно при попытке объяснить происхождение «первичных» долгот мы встречаемся с «результатами раннего стяжения» (ср. определение) и с «результатами компенсирующего удлинения» гласного. Последнее же явно сопоставимо с «фонологизацией позиционно-комбинаторных долгот», в результате чего также образуются вторичные долгие, что подтверждается тождеством иллюстративного материала: и в случае «первичных», и в случае вторичной долготы дается (правда, с варьированием) один и тот же пример: хак. *ti* : *r* «кожа» (<teri) (с. 44) и хак. *te* : *r* «шкура» (< *teri*) (с. 76). Есть и другие примеры, когда одни и те же слова относятся и к тем, и к другим случаям.

В целом, исходя из имеющихся соображений относительно природы «первичных» долгот в тюркских языках, можно прийти к заключению о том, что это — явно вторичное явление, как раз и объясняемое различными трансформациями сочетаний звуков, имеющими неясную хронологию (см., в частности, с. 48 рецензируемого труда). При всем при том, как отмечено в другом месте, «несмотря на усилия нескольких поколений тюркологов, проблема происхождения первичных долгих гласных остается до сих пор нерешенной» (с. 105). Нерешенность же этой проблемы, возможно, объясняется тем, что само направление поисков было выбрано неверно, поскольку исследователи как бы молчаливо исходили из представления о первичности, изначальности указанного явления.

Краеугольным камнем теории «первичных» долгот является совпадение в ряде случаев туркменских и якутских долгот (также дифтонгов), отчасти подкрепляемое данными других тюркских языков. Но правильно ли в подобной ситуации принимать в расчет только общие, совпадающие моменты, практически не касаясь различий в характере долгот, не вникая в сущность этих различий? И можно ли, при нынешней степени изученности данного явления, полностью исключить возможность самостоятельного образования тех же туркменских и якутских «первичных» долгих гласных?

Нельзя, вероятно, считать случайным и то, что в современных тюркских языках (одних и тех же) существуют как «первичные», так и явно вторичные долготы (ср. данные якутского и отчасти туркменского языков). Выделяются и те и другие также в чулымско-тюркском, но образуют в нем настолько любопытную картину, что, как сказано в «Фонетике», эти долгие гласные «вероятно, не являются прямым отражением системы общетюркских „первичных" долгот» (с. 35). А может быть, сосуществование «первичных» и вторичных долгих в одних и тех же языках в определенной мере свидетельствует об общности их происхождения?

Приводимые в книге данные вызывают, скорее, сомнение в пратюркской и общетюркской принадлежности «первичных» долгот», чем ее подтверждают. В этом плане привлекает внимание следующее высказывание: «Древнее противопоставление кратких и долгих гласных могло быть региональным явлением. В пользу этого говорит тот факт, что оно прослеживается в языках с огузскими признаками...» (с. 23). Вполне допустимо, что такая система вокализма является огузской и по своему происхождению, хотя специфика ее развития в различных огузских языках вызвала появление в них долгот неодинакового вида, особенности механизма образования которых еще неясны. Даже в наиболее, казалось бы, очевидном случае, в случае явно вторичных долгот (специально характеристике которых в книге отводится всего одна страница, и то неполная!), в действительности многое оказывается совсем не ясным, и в частности, не разрешен и даже не поставлен вопрос, почему же все-таки эти долготы возникли. Без выяснения же такой причины ограничиваться констатацией того, что «в общетюркской фонетике интересно отметить лишь некоторые моменты их (вторичных долгот.— *Д. И., Г. Т., Т. Б.*) развития» (с. 76), явно недостаточно.

Терминология, принятая в книге, в целом отражает современное состояние тюркологии, хотя и склоняется больше к традиционной. В то же время авторы напрасно, на наш взгляд, отказались от канонизированных общей компаративистикой терминов «инициаль», «медиаль» и «финаль» для обозначения соответственно начального, срединного и конечного звуков любого слога — ср., с другой стороны, редко употребляемые в новейшей литературе «средние, медиальные звуки» на с. 211, которые даже в специальных словарях (к примеру, у Ж. Марузо) допускают по два и более толкования как гласные и согласные, среднерядные и полураскрытые, и т. д.

Коллективный труд девяти московских тюркологов, из которых четверо (Н. А. Баскаков, Н. З. Гаджиева, А. А. Ковшова и А. А. Юлдашев) участвовали и в уже упомянутых «Исследованиях по сравнительной грамматике тюркских языков», достойно представляет традиции отечественной компаративистики, отражая в то же время и ее бесспорные

достижения, и стоящие перед ней серьезные проблемы.

Добродомов И. Г., Гарипов Т. М., Татаринцев Б. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кондратьев В. Г.* Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности VIII—XI вв. Л., 1981. С. 22—23.
2. *Дмитриева Л. В.* Из этимологий названий растений в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках // Исследования в области алтайских языков. Л., 1979. С. 145.
3. *Татаринцев Б. И.* Монгольское языковое влияние на тувинскую лексику. Кызыл, 1970. С. 89—90.
4. *Бичелдей К. А.* Фарингализованные гласные в тувинском языке // Звуковой строй сибирских языков. Новосибирск, 1980.
5. *Бичелдей К. А.* Фарингализация гласных в тувинских заимствованиях из монгольского и русского языков // Языки народов Сибири. Вып. 3. Кемерово, 1979.
6. *Наделяев В. М.* Теоретическое и практическое значение фонетических исследований по языкам народов Севера// Письменность народов Сибири: История и перспективы. Новосибирск, 1981. С. 15.
7. *Щербак А. М.* Опыт реконструкции слоговых акцентов в тюркском протоязыке // Теория языка, методы его исследования и преподавания. К 100-летию со дня рождения Л. В. Щербы. Л., 1981. С. 286—287.
8. *Janhunen J.* On glottalization in Sayan Turkic // Bulletin of the Institute for the study of North Eurasian cultures. Hokkaido University. 13. Sapporo, 1980. P. 35—37.

Русско-узбекский словарь ◇ **Руcча-ўзбекча луғат.** Ташкент: Главная редакция Узбекской Советской Энциклопедии. Т. I. 1983. 808 с.; Т. II. 1984. 800 с.

Современность и словари. Рассматривая достижения нашей практической лексикографии с общих позиций, необходимо соотнести результаты этой работы с данными социологических и социолингвистических исследований (см., например [1] и др.). Примечательно в этой связи также высказывание Чингиза Айтматова о 50-60-х годах как о периоде подлинной зрелости культуры разноязыких народов СССР. [2]. Именно в это время во всех национальных республиках создаются большие академические филологические словари, которые, как известно, свидетельствуют о зрелости и жизненности национальных языков.

Успехи узбекской лексикографии в полной мере подтверждают это положение. В 50-е годы в Институте языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР были созданы пятитомный (малоформатный) Русско-узбекский словарь (Ташкент, 1950—1955), однотомный Русско-узбекский словарь (М., 1954) и однотомный Узбекско-русский словарь (М., 1959).

Начало 80-х годов отмечено появлением новых крупных лексикографических трудов: двухтомного Толкового словаря узбекского языка (М., 1981) — первого толкового словаря в истории узбекского народа и нового двухтомного Русско-узбекского словаря.

Рецензируемый словарь отличается от предшествующих и ныне действующих главным образом тем, что его составители и редакторы сделали небезуспешную попытку реализовать в новом словаре идею акад. Л. В. Щербы о создании толкового словаря русского языка на национальном языке.

Тезис этот возведен в Словаре в принцип и для вящей наглядности вынесен в аннотацию: «Наряду с переводами, в необходимых случаях применены толкования, что приближает его к толковому словарю русского языка на узбекском языке». Суть данного тезиса излагается и в предисловии к Словарю: «Для раскрытия и передачи значений слов, обозначающих специфические русские реалии, а также значений научно-технических терминов, ... использованы в словаре толкования, объяснительные переводы, пояснения различного характера... Причем все эти средства... являются либо дословными переводами толкований и объяснений, имеющихся в толковых словарях русского языка, либо составлены на их основе» (с. 6).

Автор предисловия и редактор первого тома — Саид-Фозил Акобиров, аксакал узбекской лексикографии, один из ведущих составителей и редакторов всех крупных филологических словарей, созданных с конца 40-х годов до наших дней в стенах Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР. Ему главным образом и принадлежат усилия по реализации в новом словаре идеи Л. В.

Щербы о двуязычном толковом словаре.

В практике словарного перевода нередки случаи, когда лексикографы-билингвы или игнорируют все, что не поддается прямому переводу, или прибегают к искусственному словотворчеству. В предисловии приведены такие курьезные примеры: в пятитомном и однотомном русско-узбекском словарях *двойник* переведен соответственно: 1) *башарадош, ҳамафт* и 2) *ҳамюз, қиёфадош*, т. е. словами, которых нет в лексическом составе узбекского языка, но которые рождены переводчиками в муках бесполезного творчества. Читатель, естественно, в недоумении. Эта же статья в новой редакции имеет такой вид: **двойник** *м, р.* -а́1 *чей, кого* ўхшаш (иккита бир-бирига ўхшаган одамларнинг ҳар бири); **мой** ~ менинг ўхшашим; 2 иккиланган (қўш) нарса (с. 233).

Как видим, преимущество новой редакции неоспоримо. Узбекский читатель получает достаточную информацию о слове, не имеющем соответствия в его родном языке.

Наряду с истолкованием безэквивалентной лексики к пояснениям в новом словаре прибегают и в тех случаях, когда в языке перевода хотя и есть эквиваленты, но они не в полной мере покрывают значения переводимого слова ввиду несколько иной национальной (русской) предметной соотнесенности, каких-либо этнографических, бытовых и других особенностей, передаваемых данной номинацией, и т. п. В этой связи следует подчеркнуть, что большую часть лексики любого языка составляют именно единицы, требующие в переводе пояснений. Узбекские лексикографы на собственном опыте убедились в наличии такой закономерности, о которой неоднократно говорил акад. Л. В. Щерба. И они избрали путь создания толкового словаря русского языка на узбекском языке.

В качестве базового словаря узбекские лексикографы избрали Малый (четырехтомный) академический словарь русского языка, в котором более четко и дифференцированно даются значения полисемантичных слов, чем в Словаре С. И. Ожегова; вместе с тем они использовали и другие источники: тот же Словарь С. И. Ожегова, словари-справочники новых слов и значений и др. с тем, чтобы зафиксировать новые лексические значения, возникшие в русской лексике за последние десятилетия.

Заслуживают внимания в Словаре и нововведения в левой части словарной статьи. В отличие от большинства русско-национальных словарей 50-70-х годов при вокабулах нового словаря демонстрируются особенности формообразования изменяющихся классов слов русского языка, причем в значительно сокращенном объеме по сравнению с толковыми словарями русского языка. Ср., например, грамматический аппарат при словах *бок* и *браковать* в Малом академическом словаре русского языка (1), во всех больших русско-национальных словарях, выпущенных издательством «Советская Энциклопедия» в 60-70-е годы (2), и в новом Русско-узбекском словаре (3): (1) **бок**, -а, *предл.* о бо́ке, на боку́, *мн.* бока́, *м.*; **бракова́ть**, -ку́ю, -ку́ешь; *прич. страд. прош.* бракова́нный, -ван, -а, -о; *несов., перех.*; (2) **бок** *м.*; браковать *несов.*; (3) **бок** *м, мн.* -а́; **бракова́ть, -ку́ю, -ку́ешь** *несов.* (*сов.* **забракова́ть**) 1 *кого-что...*; 2 *что...*

Редакторы Словаря провели значительную работу по коррекции стилистической характеристики слов в соответствии со стилистическими и функциональными сдвигами в словарном составе русского языка, происшедшими за последние три десятилетия. Об этом говорят многие вокабулы словаря, с которых сняты ограничительные пометы, например: *боевик, наставник, ложа* (масонская ложа), *доспехи* и т. д.

Много потрудились редакторы по обновлению иллюстративного материала Словаря. Подбор и составление речений, примеров, как известно, сродни писательскому труду, причем в отличие от писателя лексикограф скован требованиями использовать в примерах указательный минимум слов. Ср. иллюстративный материал следующих статей: **бро́нзовый — ~ призёр Олимпиа́ды-80; взрывоопа́сн/ый — ~ые райо́ны ми́ра; наро́ст — уме́ть отличи́ть и́стинное, есте́ственное от ~ов; наслое́ни/е — по́здние ~я в зно́се «Алпамы́ш»; недоеда́/ть — на́ши отцы́ и де́ды недосыпа́ли и ~ли, что́бы жизнь на́ша ста́ла лу́чше; некапиталисти́ческ/ий — стра́ны, вста́вшие на путь ~ого разви́тия; не́куда — бо́льно? — Больне́е ~; не́хотя — ребёнок так хоро́ш, что ~ залюбу́е.ься; низа́ть — 2 ~ тюбете́йку би́сером; 3 так и ни́жет слова́; ничего́ — ~ себе́ инжене́р: чертежи́ не уме́ет чита́ть; облуче́ни/е — смерте́льная до́за ~я; окра́си/ть — глубо́кой печа́лью окра́шена жизнь матере́й, потеря́вших в войну́ с фаши́змом свои́х сынове́й и] дочере́й; оптима́льны/й — ~е ерóки се́ва хлопча́тника** и т. п.

Аналогичные примеры играют не только иллюстративную роль, но и делают Словарь современным, отражая реалии наших дней, в том числе региональные, и, что очень важно, улучшают его учебные качества, столь необходимые для двуязычных словарей.

Как нововведение можно рассматривать также наличие в Словаре цитат, от использования которых отказалось боль-

шинство лексикографических коллективов, занятых созданием больших двуязычных словарей. В этой связи считаем необходимым отметить, что неправомерно отказываться от использования цитат в двуязычной лексикографии. Ср., например, такие цитаты: **затемни́ть — Напра́сно реа́кция пыта́ется ∾ вели́кие заслу́ги на́шего наро́да в мину́вшей войне́** (Леонов); **ничто́жный — Войны́ не хо́чет никто́, кро́ме ∾ ого меньшинства́** (А. Н. Толстой); **оглупи́ть — Ничто́ не мо́жет так ∾ челове́ка, как уве́ренность, что он всё зна́ет** (Л. Толстой).

Таковы основные новшества, введенные в структуру словарной статьи, в ее левую и правую части, создателями двухтомного Русско-узбекского словаря. Главная цель нововведений — бережно донести до узбекского читателя содержание оригинала, своеобразие и особенности русского языка, усилить учебные качества словаря, сделать его доступным для массового читателя.

В Словаре около 70 000 слов. Такое количество согласуется с ориентиром, который намечал для больших русско-национальных словарей видный лексикограф страны А. К. Боровков еще в 50-е годы [3], и, главное, согласуется с потребностями современного узбекского читателя.

Интервал между выпуском в свет больших двуязычных словарей составляет, как показывает практика советской лексикографии, примерно два-три десятилетия. Активное действие этих словарей, стало быть, рассчитано на это время. Этому временно́му фактору в целом соответствуют лексикографические и полиграфические параметры нового Русско-узбекского словаря: словарь максимально обновлен и осовременен, надежен в пользовании. Вместе с тем представляется необходимым обратить внимание на следующие недочеты.

1. Задавшись целью создать толковый словарь русского языка на узбекском языке, его составители и редакторы чрезмерно увлеклись приемом истолкований, перегружая нередко правую часть объяснениями энциклопедического характера, нанизыванием синонимов. Например, статья *капитализм* неоправданно раздута за счет энциклопедического толкования, в статье *алкоголик* вслед за пояснением дан «узбекский» эквивалент *пиянисга*, который, будучи просторечным заимствованием (русск. *пьяница*), к тому же успевшим устареть и стать архаизмом, вряд ли уместен в качестве эквивалента даже в статье *пьяница*.

2. Встречаются неверные и неточные переводы. Так, в статье *посечься* (в 1-м знач.) даны неправильно как истолкование, так и перевод примера *во́лосы посеклúсь — сочлари тўкилиб кетди*, что значит «волосы выпали». В статье *проскочить* (в 1-м знач.) в переводе примера *поезд проскочил полустанок* надо было бы после слова *елганича* («быстро; нестись во весь опор») дать хотя бы в скобках слово *тўхтамай* («без остановки»), подчеркнув тем самым, что действие совершено без остановки. В статье *хлеб* словосочетание *легкий хлеб* переведено *осонлик билан топилган нарса* «вещь, приобретенная или заработанная легко». Следовало бы использовать в качестве эквивалента узбекское устойчивое сочетание *мўмай пул* (букв. «легко заработанные деньги»), точно соответствующее семантике оригинала. Отглагольное существительное *разбрасывание* переведено именами действия, эквивалентными русскому инфинитиву: *ташламоқ, сочмоқ, кўммоқ*, тогда как надо было использовать имена действия на *-ш, -иш*: *ташлаш, сочиш*. Что же касается третьего слова — *кўммоқ* «закапывать», то это явная оплошность переводчика.

Большие затруднения вызывает перевод на тюркские языки приставочных глаголов русского языка, особенно передача их видовых значений и способов действия. Обычно прибегают к описательному переводу, толкованиям. Например, значение глагола *поголодать* передано в Словаре описательно: *бирмунча вақт очқамоқ* «голодать некоторое время». Перевод недостаточен, неточен. В таких случаях, на наш взгляд, обязательны примеры, иллюстрирующие употребление данного слова в речи, призванные в известной мере компенсировать недостатки перевода.

3. Есть случаи замены громоздких цитат примерами, составленными редакторами и составителями Словаря. И здесь зачастую подстерегают их неудачи. Так, в статье *уловить* 1-е значение иллюстрируется курьезной фразой *Мальчик уловил во дворе большого гуся*, повторяющей по существу в адаптированной форме цитату из Малого академического словаря к 4-му значению глагола *уловить*: «4. *Прост.* Поймать: (*Сенька*) *уловил во дворе большого гуся, посадил его в пазуху, пошел к мастеру*. Чапыгин, Гулящие люди».

4. Непоследовательность наблюдается в размещении фразеологических единиц в корпусе Словаря и внутри словарных статей: одни даны в традициях Малого академического словаря, другие — в духе Словаря С. И. Ожегова с пометой *перен.*, третьи — с попыткой распределить их по лексическим значениям. Впрочем, такая фразеографическая стихия характерна для всей современной русско-национальной лексикографии.

5. В Словаре немало новшеств, отличающих его от предыдущих и ныне соз-

даваемых больших русско-национальных словарей. Особенно это касается приверженности его авторов и редакторов к идее Л. В. Щербы о толковом словаре русского языка на национальном языке. Однако известно, что к этой идее неоднозначно относятся современные лексикографы, работающие в области двуязычной лексикографии. Поэтому в предисловии необходимо было более развернуто обосновать создание двуязычного толкового словаря данного типа.

Новый Русско-узбекский словарь венчает большой и кропотливый труд узбекских лексикографов. Издание Словаря явилось значительным событием в культурной жизни Узбекистана и его народа. Несомненно, он привлечет внимание лексикографов других братских республик, работающих над решением актуальных проблем русско-национальных словарей нового поколения.

Сафаев А. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иванов В. В., Михайловская Н. Г.* Русский язык как средство межнационального общения. Актуальные аспекты и проблемы // ВЯ. 1982. № 6. С. 5—6.
2. *Айтматов Ч.* Созвездие культур // Юность. 1983. № 3. С. 74—76.
3. *Боровков А. К.* Из опыта составления русско-национальных словарей // Лексикографический сборник. Вып. 1. М., 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1987

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12—14 апреля 1986 г. состоялся пленум Научного совета ОЛЯ АН СССР по лексикологии и лексикографии (Зименки, Московская обл.). В ходе работы пленума было заслушано три доклада по основным теоретическим проблемам лексикологии и лексикографии, а также рассмотрен и принят перспективный план работы Научного совета на 1986—1990 гг.

Председатель Совета директор Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов в своем докладе «Современная лексикография и задачи Научного совета» осветил состояние и перспективы лексикографической работы в стране. В числе актуальных проблем теоретической лексикографии докладчик назвал создание типологии словарей, указав, что типы словарей определяются характером источников словаря и его адресатом: источник ← словарь → адресат. Здесь прослеживается следующая траектория словаря»: 1) от текста — к словарю (например, исторические словари); 2) от системы — к словарю (например, Систематизированный семантический словарь); 3) от коммуникативной задачи — к словарю (например, учебные словари); 4) от лексикона человека — к словарю (например, словари лексических минимумов). Ю. Н. Караулов отметил, что в основе развития русской лексикографии лежит четыре составляющих: потребности общества; соотношение лексикографии с теоретическим языкознанием; внутренние законы развития лексикографии; взаимоотношение лексикографии с словарной индустрией. В докладе была поставлена задача создания научно-производственного объединения по созданию словарей (НПО «Словарь»).

Выступившие в дискуссии по докладу участники пленума П. Н. Денисов (Москва), Д. Н. Шмелев (Москва), В. М. Андрющенко (Москва), В. В. Мартынов (Минск), А. А. Алексеева (Москва), Л. П. Калакуцкая (Москва) поддержали идею создания НПО «Словарь», подчеркнули важность координации работ ученых и издателей при создании комплексной долгосрочной программы подготовки и выпуска словарей. Было отмечено, что необходимо решить также проблему соотнесения рекомендаций разных словарей, прежде всего орфографических. Л. Л. Кутина (Ленинград) и П. Н. Денисов указали на необходимость дальнейшего развития исторической лексикографии, создание словарей, отражающих лексику конца XIX — нач. XX вв.

В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) «Словарь в едином описании» рассматривался вопрос об одном из типов семантической информации — о наивной картине мира как определенном способе отражения действительности, обязательном для всех говорящих на данном языке,— и ее представлении в толковом словаре. Эта проблема решалась на материале дейктической лексики, обладающей этоцентричностью. Охарактеризовав основные виды оппозиций в сфере дейксиса, докладчик подробно остановился на анализе пространственного и временного дейксиса, показав, что для говорящего действительны не столько физические пространственные и временные характеристики, сколько то, как они воспринимаются самим говорящим (включаются в пространство и время говорящего или же не включаются). В заключение Ю. Д. Апресян остановился на понятии личной сферы говорящего, подчеркнув его продуктивность при лексикографическом описании личных местоимений. В личную сферу говорящего входит все, что ему близко морально, интеллектуально, физически. Это понятие продуктивно и при описании других явлений языка, например, употребления звательных форм типа *Вань, пап* и под.

В дискуссии, развернувшейся по докладу, подчеркивалось огромное влияние лексикографической практики на развитие теоретических проблем лингвистики; отмечалось, что одной из основных задач современной семантической теории является выявление общих противопоставлений (такого типа, как рассмотрены в докладе Ю. Д. Апресяна).

Н. Ю. Шведова (Москва) посвятила свой доклад «Теоретические основы создания „Толкового словаря русского языка, систематизированного по лексико-семантическим классам слов“» актуальным вопросам современной теоретической лингвистики и практической лексикографии: что такое система языка и система лексики; что такое лексический класс слов; каковы свойства слова, релевантные для составления систематизированного семантического словаря? Система естественного языка представляет собой сложную целостную организацию, состоящую из нескольких участков, которые также в свою очередь обладают сложным внутренним устройством, состоят из подсистем, находящихся между собой в определенных взаимодействиях и взаимозависимостях. Лексика представляет собой один из таких участков и обладает всеми собственно языковыми признаками системы, что находит подтверждение в возможности построения иерархической классификации лексики путем последовательного ступенчатого выделения множеств и подмножеств вплоть до конечных лексических рядов на основании выявления инвариантного значения слова и его последующей конкретизации. Первичным является разбиение по частям речи, ибо частеречное значение выступает как наиболее абстрактное, отвлекаемое от индивидуальных лексических значений слов. Создаваемые внутри отдельных частей речи классификации должны отвечать ряду требований: характеризоваться полным охватом материала, извлеченного из лексикографического источника, а также безостаточным разбиением материала по классам и подклассам; осуществимостью такой проверки классификации «снизу вверх», при которой более мелкие классы последовательно входят в более крупные объединения. На основе таких классификаций в Институте русского языка АН СССР (Москва) создается систематизированный словарь, в котором информация о лексических классах (в алфавитном словаре скрытая), станет прямой, а отдельные слова и значения непосредственно предстанут как члены самим языком упорядоченных целостностей.

Доклад вызвал заинтересованное обсуждение.

В ходе работы пленума был обсужден также перспективный план работы Научного совета по лексикологии и лексикографии на предстоящее пятилетие, предусматривающий проведение пленумов Совета, семинаров, всесоюзных научно-практических конференций и школ.

В решении, принятом по итогам работы пленума, отмечалось, что на заседаниях обсуждалось в основном три круга наиболее острых, насущных проблем лексикографии: 1) лексикологическое обеспечение словарного дела (проблема столкновения теоретических перспектив с их реализацией в конкретном словаре; вопрос о системе языка и ее стабильности и изменчивости; проблема человеческого фактора); 2) конкуренция словарей (критика создания словаря XIX в.; расхождения в рекомендациях современных нормативных словарей); 3) типология словарей. Было решено принять за основу обсуждавшийся проект перспективного плана, дополнив его пунктом о проведении научно-практической конференции по теоретическим проблемам лексикологии, актуальным для лексикографической практики. Был принят также ряд других частных решений.

Белоусова А. С. (Москва)

С 15 по 17 октября 1985 г. в Северо-Осетинском государственном университете им. К. Л. Хетагурова проходила Всесоюзная межвузовская научно-методическая конференция «Русский язык как средство интернационального воспитания учащейся молодежи», организованная Министерством высшего и среднего специального образования СССР. В работе конференции участвовали представители научных и учебных заведений Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Ташкента, Баку, Душанбе, Еревана, Фрунзе, Харькова, Уфы, Казани, Чебоксар, Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Петропавловска, Мурманска. Среди участников были лингвисты и социолингвисты, философы и социологи, психологи и методисты. На трех секциях конференции прослушано 105 докладов и выступлений, посвященных вопросам взаимодействия и взаимообогащения русского и национальных языков, русского языка как средства интернационального воспитания, соотношения интернационального и национального в словарном составе русского и языков народов СССР, развития национально-русского двуязычия и др.

Открывая конференцию, ректор Северо-Осетинского университета А. Х. Галазов (Орджоникидзе) отметил

важность знания русского языка для укрепления дружбы и сотрудничества всех народов нашей многонациональной Родины, для развития экономики и культуры союзных и автономных республик. Он подчеркнул, что, осуществляя в своей национальной политике ленинский принцип свободы и равенства языков, Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют постоянное внимание делу дальнейшего совершенствования преподавания русского и родных языков в национальной школе.

На пленарном заседании В. И. Кулешов (Москва) в докладе «Историческая миссия русского языка и русской литературы» отметил, что бурно проходившие в русском языке послереволюционные процессы влияли на литературный язык других народов. Сюда можно отнести создание общегосударственной деловой фразеологии, политической речи, журнально-газетной публицистики, воздействие русского алфавита, орфографии, оттеснение диалектных форм, усиление аналитизма в морфологии, рост агглютинативности в семантике, свободное склеивание морфем, появление массы новых терминов, названий учреждений, профессий. А. Х. Галазов и М. И. Исаев (Москва) в докладе «Русский язык — важнейшее средство интернационального воспитания» отметили, что учет единой логической и взаимозависимой цепи соподчиненных марксистско-ленинских понятий: пролетарская социалистическая революция — национальный вопрос — языковая политика — дает подлинный ключ для раскрытия существа марксистско-ленинской методологии решения национально-языковых проблем. В докладе подчеркивалось исключительное значение русского языка для воспитания трудящихся в духе интернационализма. Н. Г. Корлэтяну (Кишинев) в докладе «Специфические особенности развития двуязычия в социалистическом обществе» указал на билингвизм как на особое явление, плодотворно развивающееся в СССР в условиях советского строя, отметив, что он служит одним из характерных проявлений дружбы народов и содействует объединению всех социалистических наций. Р. Б. Сабаткоев (Москва) в докладе «Современное состояние методики русского языка в национальной школе как науки и перспективы ее развития в свете реформы школы» остановился на кардинальных проблемах функционирования русского языка как средства интернационального воспитания учащейся молодежи, на важнейших вопросах, связанных с созданием оптимальной структуры содержания образования по русскому языку и литературе в национальных школах.

Разнообразной была тематика рабочей программы на секциях «Социально-лингвистические проблемы взаимодействия русского языка и языков народов СССР» и «Лингвистические аспекты изучения русского языка как средства интернационального воспитания».

Т. И. Панько (Львов) в докладе «Пути и методы изучения основополагающей роли В. И. Ленина в создании терминологии социализма» говорила о неоспоримой заслуге В. И. Ленина в разработке методики создания терминов социализма, о роли переводов трудов В. И. Ленина в выравнивании статусов национальных языков, о путях усовершенствования терминологических систем обществоведческих терминов всех национальных языков и методах активизации изучения языка В. И. Ленина в создании терминологии социализма. З. У. Блягоз (Майкоп) в докладе «Национально-русское двуязычие как источник и средство интернационального воспитания трудящихся» отметил, что язык как общественное явление выполняет разные функции в трудовой и общественной деятельности, является средством коммуникации, накопления и хранения информации и, самое главное, выполняет еще одну очень важную функцию — функцию воспитательную, которая до настоящего времени не получила достаточного научного освещения. В докладе А. И. Гудавичюса (Шауляй) «Соотношение интернационального и национального в словарном составе русского языка и языков народов СССР» отмечалось, что специфика конвергентной тенденции в развитии русского и национальных языков заключается в том, что русский язык стал источником обогащения национальных языков и посредником в области интернационализации словарного состава национальных языков. На русской графической основе были созданы алфавиты многих языков, русские грамматики, словари, методические пособия послужили образцами для создания национальных программ, словарей. В. М. Никонов (Белгород) свой доклад «Русский язык — язык братства» посвятил проблемам недостаточной разработанности вопросов культуры речи у нерусских народов, обратив особое внимание на причины, которые мешают гармоническому развитию национально-русского двуязычия; Р. М. Мамедова (Баку) в докладе «Русский язык — язык межнационального общения, мира и дружбы» рассказала о возрастании социальных функций русского языка в условиях развитого социалистического общества. Выступая в роли одного из двух главных

компонентов национально-русского двуязычия в СССР, русский язык несет основную функциональную нагрузку в разных видах общественной и экономической жизни многонационального нерусского населения. И. А. Дяченко (Киев) в докладе «Язык и идеологическая борьба» указал, что обострение идеологической борьбы на международной арене требует от филологической общественности, от ученых, педагогов-словесников, методистов развертывания активной контрпропагандистской деятельности; Э. С. Геллер (Махачкала) в докладе «Специфика русского языка как средства интернационального воспитания молодежи» подчеркнула, что в самой специфике русского языка заключены неисчерпаемые ресурсы, благодаря которым он становится средством интернационального воспитания; доклад М. Э. Рахимовой (Андижан) «Русский язык — предмет всеобщей заботы» был посвящен вопросу взаимосвязи и взаимодействия узбекского и русского языков, проблеме целостного языкового образования учащихся; З. Г. Исаева (Москва) в докладе «Национальное и интернациональное в динамике ономастических систем» говорила о необходимости нахождения оптимальных форм сочетания традиционно-национальных и интернациональных элементов.

Ряд докладов [С. М. Треблер (Целиноград), А. И. Исмаилов (Москва), В. А. Гаврилов (Целиноград), М. Г. Петренко (Одесса), С. З. Табисова (Орджоникидзе), Н. Т. Табулова, А. В. Шишканова (Черкесск), З. Ф. Мышкин (Чебоксары), А. Ф. Рогалев (Гомель), М. А. Алексеенко (Львов) и др.] был посвящен вопросам развития языков народов СССР, совершенствования знаний русского языка как языка межнационального общения; в докладах говорилось о роли русского языка в создании общего интернационального фонда языков народов СССР.

Среди рассматриваемых на конференции были вопросы о функциональных и лингвистических параметрах форм, типов, о структурно-типологическом анализе национально-русского двуязычия, о языке художественной литературы писателей-билингвов (Р. И. Хашимов, Т. М. Шомахова, В. Б. Медведев), о роли русского языка в установлении контактов в братской семье северо-кавказских литератур, о русизмах как средстве патриотического воспитания (А. Н. Абрегов, Р. Х. Мамаева, Р. Ю. Намитокова, Р. Я. Фидарова), об интернациональных мотивах в осетинской литературе 20—30-х годов, о семантизации интернациональной лексики в толковых словарях русского языка (Р. С. Кантемирова, О. М. Чупашева), о соотношении интернационального и национального в процессе формирования грамматической категории глагольного вида в осетинском языке (А. А. Цалиева) и др.

На секции «Научно-методические проблемы обучения русскому языку и литературе в национальной школе» рассматривались различные аспекты функционирования русского языка как средства интернационального воспитания учащейся молодежи, важнейшие вопросы, связанные с созданием оптимальной структуры содержания образования по русскому языку и литературе в национальных школах, специальных средних учебных заведениях и вузах страны, а также проблемы повышения интереса учащихся к изучению русского языка в национальной школе.

Материалы конференции опубликованы (Русский язык как средство интернационального воспитания учащейся молодежи: Тезисы докладов Всесоюзной межвузовской научно-методической конференции 15—17 октября 1985 г. гор. Орджоникидзе. Орджоникидзе, 1985).

Галазов А. Х. (Орджоникидзе),
Сукунов Х. Х. (Москва).

Академик А. Н. КОНОНОВ

Советская филологическая наука понесла большую утрату. 30 октября 1986 г. скончался один из виднейших востоковедов нашей страны, крупный исследователь тюркских языков, член КПСС с 1944 г., организатор науки, член редакционной коллегии журнала «Вопросы языкознания» академик Андрей Николаевич Кононов.

А. Н. Кононов родился 27 октября 1906 г. в Петербурге в семье служащего. В 1930 г. он окончил Ленинградский восточный институт, где впоследствии, с 1932 по 1938 г., совмещал преподавание с курсом аспирантуры (1933—1936). С 1939 г. научная деятельность А. Н. Кононова протекает в стенах Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. В 1937 г. он приступил к педагогической работе на восточном факультете ЛГУ, был его профессором (1950—1981), деканом факультета (1953—1954), заведующим кафедрой тюркской филологии (1949—1972).

Многосторонний и углубленный интерес к культуре Востока во всех ее проявлениях, к прошлому и настоящему народов Востока, комплексный подход к их изучению, столь характерные для ленинградской школы отечественной ориенталистики, оказались определяющими для формирования научных взглядов А. Н. Кононова и нашли свое исчерпывающее отражение в его творческом наследии. Он явился продолжателем традиций блестящего созвездия востоковедов — В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковского, Е. Э. Бертельса, И. А. Орбели, П. М. Мелиоранского, А. Н. Самойловича, В. А. Гордлевского, С. Е. Малова, Н. К. Дмитриева.

А. Н. Кононов — автор многочисленных трудов по грамматике, лексикологии, этимологии и тюркской текстологии. Серия его грамматических работ увенчалась выходом в свет в 1956 и 1960 гг. фундаментальных грамматик турецкого и узбекского языков, которые обозначили значительный этап в исследовании грамматического строя тюркских языков.

Плодотворную линию исследований Андрея Николаевича составили его текстологические изыскания. Ученый придавал большое значение анализу тюркских памятников письменности, непосредственному изучению текста как первоисточника. В 1948 г. А. Н. Кононов опубликовал критический текст произведения Алишера Навои «Махбуб ул-кулуб» («Возлюбленный сердец»), имеющий особое значение для исследования творчества и мировоззрения поэта, а в 1958 г. изданием сводного текста «Шаджараи тараким» («Родословная туркмен») Абу-л-Гази-хана ввел в научный обиход важный источник по истории Средней Азии. Синтезом знаний современной науки о языке тюркской руники явилась «Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв.» (1980), в которой содержится описание фонетического и грамматического строя древне-

тюркских эпиграфических памятников и освещается ряд принципиально важных для сравнительно-исторической грамматики тюркских языков проблем.

Предметом постоянного, пристального интереса на протяжении всей научной деятельности А. Н. Кононова оставались история востоковедения, история отечественной тюркологии, источниковедение. Многочисленные разыскания ученого в этих областях охватывают огромный исторический период, начиная с самых ранних летописных упоминаний о контактах Древней Руси с Востоком. Ценны его работы «История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период» (два издания — 1972, 1982), представляющая собой итог многолетних разысканий ученого в книгохранилищах и архивах страны, «Некоторые вопросы изучения истории отечественного востоковедения» (1960), «Тюркская филология в СССР. 1917—1967» (1968) и многие другие.

Многогранной была научно-организационная деятельность А. Н. Кононова. Он являлся инициатором создания и бессменным председателем Советского комитета тюркологов, членом редколлегии всесоюзного научного журнала «Советская тюркология». Около четырех лет А. Н. Кононов активно работал в журнале «Вопросы языкознания». Коллеги ученого по редколлегии журнала постоянно ощущали его заботу о развитии советского востоковедения как комплексной гуманитарной дисциплины, цементируемой прочной филологической базой. Человек глубокой внутренней культуры, А. Н. Кононов всегда умел помочь авторам советом, тактичным указанием на ошибки. При этом неизменно сказывались его требовательность к опытным языковедам и снисходительность к начинающим.

Заслуги Андрея Николаевича перед наукой получили широкое общественное признание. В 1958 г. ученый был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1974 г. действительным членом АН СССР. В 1979 г. ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Узбекской ССР. Признанием авторитета А. Н. Кононова в мировой науке явилось его избрание почетным членом Турецкого лингвистического общества, Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии, Польского Товарищества востоковедов, Научного общества венгерских ориенталистов им. Кёрёши Чома, иностранным членом Венгерской академии наук и Финской академии наук и литературы, членом-корреспондентом Финно-угорского научного общества Финляндии.

А. Н. Кононов был удостоен высоких правительственных наград — ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Дружбы народов и «Знак почета».

Светлая память об академике Андрее Николаевиче Кононове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, с ним работал и был его учеником.

Редколлегия

CONTENTS

Articles: G a k V. G. (Moscow). Linguistic dictionaries and extralinguistic information (on the publication of the second edition of «Grand Robert de la langue française»); L e h m a n n W. P. (Austin). Indo-European studies today; **Discussions:** A l e k s e e v A. A. (Leningrad). Ways of stabilization of language norm in Russia in the course of XI—XVI centuries; E v d o š e n k o A. P. (Kishinev). On typological principles of Russian grammar for foreigners; S k l j a r e v s k a j a G. N. (Leningrad). Language metaphor in the dictionary. An essay of systemic description; M a t v e e v A. K. (Sverdlovsk). Archaic Russian toponymy in the European North-East of the USSR; S p i v a k D. L. (Leningrad). Linguistics of the altered states of consciousness: problems of text study; Z u k o v a T. V. (Moscow). Paradigmatic study of words with generalised lexical meaning; **Materials and notes:** K o v a l' A. I. (Moscow). On substantivization and pronominalization in languages with multi-class system; T e s t e l e c Ya. G. (Moscow). Ergative-like constructions in Nakh-Daghestan languages; Z a g i r o v V. M. (Makhatchkala). Aims, and methods of historical lexicology in languages of the Lezghuinian group; S o l n c e v A. V. (Moscow). Types of nominative units; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: G a k V. G. (Moscou) Dictionnaires linguistiques et information extralinguistique (à l'occasion de la publication de la seconde édition du «Grand Robert de la langue française»); L e h m a n n W. P. (Austin). Etudes indo-européennes aujourd'hui; **Discussions:** A l e k s e e v A. A. (Leningrad). Stabilization de la norme linguistique en Russie entre le XI et le XVI siècles; E v d o š e n k o A. P. (Kichinev). Fondements typologiques d'une grammaire russe pour les étudiants étrangers; S k l j a r e v s k a j a G. N. (Léningrad). Métaphore linguistique dans le dictionnaire. Essai de description systémique; M a t v e e v A. K. (Sverdlovsk). Toponymie russe archaïque dans le nord-est européen de l'URSS; S p i v a k D. L. (Léningrad). Linguistique des états modifiés de la conscience: problèmes du texte; Z u k o v a T. V. (Moscou). L'étude paradigmatique des mots à large signification lexicale; **Matériaux et notices:** K o v a l' A. I. (Moscou). Substantivization et pronominalization dans les langues à classes; T e s t e l e c Ya. G. (Moscou). Constructions ergotivoïdes dans les langues nakh-daghéstaniennes. Z a g i r o v V. M. (Makhatchkala). Objectifs et méthodes de lexicologie historique des langues lezghuiniennes; S o l n c e v A. V. (Moscou). Types d'unités dénominatives; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.12.86 Подписано к печати 20.02.87 А-03732 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 80,1 тыс. Уч.-изд. л. 15,2 Бум. л. 5,0
Тираж 6087 экз. Зак. 3282

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6